

Пьер БУРДЬЕ



СОЦИОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА



GALLICINIUM

GALLICINIUM



Programme

Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках
программы «Пушкин» при
поддержке Министерства
иностраннных дел Франции
и посольства Франции в России*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et
de l'Ambassade de France en Russie*



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Pierre BOURDIEU

Sociologie
de l'espace social

Пьер БУРДЬЕ

**Социология
социального пространства**

Перевод с французского
Общая редакция перевода
Н. А. Шматко

Институт экспериментальной социологии, Москва
Издательство «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург

2007

УДК 316.3
ББК 60.5
Б91

*Издание осуществлено при участии
ООО «Эльга»*

Бурдьё, Пьер

Б91 Социология социального пространства / Пер. с франц. ; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. — М. : Институт экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2007. — 288 с. — (Серия «Gallicinium»).

ISBN 978-5-903354-05-4

В книге представлены избранные труды Пьера Бурдьё, наиболее близкие и актуальные для российского читателя. Автор 35 книг и нескольких сотен статей, переведенных на десятки языков, Пьер Бурдьё изучал систему образования, государство, власть и политику, литературу и живопись, экономику и масс-медиа, науку и религию. Отобранные для книги тексты показывают в большей мере, чем какое-либо из существующих французских изданий, все разнообразие его исследовательской проблематики. Данное издание включает в себя работы, объединенные центральной темой генезиса и структурирования социального пространства, его связи с физическим пространством, особое внимание уделяется становлению государства как пространства особого рода.

В оформлении использованы фрагменты работ В. Кандинского

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Разработка серийного оформления *А. Бондаренко*

Корректор *Н. М. Баталова* • Оригинал-макет *Е. Н. Ванчурина*

Издательство «Алетейя», 192171, СПб., ул. Бабушкина, д. 53. Тел. / факс: (812) 560-89-47. E-mail: office@aletheia.spb.ru, aletheia@rol.ru (отдел реализации), aletheia@peterstar.ru (редакция) • www.aletheia.spb.ru

Подписано в печать 21.03.2005. Формат 84х108¹/₂. Усл.-печ. л. 15,1. Печать офсетная. Доп. тираж 500 экз. Заказ № 3671. Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография «Наука», 199034, СПб., 9 линия, д. 12

ISBN 978-5-903354-05-4



9 785903 354054

© П. Бурдьё, 2005

© Actes de la recherche en sciences sociales

© Revue française de la sociologie

© Институт экспериментальной социологии,
составление, перевод, 2005

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2005

© «Алетейя. Историческая книга», 2005

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	7
Социальное пространство и генезис «классов».	
<i>Перевод Н. А. Шматко</i>	14
Физическое и социальное пространства.	
<i>Перевод Н. А. Шматко</i>	49
Социальное пространство и символическая власть.	
<i>Перевод Н. А. Шматко</i>	64
О символической власти. <i>Перевод Н. А. Шматко</i>	87
Стратегии воспроизводства и способы господства.	
<i>Перевод Ю. В. Марковой.</i>	97
Мертвый хватает живого. <i>Перевод Ю. М. Ледовских.</i> ...	121
Делегирование и политический фетишизм.	
<i>Перевод Н. А. Шматко.</i>	157
Политическое представление.	
<i>Перевод Е. Д. Вознесенской.</i>	179
Дух государства: генезис и структура	
бюрократического поля. <i>Перевод Н. А. Шматко.</i> ...	220
От «королевского дома» к государственному	
интересу: модель происхождения	
бюрократического поля.	
<i>Перевод Н. А. Шматко.</i>	255

ОТ РЕДАКТОРА

С Пьером Бурдьё меня свело счастливое стечение обстоятельств. Это случилось в 1990 году, во время моей стажировки во Франции по только что организованной программе франко-советских обменов. Молодые кандидаты наук могли участвовать в конкурсе исследовательских проектов, а победившие ехали на длительную — от шести до девяти месяцев — стажировку в один из французских научных центров. Мой проект, посвященный личностным и надличностным структурам общественных отношений, оказался близок взглядам Пьера Бурдьё, о котором я знала лишь понаслышке от своих французских знакомых — Моник де Сен Мартен и Даниэля Берто. В СССР работы Пьера Бурдьё не переводились, он не входил в университетские программы. Мой интерес к западной социологии был сугубо инструментальным: в отличие от коллег, занимавшихся историей и критикой «буржуазной социологии», я обращалась лишь к тем трудам, которые можно было использовать непосредственно в изучении отечественной действительности.

Попав на стажировку в Центр Европейской социологии, я не сразу поняла, насколько мне повезло: прежде нужно было сориентироваться в том, кто, над чем и как работает. Все казалось занимательным и удивительным, а способы осмысления социальных реалий абсолютно отличались от тех, которыми привыкли оперировать мы в СССР. Познакомившись с базовыми трудами Бурдьё, а затем и с ним самим, регулярно посещая его семинары, я открыла для себя совершенно новые познавательные

средства, именно те, которых мне так не хватало в собственных исследованиях. Мне в общем был понятен критический ход мысли Бурдьё в том, что касалось критики экономизма и субстантивизма, но еще ближе моей собственной работе оказалась его концепция габитуса. Именно она вошла в «резонанс» с моими собственными рассуждениями о «социологическом индивиде» как носителе общественных отношений и о детерминирующих его индивидуальных и надындивидуальных структурах. Обращаясь к анализу диспозиций, я в середине 1980-х интерпретировала их как «социальную форму», как субъективированные общественные отношения, но при этом, конечно, не доходила до того уровня анализа, который отличает работы Бурдьё.

В Советском Союзе социология, используя термин О. Конта, «отпочковалась» от философии. Все серьезные социологи, претендующие на теоретические обобщения, так или иначе приводили их к уровню, соответствующему философскому. В негласной научной иерархии философия была «благородной» наукой, тогда как социологии приходилось всякий раз доказывать свою научность и автономию по отношению к философии (в аспекте теории) и социальной психологии (в аспекте эксперимента). Существовал огромный разрыв между эмпирическими и теоретическими исследованиями. Первые проводились по упрощенной позитивистской модели (они и сейчас так проводятся), редко выходя за рамки массовых опросов того, что считалось «общественным сознанием». Вторые выступали в роли истолкования неких — сверхопытных и не всегда эксплицитных — социально-философских моделей. Ученые, претендовавшие на статус теоретиков, крайне редко снисходили до социологического опыта, предпочитая критическую, а по сути — филологическую — работу по комментированию и переводу западных «источников».

По контрасту с этим, тексты Бурдьё поразили меня прежде всего органическим соединением теории и эксперимента, социальной критики и социальной науки. Вначале мне очень не хватало простых «вещей»: дефиниций

понятий, схем анализа и т. п. Требовались большие усилия, чтобы через анализ всего текста, всего представленного исследования добраться до понимания того или иного концепта: элементарных формул здесь не было, но весь корпус текстов играл роль развернутого в своем исследовательском применении определения. Это постоянное приглашение Бурдьё думать вместе с ним, вместе с ним конструировать предмет исследования, посредством изучения эмпирического материала приходиться к теоретическим обобщениям и сейчас представляется мне выдающимся достижением. То, что вначале мешает или раздражает, позднее оказывается органическим подходом, позволяющим уйти как от поверхностных схоластических спекуляций, так и от натужного «погружения» в статистические таблицы, которыми так изобилует наша социология. Именно синтез, растворение теории в практике оказывает самое сильное впечатление. Синтез Бурдьё заставляет думать иначе. Вся социальная действительность оказывается предметом социологической рефлексии. И я, и мои русские коллеги, приехавшие на стажировку во Францию, начали иначе смотреть на все, что нас окружало. Социология Бурдьё изменила наше повседневное восприятие. Мы начали всерьез задумываться о применимости принципов социологии Бурдьё к российской действительности. Так, в начале 1990-х мое исследование становления позиции «предпринимателей» в России обнаружило, что многое здесь может быть объяснено с помощью концепта «капитал», хотя в данном случае мы имеем дело с его особой разновидностью — «бюрократическим» капиталом, — которая не была описана Бурдьё.

Мои личные встречи с Бурдьё показывали, что для него самого стоял вопрос о том, насколько широко его концепция может быть генерализована. Ведь разница в истории и положении Франции и России очевидна. Ему, привыкшему оперировать тонкими различиями, было интересно знать, как могут функционировать его концепты в ином контексте. Он всегда, вплоть до самых мельчайших деталей, интересовался не только результатами исследования, но и самой российской социологической

средой. Он призывал с большой осторожностью применять его подход к постсоветским реалиям, а главное — не цепляться за термины, а изучать сами феномены. В свою очередь, его заботило поверхностное, «лингвистическое» усвоение концепции генетического структурализма в России, сводящееся к необоснованному и безответственному употреблению терминов «капитал», «поле», «социальное пространство», «габитус».

Первыми серьезными читателями Бурдьё в России стали философы. Для них, традиционно занимающих доминирующую позицию в поле гуманитарных наук, характерен повышенный интерес к трудам, подписанным известными именами. Для поддержания престижа в своей дисциплине они должны «быть в курсе» всего самого модного. Философы в России, как правило, более активны, больше читают, больше переводят и издают, чем социологи. В советское время социологи читали и зачастую даже писали с оглядкой на философов. Однако в 1990-х годах положение изменилось: социология во многом «технократизировалась» и/или «коммерциализировалась», и социологи либо вовсе перестали читать, либо обратились исключительно к методической, экономической или политической литературе, к тому, что можно непосредственно применить в опросах общественного мнения, маркетинге или менеджменте. Экономическая логика поставила социологов перед необходимостью краткосрочных проектов, вообще не требующих собственно научной компетенции.

Российские социологи оказались во многом не готовы воспринять сложную и критически направленную рефлексию Бурдьё, оспаривающую господство в самых разнообразных его формах и требующую от читателя серьезного гуманитарного образования. Обслуживая напрямую сильных мира сего, они мыслили скорее с позиций предпринимателей и политиков, стремились давать советы по совершенствованию политического, экономического и иного управления, хотели непосредственно руководить «обустройством России». Помимо этого, неожиданное обилие новых идей и подходов, открывшееся с началом новой

эпохи, не оставляло социологам времени разобраться в «деталих». Происходило сравнительно широкое, но очень поверхностное знакомство с концепциями разного уровня значимости, от классиков до второстепенных компиляторов. Результатом этого стала «знаковая» для своего времени идея «мультипарадигмальности» социологии, в действительности скрывавшая растерянность постсоветского социолога перед западным разнообразием и «изобилием», его неизбывную вторичность и непрекращающееся дурное ученичество. Наконец, «отцы-основатели» советской социологии, выросшие на Т. Парсонсе и Р. Мертоне, отторгали все новое и непревычное, что предлагал генетический структурализм. Впрочем, это не помешало им воспользоваться разрозненными, вырванными из контекста идеями Бурдьё. Так, концепция капитала была подхвачена Т. И. Заславской, но при этом утратила даже ссылки на первоисточник и трансформировалась в различные «потенциалы»... Здесь необходимо отметить роль, которую сыграл в восприятии Бурдьё другой видный французский социолог — Ален Турэн. Он приезжал в Россию в начале 1990-х годов для совместного исследования, посвященного интервенции в общественные движения, в частности экологические и шахтерские. (Тогда было модно «стучать касками» в поддержку радикального курса Б. Н. Ельцина.) Встречаясь с руководителями социологических центров, Турэн высказал авторитетное мнение о современной французской социологии как о «социологии мандаринов», к каковым и был причислен Бурдьё. Это одностороннее суждение, которое неоднократно и по разным поводам повторялось в различных аудиториях В. А. Ядовым, способствовало отчужденному восприятию и самого Бурдьё, и его работ как чего-то факультативного, избыточного для «нормальной» науки. Добавим к сказанному, что концепция Бурдьё противоречила тому неолиберальному консенсусу, который начал было складываться в отечественной социальной науке. Его работам свойственны обостренное чувство социального, критика, направленная против любых способов и механизмов господства: политического, экономического, культурного.

Он стремился не просто познать и объяснить социальную действительность, но воздействовать на нее, изменить ее с помощью «интеллектуальных орудий», которые, как он считал, дает структурно-генетический социоанализ.

Можно сказать, что перелом в восприятии Бурдьё со стороны российских социологов наметился лишь к 2001 году, когда количество его переводов на русский язык перешло в качество и его концепция стала по-настоящему оказывать влияние, в том числе и на социологическое образование. В 2001 году началась подготовка визита Пьера Бурдьё в Москву, который бы не ограничивался формальными лекциями и абстрактными «вопросами-ответами». Он очень хотел приехать в Россию, ориентируясь на серьезную дискуссию со всеми заинтересованными исследователями. К сожалению, его кончина не дала сбыться этим планам. К 2001 году относится и начало работы над настоящей книгой, озаглавленной «Социальное пространство».

* * *

«Социальное пространство» — центральный термин Пьера Бурдьё, с самого начала задающий определенную — *топологическую* — перспективу структурно-генетического исследования. Под данным названием мы хотели объединить принципиально важные для понимания генетического структурализма работы. Формирование «истинного научного интернационализма», считал П. Бурдьё, не может происходить без специальных усилий: «Будь то область культуры или какая-то другая область, я не верю в *laisser-faire* <...> В международных обменах логика *laisser-faire* часто приводит к тому, что начинает циркулировать самое плохое, а самое хорошее не может войти в оборот». В этой связи было важно отобрать для русского издания именно те сочинения, которые могут восприниматься более или менее адекватно в отрыве от своего контекста и в иной социальной и научной среде. Состав этой книги обсуждался как с самим Пьером Бурдьё, так и с его коллегами из Центра Европейской социологии.

Отобранные тексты, как нам кажется, раскрывают идеи Бурдьё в большей мере, чем какое-либо из существующих французских изданий. Они отражают большинство проблемных областей, интересовавших его в разные годы, хотя и не в хронологическом порядке. Содержание книги выстраивается в исследовательской логике: от самых общих принципов — к конкретному анализу отдельных проблем. Книга содержит как общие работы, посвященные генезису государства и структуре социального пространства, так и исследования различных регионов социальной действительности: политики, экономики, культуры, науки, религии. Помимо чисто научных достоинств она обращается к острым полемическим вопросам.

Книга состоит из двух томов. Том 1 — «Социология социального пространства» — включает десять работ разных лет, объединенных центральной темой генезиса и структурирования социального пространства, его связи с физическим пространством, причем особое внимание уделяется становлению государства как пространства особого рода. Том 2 — «Социальное пространство: поля и практики» — содержит работы, посвященные анализу таких разнообразных областей социального пространства как культура, наука, экономика, религия и право.

От имени редколлегии и коллектива переводчиков хочется выразить особую благодарность Жерому Бурдьё, Патрику Шампаню, Луи Пэнто и другим сотрудникам Центра Европейской социологии за помощь в подготовке и переводе данного издания.

Н. А. Шматко

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ГЕНЕЗИС «КЛАССОВ»*

Построение теории социального пространства предполагает серию разрывов с марксистской теорией. Первый разрыв — с тенденцией акцентировать *субстанцию*, т. е. реальные группы, в попытке определить их по численности, членам, границам и т. п. в ущерб *отношениям*, а также — с интеллектуалистской иллюзией, которая приводит к тому, что теоретический, сконструированный ученым класс рассматривается как реальный класс, реально действующая группа людей. Далее, разрыв с экономизмом, который приводит к редукции социального поля как многомерного пространства к одному лишь экономическому полю, к экономическим отношениям производства, тем самым устанавливая координаты социальной позиции. Наконец, следует порвать с объективизмом, идущим в паре с интеллектуализмом, ибо в конечном счете он приводит к игнорированию символической борьбы, местом которой являются различные поля, а целью — сами представления о социальном мире и, в частности, об иерархии внутри каждого поля и между различными полями.

* © Bourdieu P. Espace social et genèse des «classes» // Actes de la recherche en sciences sociales. 1984. № 52–53. P. 3–14.

Социальное пространство

Прежде всего, социология представляет собой *социальную топологию*. Так, можно изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированным совокупностью действующих свойств в рассматриваемом социальном универсуме, т. е. свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов определяются, таким образом, по их *относительным позициям* в этом пространстве. Каждый из них размещен в позиции и в определенные классы близких друг другу позиций (т. е. в определенной области данного пространства), и нельзя реально занимать две противоположные области в пространстве, даже если мысленно это возможно. В той мере, в какой свойства, выбранные для построения пространства, являются активными его свойствами, можно описать это пространство как поле сил, точнее как совокупность объективных отношений сил, которые навязываются всем входящим в это поле и несводимы к намерениям индивидуальных агентов или же к их непосредственным *взаимодействиям*.¹

Действующие свойства, взятые за принцип построения социального пространства, являются различными видами власти или капиталов, которые имеют хождение в различных полях. Капитал, который может существовать в объективированном состоянии — в форме материального свойства или, как это бывает в случае культурного капитала, в его *инкорпорированном*¹ состоянии, что может быть гарантировано юридически, — представляет собой власть над полем (в данный момент времени). Точнее, власть над продуктом, в котором аккумулирован прошлый труд (в частности, власть над совокупностью средств производства), а заодно над механизмами, стремящимися утвердить производство определенной категории благ и через это — власть над доходами и прибылью.

¹ Инкорпорированный — обретший носителя, тело; интегрированный в субстрат (о свойстве). — *Прим. перев.*

Отдельные виды капитала, как козыри в игре, являются властью, которая определяет шансы на выигрыш в данном поле (действительно, каждому полю или субполю соответствует особый вид капитала, имеющий хождение в данном поле как власть или как ставка в игре). Например, объем культурного капитала (то же самое с соответствующими изменениями относится к экономическому капиталу) определяет совокупные шансы на получение выигрыша во всех играх, где задействован культурный капитал и где он участвует в определении позиции в социальном пространстве (в той мере, в какой эта позиция зависит от успеха в культурном поле).

Таким образом, позиция данного агента в социальном пространстве может определяться по его позициям в различных полях, т. е. в распределении власти, активированной в каждом отдельном поле. Это, главным образом, экономический капитал в его разных видах, культурный капитал и социальный капитал, а также символический капитал, обычно называемый престижем, репутацией, именем и т. п. Именно в этой форме все другие виды капиталов воспринимаются и признаются как легитимные. Можно построить упрощенную модель социального поля в его ансамбле, вообразив для каждого агента его позицию во всех возможных пространствах игры (понимая при этом, что если каждое поле и имеет собственную логику и собственную иерархию, то иерархия, установленная между различными видами капитала, и статистическая связь между имеющимися капиталовложениями устроены так, что экономическое поле стремится навязать свою структуру другим полям).

Социальное поле можно описать как такое многомерное пространство позиций, в котором любая существующая позиция может быть определена, исходя из многомерной системы координат, значения которых коррелируют с соответствующими различными переменными. Таким образом, агенты в них распределяются в первом измерении — по общему объему капитала, которым они располагают, а во втором — по сочетаниям своих капиталов, т. е. по относительному весу различных видов капитала в общей совокупности собственности.²

Форма, которую совокупность распределения различных видов капитала (инкорпорированного или материализованного) принимает в каждый момент времени в каждом поле, будучи средством присвоения объективированного продукта аккумулированного социального труда, определяет состояние отношений силы между агентами. Агенты в этом случае определяются «объективно» по их позиции в этих отношениях, институционализированной в устойчивых, признанных социально или гарантированных юридически социальных статусах. Эта форма определяет наличную или потенциальную власть в различных полях и доступность специфических прибылей, которые она дает.³

Знание позиции, занимаемой агентами в данном пространстве, содержит в себе информацию о внутренне присущих им свойствах (условие) или об относительных их свойствах (позиция). Это особенно хорошо видно в случае лиц, занимающих промежуточные или средние позиции, которые, помимо средних или медианных значений своих свойств, обязаны некоторыми своими наиболее типичными характеристиками тому, что располагаются между двумя полюсами поля, в нейтральной точке пространства и балансируют между двумя крайними позициями.

Классы на бумаге

На базе знания пространства позиций можно выделить *классы* в логическом смысле этого слова: класс как совокупность агентов, занимающих сходную позицию, которые, будучи помещены в сходные условия и подчинены сходным обстоятельствам, имеют все шансы обладать сходными диспозициями и интересами и, следовательно, производить сходные практики и занимать сходные позиции. Этот класс на бумаге имеет *теоретическое* существование, такое же, как и у любой теории: будучи продуктом объяснительной классификации, совершенно сходной с той, что существует в зоологии или ботанике, он позволяет *объяснить* и предвидеть практики и свойства классифицируемых и, между прочим, поведение, ведущее к объединению в группу. Однако реально это не класс, это не настоящий класс в смысле группы,

причем группы «мобилизованной», готовой к борьбе; со всей строгостью можно сказать, что это лишь *возможный класс*, поскольку он есть совокупность агентов, которые объективно будут оказывать меньше сопротивления в случае необходимости их «мобилизации», чем какая-либо другая совокупность агентов.

Так, в противовес *номиналистскому релятивизму*, уничтожающему социальные различия, сводя их к чисто теоретическим артефактам, следует утверждать существование объективного пространства, детерминирующего соответствия и несоответствия, меры близости и дистанции. В противовес *реализму интеллигибельного* (или овеществления понятий) следует утверждать, что классы, которые можно вычленишь в социальном пространстве (например, в связи с потребностями в статистическом анализе, являющемся единственным средством обнаружить структуру социального пространства), не существуют как реальные группы, несмотря на то, что они объясняют вероятность своей организации в практические группы, семьи, ассоциации и даже профсоюзные или политические «движения».

Что существует, так это *пространство отношений*, которое столь же реально, как географическое пространство, перемещения внутри которого оплачиваются работой, усилиями и в особенности временем (идти снизу вверх — значит подниматься, карабкаться и нести на себе следы и отметины этих усилий). Дистанции здесь измеряются также временем (например, временем подъема или преобразования — конверсии). И вероятность мобилизации в организованные движения, с их аппаратом, официальными представителями и т. п. (что собственно и заставляет говорить о «классе») будет обратно пропорциональна удаленности в этом пространстве.

Хотя вероятность объединить агентов в совокупность, реально или номинально (посредством делегирования) тем больше, чем ближе они в социальном пространстве, чем более они принадлежат к классу, сконструированному более узко и, следовательно, более гомогенно, более тесное их сближение уже никогда не бывает *необходимо*, неизбежно (вследствие непосредственной конкуренции, служащей барьером), но и сближение наиболее удаленных

тоже не всегда бывает *невозможным*. Так, если более вероятно мобилизовать в одной реальной группе только рабочих, чем рабочих и их работодателей, то тем не менее возможно, например, под угрозой международного кризиса спровоцировать их объединение на базе национальной идентификации (это так отчасти потому, что каждое социальное пространство национальностей в результате собственной истории имеет собственную структуру, допустим, в виде специфических расхождений в иерархии экономического поля).

Как бытие у Аристотеля, социальный мир может быть назван и создан различным образом: он может быть практически ощущаем, назван и создан согласно различным принципам видения и деления (например, на основе этнического деления). При этом следует учитывать, что объединения, которые базируются на структуре пространства, основанного на распределении капитала, имеют больше возможностей стать стабильными и прочными, а другие формы группировки будут всегда в опасности распада и оппозиции, что связано с дистанцией в социальном пространстве. Когда мы говорим о социальном пространстве, то имеем в виду прежде всего то, что нельзя объединять любого с любым, невзирая на глубинные различия, в особенности на экономические и культурные различия. Однако все это никогда полностью не исключает того, что можно организовать агентов по другим признакам деления: этническим, национальным и т. п., которые, заметим в скобках, всегда связаны с более глубинными принципами, т. к. этнические объединения сами находятся в иерархизированном, по меньшей мере в общих чертах, социальном пространстве (например, в США их положение зависит от стажа иммиграции для всех, за исключением черных).⁴

Итак, вот первый разрыв с марксистской традицией: марксизм либо без долгих разговоров отождествляет класс сконструированный и класс реальный, т. е. логичные вещи и логику вещей, а ведь именно в этом Маркс сам упрекал Гегеля; либо же противопоставляет «класс-в-себе», определяемый на основе совокупности объективных условий, и «класс-для-себя», основанный на субъективных факторах, причем переход одного в дру-

гое марксизм постоянно «знаменует» как настоящее онтологическое восхождение в логике либо тотального детерминизма, либо — напротив — полного волюнтаризма. В первом случае переход оказывается логической, механической или органической необходимостью (превращение пролетариата из «класса-в-себе» в «класс-для-себя» представлено как исход, неизбежный во времени, по мере «созревания объективных условий»); в другом случае он представлен как эффект «осознания», полученный в результате «познания» теории, осуществляемого под просвещенным руководством партии. Во всяком случае, здесь ничего не говорится о таинственной алхимии, согласно которой «борющаяся группа», коллектив личностей, исторических деятелей, имеющих собственные цели, внезапно появляется в определенных экономических условиях.

Посредством такого рода пропусков в рассуждениях избегаются от наиболее важных вопросов. С одной стороны, исчезает сам вопрос о политическом, об истинных действиях агентов, которые во имя теоретического определения «класса» предписывают его членам цели, официально наиболее соответствующие их «объективным» интересам, т. е. интересам теоретическим, а также вопрос о работе, посредством которой им удастся произвести если и не мобилизованный класс, то веру в его существование, лежащую в основе авторитета его официальных выразителей. С другой стороны, исчезает вопрос об отношениях между классификацией, произведенной ученым и претендующей на объективность (по аналогии с зоологией), и классификацией, которую сами агенты производят беспрерывно в их будничном существовании, с помощью чего они стремятся изменить свое положение в объективной классификации или даже изменить сами принципы, согласно которым эта классификация осуществляется.

Восприятие социального мира и политическая борьба

Наиболее решительная объективистская теория должна интегрировать представления, имеющиеся у агентов о социальном мире, точнее, их вклад в построение видения

социального мира и через это в самое построение социального мира, посредством *работы представления* (во всех смыслах этого термина), которую они ведут непрерывно, дабы навязать свое видение мира или видение своего собственного положения в этом мире, своей социальной идентичности. Восприятие социального мира есть продукт двойного социального структурирования. С «объективной» стороны, оно структурировано социально, поскольку свойства, сопряженные с агентами или с институтами, предстают восприятию не каким-то независимым образом, но, напротив, в очень невероятных комбинациях (и так же, как у животного, имеющего перья, больше шансов обладать крыльями, чем у животного, имеющего мех, так и у владельцев большого культурного капитала больше шансов стать посетителями музеев, чем у тех, кто этого капитала лишен). А с «субъективной» стороны, восприятие социального мира структурировано в силу того, что схемы восприятия и оценивания приспосабливаются к рассматриваемому моменту, и все то, что представлено, в частности, в языке, есть продукт предшествующей символической борьбы и выражает в более или менее видоизмененной форме состояние распределения символических сил. Тем не менее объекты могут восприниматься и выражаться различным образом. Ибо как объекты природного мира, они всегда предполагают частичную неопределенность и расплывчатость, поскольку, например, наиболее устойчивые сочетания свойств никогда не базируются лишь на статистических связях между сущностными чертами; а как объекты истории, они подвержены изменениям во времени, и их значение, в меру его «подвешенности» в будущем, само нерешено, в ожидании, отсрочено и через это относительно недетерминировано. Эта сторона дела — неопределенность — есть то, что подводит базу под плюрализм видения мира. Она сама связана с множественностью точек зрения и со всеми символическими битвами за производство и навязывание легитимного видения социального мира. Говоря точнее, она связана со всеми когнитивными стратегиями *восполнения*, которые продуцируют смысл объектов социального мира, выходя за рамки непосредственно видимых

атрибутов и отсылая к будущему или к прошлому. Эти отсылки могут быть скрытыми и молчаливо подразумеваемыми, через «протенцию» и «ретенцию», как это называет Гуссерль, т. е. практическими формами перспективного или ретроспективного видения, исключаящими как таковые позиции прошлого и будущего. Но такие отсылки могут быть и явными, как в случае политической борьбы, где к прошлому (ретроспективно реконструируемому сообразно потребностям настоящего) и в особенности к будущему (творчески предвидимому) беспрестанно призывают, чтобы детерминировать, разграничивать, определять всегда открытый смысл настоящего.

Напомнить, что восприятие социального мира содержит конструктивный акт, отнюдь не значит принять интеллектуалистскую теорию познания. Главное в опыте социального мира и в работе по его конструированию то, что он предполагает обращение к практике ниже уровня эксплицитного представления и вербализованных выражений. Чувство положения, занимаемого в социальном пространстве (то, что Гоффман называет *«sense of one's place»ⁱⁱ*), будучи ближе к классовому бессознательному, чем к «сознанию класса» в марксистском смысле, есть практическая материя социальной структуры в целом, которая раскрывается через ощущение позиции, занятой в этой структуре. Категории перцепции социального мира являются в основном продуктом инкорпорации объективных структур социального пространства. Вследствие этого они склоняют агентов брать социальный мир, скорее, таким, каков он есть, принимать его как само собой разумеющейся, нежели восставать против него и противопоставлять ему различные — даже антагонистические — возможности. Чувство положения, как чувство того, что можно и чего нельзя «себе позволить», включает в себе негласное принятие своего положения, чувство границ («это не для нас») или, что сводится к тому же, чувство дистанции, которую обозначают и держат, уважают или заставляют других уважать — причем, конечно, тем силь-

ⁱⁱ ощущением своего положения (англ.).

нее, чем более суровы условия существования и чем более неукоснителен принцип реальности. (Поэтому глубокий реализм, которым чаще всего характеризуется видение социального мира у занимающих подчиненное положение, функционируя как некоего рода социально установленный инстинкт самосохранения, может казаться консервативным лишь относительно внешнего, а значит, нормативного представления об «объективном интересе» тех, кому этот реализм помогает жить или выживать.)⁵

Если объективные отношения сил стремятся воспроизвести себя в том видении социального мира, которое постоянно включено в эти отношения, то, значит, принципы, структурирующие это видение мира, коренятся в объективных структурах социального мира, а отношения силы также представлены в сознании в форме категорий восприятия этих отношений. Но частичная недетерминированность и размытость, предполагаемая объектами социального мира, вкупе с практическим, дорефлексивным и имплицитным характером схем восприятия и оценивания, применяемых к этим объектам, есть та архимедова точка опоры, которая объективно оказывается в распоряжении для действий чисто политического характера. Познание социального мира, точнее, категории, которые делают его возможным, суть главная задача политической борьбы, борьбы столь же теоретической, сколь и практической, за возможность сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира.

Способность осуществить в явном виде, опубликовать, сделать публичным, так сказать, объективированным, видимым, должным, т. е. официальным, то, что должно было иметь доступ к объективному или коллективному существованию, но оставалось в состоянии индивидуального или серийного опыта, затруднения, раздражения, ожидания, беспокойства, представляет собой чудовищную социальную власть — власть образовывать группы, формируя *здоровый смысл*, явно выраженный консенсус для любой группы. Действительно, эта работа по выработке категорий — экспликации и классификации — ведется беспрерывно, в каждый момент обыденного су-

существования, вследствие той борьбы, которая сталкивает агентов, имеющих различные ощущения социального мира и позиции в этом мире, различную социальную идентичность, при помощи всевозможного рода формул: хороших или плохих заявлений, благословений или проклятий, злословий или похвал, поздравлений, славословий, комплиментов или оскорблений, упреков, критики, обвинений, клеветы и т. п. Неслучайно *kategoresthai*, от которого происходят категории и категоремы, означает «обвинить публично».

Понятно, что одна из простейших форм политической власти заключалась во многих архаических обществах в почти магической власти: называть и вызывать к существованию при помощи номинации. Так, в Кабилии функции разъяснения и работа по производству символического, особенно в ситуации кризиса, когда ощущение мира ускользает, приносили поэтам видные политические посты военачальников или послов.⁶ Но вместе с ростом дифференциации социального мира и становлением относительно автономных полей, работа по производству и внушению смыслов осуществляется в поле производства культуры и посредством борьбы внутри него (в особенности — в недрах политического субполя). Она является собственным делом и специфическим интересом профессиональных производителей объективированных представлений о социальном мире, а точнее, методов этой объективации.

Стиль легитимной перцепции является основной целью борьбы, поскольку, с одной стороны, переход от скрытого к явному, от имплицитного к эксплицитному не совершается автоматически: один и тот же социальный опыт может быть признан в его очень различных выражениях; а с другой стороны — наиболее значительные объективные различия могут быть замаскированы более непосредственно видимыми различиями (как, например, этнические различия). Если верно, что перцептивные конфигурации — социальные *геистальты* — действительно существуют, а близость условий и, следовательно, диспозиций, стремится отлиться в прочные связи и перегруппировки, в непосредственно воспринимаемые социальные

единицы, такие как социально различные районы или кварталы (с пространственной сегрегацией), или в такие как общность агентов, обладающих полностью сходными видимыми особенностями — *Stände*ⁱⁱⁱ, — то тем не менее социально познанные и признанные различия существуют лишь для субъекта, способного не только ощущать различия, но и признавать их как значимые, задевающие его интересы, т. е. для такого субъекта, который наделен способностью и склонностью *делать* различия, считающиеся значимыми в рассматриваемом социальном универсуме.

Таким образом, именно посредством свойств и их распределения социальный мир приходит, в самой своей объективности, к статусу *символической системы*, которая организуется по типу системы феноменов в соответствии с логикой различения отдельных расхождений, а также заключающейся и в значимых *различениях*. Социальное пространство и различия, которые проявляются в нем «спонтанно», стремятся функционировать символически как *пространство стилей жизни* или как множество *Stände*, групп, характеризующихся различным стилем жизни.

Различения необязательно включают в себя стремление к различению, как часто считают вслед за Вебленом с его теорией *conspicuous consumption*^{iv}. Всякое потребление (а в более общем виде, всякая практика), осуществлялось оно или нет в целях быть увиденным, является видимым, бросающимся в глаза (*conspicuous*); было оно или не было инспирировано намерением быть замеченным, обособиться (*to make oneself conspicuous*), дистанцироваться или действовать, соблюдая дистанцию, оно является различительным. На этом основании потребление обречено функционировать как *различительный знак* и, если обратиться к признанной, легитимной и подтвержденной дифференциации, — как *знак отличия* (в разных смыслах этого слова). Как бы то ни было, социальные агенты, способные воспринимать в качестве значимых «спонтанные» раз-

ⁱⁱⁱ *Stand*, мн. *Stände* — сословие или звание (нем.).

^{iv} демонстративное потребление (англ.).

^v сделаться заметным (англ.).

личия, которые категории перцепции заставляют считать уместными, способны также преднамеренно удваивать эти спонтанные различия в стиле жизни при помощи того, что Вебер называет «стилизацией жизни» (*Stilisierung des Lebens*). Стремление к различению, которое можно заметить по манере говорить или по отказу от мезальянса, производит деления, предназначенные, чтобы их воспринимали, или, более того, чтобы их узнавали и признавали как легитимные различия, т. е. чаще всего как природные различия — «*distinctions de nature*» (во французском языке говорят обычно о естественных различиях — «*distinctions naturelles*»).

Различение — в обычном смысле этого термина — это различие, вписанное в структуру самого социального пространства, поскольку оно воспринимается в соответствии с категориями, согласованными с этой структурой; и веберовский *Stand*, который любят противопоставлять классу в марксизме, — это класс, сконструированный посредством адекватного деления социального пространства, когда класс воспринимают сообразно с категориями, производными от структуры этого пространства. Символический капитал — другое имя различения. Оно является не чем иным, как капиталом в том его виде, в каком его воспринимают агенты, наделенные категориями перцепции, происходящими от усвоения структуры его распределения, т. е. когда этот капитал узнается и признается как нечто само собой разумеющееся. Различения как символические трансфигурации фактических различий и, более широко — ранги, порядки, градации или же любые другие символические иерархии — являются продуктом применения схем построения. Эти схемы (как, например, пары прилагательных, используемых для выражения подавляющего большинства социальных суждений) являются продуктом инкорпорации структур, к которым они прикладываются, а признание их абсолютной легитимности есть не что иное, как восприятие обычного миропорядка в качестве идущего самого по себе, что подводит итог кажущемуся безукоризненным совпадению объективных и инкорпорированных структур.

Из этого следует, кроме всего прочего, что символический капитал идет к символическому капиталу, и что реальная автономия поля символического производства не препятствует тому, что оно остается подчиненным в своем функционировании принуждению, которое господствует в социальном мире, и что соотношение объективных сил стремится воспроизвести себя в соотношении символических сил, в видении социального мира. Таким образом утверждается неизменность этих соотношений сил. В борьбе за навязывание легитимного видения социального мира, в которую неизбежно вовлечена и наука, агенты располагают властью, пропорциональной их символическому капиталу, т. е. получаемому ими от группы признанию. Авторитет, подводящий базу под силу действия недостаточно обоснованного дискурса о социальном мире, есть символическая сила видения и предвидения, направленная на внушение принципов видения и разделения этого мира, это — *percipi*^{vi}, бытие узнанное и признанное (*nobilis*^{vii}), что позволяет навязать *percipere*^{viii}. Наиболее очевидными среди применяемых категорий перцепции являются те, что наилучшим образом приспособлены, чтобы изменять видение, меняя категории перцепции. Но также, за редким исключением, наименее склонные это делать.

Символический порядок и власть номинации

В символической борьбе за производство здравого смысла или, точнее, за монополию легитимной *номинации* как официального — эксплицитного и публичного — благословения легитимного видения социального мира агенты используют символический капитал, приобретенный ими в предшествующей борьбе, и, собственно, любую власть, которой они располагают в установленной таксономии, представленной в сознании или в объектив-

^{vi} быть воспринимаемым (лат.).

^{vii} известный, прославленный (лат.).

^{viii} восприятие (лат.).

ной действительности как названия (*les titres*) Так, все символические стратегии, посредством которых агенты намереваются учредить свой взгляд на деление социального мира и свое положение в нем, можно расположить между двумя крайними точками: оскорбление, *idios logos*^{ix}, когда простое частное лицо стремится внушить свою точку зрения, рискуя получить аналогичный ответ, и *официальная номинация* — акт символического внушения, который имеет для этого всю силу коллективного, силу консенсуса, здравого смысла, поскольку совершается через доверенное лицо государства, обладателя *монополии на легитимное символическое насилие*. С одной стороны — универсум частных перспектив, единичных агентов, которые, исходя из своей личной точки зрения, производят частные и корыстные номинации самих себя и других (прозвища, клички, оскорбления или же, по крайней мере, обвинения, упреки и т. п.). Они тем более заинтересованы в том, чтобы сделать эти номинации признанными, т. е. получить чисто символический результат, чем менее их авторы уполномочены персонально (*auctoritas*^x) и институционально (*делегирование*), и чем более непосредственно они заинтересованы в том, чтобы сделать признанной ту точку зрения, которую они стараются внушить.⁷ С другой стороны — разрешенная точка зрения агента, уполномоченного на персональном уровне, например великого критика, престижного автора предисловий к книгам или признанного автора («Я обвиняю»), и в особенности легитимная точка зрения официального проповедника, уполномоченного лица государства, «ортогонального в любой перспективе», говоря словами Лейбница. Официальная номинация или звание, например ранг диплома, имеет ценность на любом рынке, поскольку официальное определение официальной идентичности вырывает своих обладателей из символической борьбы всех со всеми, наделяя своих агентов разрешенной, признанной всеми, универсальной перспективой. Государство, которое производит официальную классификацию, есть своего рода

^{ix} частное мнение (*греч.*).

^x авторитет (*лат.*).

Верховный суд, к которому адресуется Кафка, когда заставляет Блока говорить об адвокате и его претензии ставить себя в ряд «крупных адвокатов»: «Конечно, каждый может называть себя “крупным”, если ему это заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо».⁸ Правда в том, что научный анализ не выбирает между перспективизмом и тем, что следует называть скорее абсолютизмом: в действительности правда социального мира — это суть борьбы между очень неравно вооруженными агентами за то, чтобы добраться до совершенного, т. е. самоконтролируемого, видения и предвидения.

Можно в этой перспективе проанализировать функционирование одного из институтов: Национального института статистических исследований и экономики (*INSEE*). Это государственный институт, который производит официальные таксономии, получающие, особенно в отношениях между нанимателями и наемными работниками, практически юридическую ценность, значение правового акта, способного сообщить независимые права фактически осуществляемой производственной деятельности. Он пытается зафиксировать иерархию и с помощью этого санкционировать и закрепить соотношение сил между агентами через названия их профессий и занятий, составляющих главное в социальной идентификации.⁹ Управление названиями, будучи одним из инструментов управления материальными приоритетами и групповыми именами, в частности названиями профессиональных групп, регистрирует состояние борьбы и торгов по поводу официального обозначения, а также материальных и символических преимуществ, связанных с ним. Название профессии, которым наделены агенты, данное им звание являются положительным или отрицательным подкреплением (на том же основании, что и зарплата), поскольку отличительный знак (эмблема или клеймо), получая ценность своей позиции только в иерархически организованной системе званий, участвует тем самым в определении соотношения позиций между агентами и группами. В итоге агенты прибегают к практической или символической стратегии с целью максимизиро-

вать символическую прибыль от номинации: например, они могут отказываться от гарантированных для определенного поста денежных пособий, чтобы занять позицию менее оплачиваемую, но с более престижным названием, или обратиться к позиции, название которой более расплывчато, чтобы избежать тем самым эффекта символической девальвации. Так, определяя свою профессиональную идентичность, они могут назваться именем, которое охватывает более широкий класс, чтобы включить в него также агентов, занимающих более высокие позиции, допустим, учитель представляется преподавателем. В более общем виде агенты всегда имеют выбор между несколькими названиями и могут играть на неизвестности и неопределенности, связанных с множественностью перспектив, чтобы постараться избежать приговора официальной таксономии.

Логика официальной номинации видна как никогда хорошо на примере звания — дворянского, ученого, профессионального, т. е. символического капитала, гарантированного юридически. Дворянин (*le noble*) — это не просто тот, кто известен, знаменит, и даже известен с хорошей, престижной стороны, короче — *nobilis*, но тот, кто признан *официальными*, «универсальными» инстанциями, т. е. узнаваем и признаваем всеми. Профессиональное или ученое звание — это определенного рода юридическое правило социальной перцепции, воспринимаемое бытие, гарантированное как право. Это институционализированный и законный (а не просто легитимный) символический капитал, все более и более неотделимый от ученого звания, поскольку система образования стремится все более и более предоставлять дальнейшие и верные гарантии для всех профессиональных званий. Символический капитал обладает также самоценностью и, хотя речь идет об общем имени, функционирует по типу великих имен (имен великих семей или имен собственных), получая всю возможную символическую прибыль (и блага, которые не продаются за деньги).¹⁰

Именно символическая дефицитность звания в пространстве имен профессий, а не соотношение между спросом и предложением на некоторые виды труда, стремится

доминировать над профессиональным вознаграждением. Из этого следует, что вознаграждение за звание имеет тенденцию автономизироваться по отношению к вознаграждению за труд. Так, за один и тот же труд можно получить разное вознаграждение в зависимости от того, кто его выполнил (штатный сотрудник/временно исполняющий обязанности, штатный сотрудник/функционер и т. п.). Звание само по себе (как и язык) — *институция* более прочная, чем внутренние характеристики труда. Вознаграждение за звание может сохраняться, несмотря на изменения в труде и его относительной ценности: не относительная ценность труда определяет ценность имени, но институционализируемая ценность звания служит средством, позволяющим защитить и сохранить ценность труда.¹¹

Иными словами, нельзя заниматься наукой классификации, не занимаясь наукой борьбы классификаций и не учитывая в этой борьбе за власть знания, за власть посредством знания, за монополию легитимного символического насилия позицию каждого агента или группы агентов, вовлеченных в эту борьбу, будь то отдельный индивид, обреченный на риск в ежедневной символической борьбе, или профессионалы — лица уполномоченные (и на постоянной работе). Среди последних находятся те, кто говорят или пишут о социальных классах и различает их в зависимости от собственной классификации, связанной в большей или меньшей степени с государством, и те, кто являются обладателями *монополии на официальную номинацию*, на «правильную» классификацию, на «правильный» порядок.

Структура социального пространства определяется в каждый момент структурой распределения капитала и прибыли, специфических для каждого отдельного поля, но тем не менее в каждом из этих пространств игры определение цели и ставок может само быть поставлено на карту. Каждое поле является местом более или менее декларируемой борьбы за определение легитимных принципов деления поля. Вопрос о легитимности возникает из самой возможности спрашивать, ставить под вопрос, из

разрыва с доксой^{xi}, которая воспринимает обычный порядок как сам собой разумеющийся. Исходя из этого, символические силы участников борьбы никогда не бывают полностью независимы от их позиции в игре, даже если чисто символическая власть включает силы, сравнительно автономные по отношению к другим формам социальных сил. Давление необходимости, вписанной в саму структуру различных полей, вынуждает также к символической борьбе, направленной на сохранение или трансформацию этой структуры. Социальный мир в значительной мере есть то, что делают в каждый момент его агенты; но разрушить и переделать сделанное можно лишь на основе реального знания о том, что из себя представляет социальный мир и какое влияние агенты оказывают на него в зависимости от занимаемой ими позиции.

Короче говоря, научная работа имеет целью установление адекватного знания и о пространстве объективных связей между различными позициями, определяющими поле, и о необходимых связях, установленных через опосредование *габитуса*^{xii} тех, кто занимает позиции в данном поле; так сказать, о связях между этими позициями и соответствующим видением позиции, т. е. между точками, занятыми в данном пространстве, и точками зрения на это же пространство, участвующими в действительности и в становлении этого пространства. Другими словами, выход за объективные границы построенных классов, т. е. за границы *областей* установленного пространства позиций, позволяет понять принцип и действие стратегий

^{xi} Докса — совокупность выражений обыденного мнения, укоренившихся преданий и представлений, — того, что принимается на веру, без обсуждения и обдумывания, как само собой разумеющееся. Докса связана со здравым смыслом. — *Прим. перев.*

^{xii} Совокупность диспозиций действия, мышления, оценивания и ощущения определенным качественным образом составляет *габитус* [от *habere* (лат.) иметь]. Габитус — характерное множество черт, которые приобретает индивид, диспозиции, которыми он располагает, или иначе говоря — свойства, результирующие присвоение некоторых знаний, некоторого опыта. — *Прим. перев.*

распределения по классам, посредством которых агенты сохраняют или изменяют это пространство. На первом месте среди них — построение групп, организованных с целью защитить интересы их членов.

Анализ борьбы за классификации проливает свет на политическое притязание, неотступно следующее за гносеологическим притязанием производить хорошую классификацию: притязание, которое, собственно, и определяет *rex'a*,^{xiii} что, согласно Бенвенисту, составляет органическую часть *regere fines* и *regere sacra*,^{xiv} вербального проведения границ между группами, но также между священным и светским, между добрым и злым, низким и возвышенным. Риска превратить социальную науку в способ продолжать политику другими средствами, ученый должен сделать объектом своих исследований намерение определять других по классам и тем самым объявлять им, кем они являются и кем могут быть (со всей двойственностью такого предвидения); он должен анализировать (чтобы добровольно отказываться от них) притязания на творческое видение мира, тот сорт *intuitus originarius*,^{xv} который порождает вещи сообразно своему видению (здесь вся двойственность марксистского класса, в котором неотделимы бытие и должествование). Ученый должен объективировать свое намерение объективировать, давать извне объективную оценку агентам, которые борются за то, чтобы классифицировать и самоклассифицироваться. Если ему приходится классифицировать, производя — в силу необходимости делать статистический анализ — разбиение сплошного пространства социальных позиций, то только для того, чтобы быть в состоянии объективировать все формы объективации, от частного оскорбления до официального наименования, не забывая о требованиях судить эту борьбу именем «аксиологиче-

^{xiii} царя, правителя (лат.).

^{xiv} буквально: правление границами, установление границ, разграничений и правление священным, установление священного; иными словами — светское и священное установление (лат.).

^{xv} изначальной интуиции (лат.).

ского нейтралитета», характеризующего науку в позитивистском и бюрократическом ее определении. Символическая власть агентов как власть показывать — *theorem* — и убеждать, производить и вводить классификацию, легитимную или легальную, зависит на деле, как нам напоминает пример *rex*'а, от позиции, занимаемой в пространстве (и от классификаций, которые туда потенциально вписаны). Но объективировать объективацию значит, прежде всего, объективировать поле производства объективных представлений о социальном мире и, в частности, законодательную таксономию, короче, объективировать поле производства культуры или идеологии — игры, которой ученый сам захвачен, как и все, кто обсуждает социальные классы.

Политическое поле и эффект гомологии

Итак, следует ориентироваться именно на это поле символической борьбы, где профессионалы представления (во всех смыслах этого слова) противостоят друг другу по поводу какого-то иного поля символической борьбы, если мы намерены, ничем не жертвуя мифологии осознания, понять переход от практического ощущения занимаемой позиции, *которое само по себе может служить различным объяснениям*, к чисто политическим демонстрациям. Агенты, стоящие в подчиненной позиции в социальном пространстве, занимают ее также и в поле производства символической продукции, поэтому не ясно, откуда они могли бы получить средства символического производства, необходимые для выражения их личной точки зрения на социальное, если бы собственная логика поля культурного производства и специфические интересы, которые в нем присутствуют, не имели бы своим следствием склонить фракцию профессионалов, вовлеченных в это поле, предоставить подчиненным агентам, на основе общности их позиции, инструменты разрыва с представлениями, рождающимися из непосредственной сложности социальных и ментальных структур, которые стремятся утвердить постоянное воспроизводство распре-

деления символического капитала. Феномен, который марксистская традиция определяет как «внешнее сознание», т. е. тот вклад, который некие интеллектуалы вносят в производство и распространение — в особенности среди агентов, имеющих подчиненную позицию, — видения социального мира, отличного от господствующего, может пониматься социологически лишь тогда, когда учитывают гомологию между подчиненной позицией производителей культурных благ в поле властных отношений (или в разделении труда по господству) и позицией в социальном пространстве агентов, наиболее полно владеющих средствами экономического и культурного производства. Однако построение модели социального мира, которую утверждает такой анализ, подразумевает резкий разрыв с одномерным и прямолинейным представлением о социальном мире, выражающемся в дуалистском видении, согласно которому универсум оппозиций, составляющих социальную структуру, будет редуцироваться к оппозиции между собственниками средств производства и продавцами рабочей силы.

Недостаточность марксистской теории классов, и в особенности ее неспособность учитывать множество объективно регистрируемых различий, является результатом сведения социального мира к одному лишь экономическому полю, которым марксистская теория приговорила себя к определению социального положения по одному лишь положению в экономических отношениях производства, и игнорирования позиций, занимаемых в различных полях и субполях, в частности, в отношениях культурного производства, так же, как и во всех оппозициях, структурирующих социальное поле и несводимых к оппозиции между собственниками и несобственниками средств экономического производства. Таким образом, эта теория привязана к одномерному социальному миру, организованному просто вокруг противоречия между двумя блоками (одним из ведущих становится вопрос о границах между этими двумя блоками со всеми вытекающими из этого побочными, бесконечно обсуждающимися вопросами о рабочей аристократии, об «обуржуазивании» рабо-

чего класса и т. п.). В реальности социальное пространство есть многомерный, открытый ансамбль относительно автономных полей, чье функционирование и изменение подчинено в большей или меньшей степени устойчиво и непосредственно полю экономического производства. Внутри каждого поля те, кто занимает господствующую позицию, и те, кто занимает подчиненную позицию, беспрестанно вовлечены в различного рода борьбу (но без необходимости организовывать столько же антагонистических групп).

Однако тот факт, что на базе гомологии позиций внутри различных полей (и того, что в них есть инвариантного, стало быть — общего, в отношении между господствующими и подчиненными) могут устанавливаться более или менее устойчивые союзы, основывающиеся всегда на более или менее сознательном недоразумении, является самым важным, если мы хотим разорвать круг символического воспроизводства. Структурное подобие позиций интеллектуалов и рабочих, занятых в производстве, когда первые занимают в поле власти позиции, гомологичные тем, которые занимают рабочие по отношению к позициям хозяев предприятий в ансамбле социального пространства, лежит в основе двусмысленного союза: производители культуры (подчиненные среди господствующих) предлагают — ценой растраты накопленного ими культурного капитала — агентам, занимающим подчиненные позиции, возможность объективно представлять их мировоззрение и их собственные интересы в объяснительной теории и в институционализированных инструментах представлений — профсоюзных организациях, партиях, социальных технологиях мобилизации и манифестации и т. п.¹²

Нужно, однако, остерегаться трактовать гомологию позиций — сходство в различии — как идентичность условий (так было, например, в идеологии «*трех Р*» — «*patron, père, professeur*», т. е. хозяин, отец, преподаватель, — развитой в левом движении 1968 года). Без сомнения, одна и та же структура, понимаемая как инвариант различных форм распределения, встречается в различных

полях, что объясняет плодотворность мышления по аналогии в социологии, однако как минимум принцип дифференциации каждый раз разный, так же как суть и природа прибыли, т. е. экономика практики. Важно установить верный порядок принципов иерархии, т. е. разных видов капитала. Знание иерархии принципов деления позволяет определить ограничения, в которых действуют соподчиненные принципы, и заодно — ограничения подобий, связанных с гомологией. Отношения других полей к полю экономического производства являются одновременно отношениями структурного подобия и отношениями каузальной зависимости: сила каузальных детерминаций, определенная структурными связями и силой доминирования, тем больше, чем отношения, в которых они выражаются, ближе к отношениям экономического производства.

Следует проанализировать специфические интересы, которые уполномоченные лица должны иметь, занимая данную позицию в политическом поле и в субполе партии или профсоюза, и показать все «теоретические» следствия, которые они определяют. Большое число ученых дискуссий вокруг «социальных классов» (например, о проблемах «рабочей аристократии» или о «кадровых специалистах») лишь бесконечно пересматривают практические вопросы, которыми должны заниматься политические власти. Всегда лицом к требованиям практики (часто противоречивым), порождающим логику борьбы внутри политического поля в силу необходимости доказывать свою значительность или рождающим стремление мобилизовать наибольшее число голосов или мандатов, утверждая несводимость своей программы к программам других претендентов, — эти дискуссии обречены ставить проблемы социального мира в типично субстантивистской логике границ между группами и возможным объемом мобилизуемых групп. Они могут стараться разрешить проблемы, которые считают относящимися ко всем социальным группам, стремиться проявить и добиться признания их силы, т. е. их существования, прибегнув к концептам с изменяемой геометрией, как, например, «рабочий класс», «народ» или «трудящиеся».

Однако можно видеть, что действие специфических интересов, связанных с занятой в поле позицией и с конкуренцией за навязывание своего видения социального мира, склоняет теоретиков и профессиональных официальных выразителей интересов (тех, кого на обыденном языке называют *«освобожденными работниками»*) к производству дифференцированного, специализированного продукта, который, исходя из гомологии между полем профессиональных производителей и полем потребителей мнения, является как бы автоматически подогнанным к различным формам спроса, а этот последний определяется — в данном случае как никогда более — спросом на различия, противопоставления, которые к тому же способствуют производству, позволяя ему находить соответствующее выражение. Демонстрация позиции, так сказать, предложение политического продукта, определяется именно структурой политического поля, иначе говоря, объективной связью между агентами, находящимися в разных позициях, и предлагающимися представлениями конкурирующих позиций (что имеет столь же непосредственное отношение к мандатам). Исходя из того, что интересы, непосредственно вовлеченные в борьбу за монополию легитимного выражения правды о социальном мире, стремятся быть специфическим эквивалентом интересов тех, кто занимает гомологичные позиции в социальном поле, — политические выступления подпадают под некую структурную двойственность: с внешней стороны они непосредственно связаны с мандатами, а в действительности направлены на конкурентов в поле.

Определение политической позиции в данный момент времени (например, результаты выборов) является также продуктом встречи политического предложения объективированного политического мнения (программы, партийные платформы, заявления и т. д.), связанного со всей предшествующей историей поля производства, и политического спроса, связанного, в свою очередь, с историей отношения между спросом и предложением. Корреляция, фиксируемая в конкретный момент между взглядами на ту или иную политическую проблему и позициями в со-

циальном пространстве, может быть полностью понята лишь тогда, когда мы замечаем, что классификация, введенная избирателями для определения их собственного выбора (например, правый/левый), является продуктом всей предшествующей борьбы и что выбор тем не менее сам вытекает из классификации, введенной аналитиком, чтобы ранжировать не только мнения, но и агентов, которые их выражают. Вся история социального поля постоянно представлена в двух формах: в материализованной — в институтах (освобожденные работники партий и профсоюзов) и в инкорпорированной — в диспозициях агентов, усилиями которых функционируют данные институты и за которые эти агенты борются (что сопровождается эффектом гистеризиса, связанного с преданностью). Все признанные формы коллективной идентификации: «рабочий класс», «управленческие кадры», «ремесленники», «специалисты», «профессура» и т. п. — являются продуктами медленной и длительной коллективной проработки, однако не являются полностью искусственными (это было бы ошибкой и никогда бы не удалось сделать). Каждый из корпусов представлений, которые вызывают к жизни представляемые корпуса: корпорации, сословия, гильдии и др., наделенные известной и признанной социальной идентичностью, сам существует через посредство всего ансамбля институтов, являющихся столь же историческими изобретениями, как и аббревиатура, *sigillum authenticum*,^{xvi} по выражению юристов канонического права, печать или штамп, бюро или секретариат, обладающий монополией на подпись и на *plena potentia agendi et loquendi*,^{xvii} и т. д. Являясь результатом борьбы, которая разворачивалась в недрах политического поля и вне его, в частности по вопросу о государственной власти, это представление должно иметь свои специфические характеристики в частной истории политического поля и в истории конкретного государства (чем,

^{xvi} подлинная печать (лат.).

^{xvii} совершенное полномочие действовать и говорить (лат.).

между прочим, и объясняются различия между представлениями о социальном делении и, следовательно, о представляющих их группах в разных странах). Чтобы не позволить себе принять за следствие работы по *натурализации* то, что любая группа стремится производить в целях собственной легитимации и для оправдания своего существования, нужно всякий раз реконструировать *работу истории*, продуктом которой являются социальное деление и социальное восприятие этого деления. Адекватно определенная социальная позиция агента дает наилучшее предвидение его практики и представлений, но во избежание сопоставления с тем, что раньше называли общественным положением, с социальной идентификацией агента (в настоящее время все более отождествляемой с профессиональной идентификацией) и с местом общественного положения в старой метафизике, т. е. функцией сущности, из которой согласно формуле *operatio sequitur esse*^{xviii} вытекают все аспекты исторического существования, — нужно ясно понимать, что этот статус, как и габитус, который им порождается, являются историческими продуктами, что они склонны в большей или меньшей степени меняться с течением истории.

Класс как представление и воля

Чтобы изучить, как создается и учреждается власть создавать и учреждать, власть, имеющая официально-представителя, например руководителя партии или профсоюза, недостаточно учитывать специфические интересы теоретиков или представителей и структурное сходство, которое их объединяет на основе полномочий, необходимо также анализировать логику, обыкновенно воспринимаемую и описываемую как процесс делегирования, в котором уполномоченное лицо получает от группы власть образовывать группу. Здесь можно следовать, преобразовывая их анализ, историкам права (Канторо-

^{xviii} сначала бытие, затем — действие (лат.).

вич, Пос и др.), когда они описывают мистерию министерства — любезную юристам канонического права игру слов *mysterium*^{xix} и *ministerium*.^{xx} Тайна процесса пресуществления, которая совершается через превращение официального представителя в группу, чье мнение он выражает, не может быть разгадана иначе, как в историческом анализе генезиса и функционирования *представления*, при помощи которого представитель образует группу, которая произвела его самого. Официальный представитель, обладающий полной властью говорить и действовать во имя группы, и, вначале, властью над группой с помощью магии слова приказа, замещает группу, существующую только через эту доверенность. Персонифицируя одно условное лицо, социальный вымысел, официальный представитель выхватывает тех, кого он намерен представлять как изолированных индивидов, позволяя им действовать и говорить через его посредство, как один человек. Взамен он получает право рассматривать себя в качестве группы, говорить и действовать, как целая группа в одном человеке: «*Status est magistratus*»^{xxi}, «Государство — это я», «Профсоюз думает, что...» и т. п.

Тайна министерства есть как раз такой случай социальной магии, когда вещь или персона становятся вещью отличной от того, чем они являются. Человек (министр, епископ, делегат, депутат, генеральный секретарь и т. д.) имеет возможность идентифицировать себя в собственных глазах и в глазах других с совокупностью людей, Народом, Трудящимися и т. п., или с социальной целостностью, Нацией, Государством, Церковью, Партией. Мистерия министерства находится в своем апогее, когда группа не может существовать иначе, как через делегирование своему официальному представителю, который порождает эту группу, говоря для нее, т. е. для ее блага и от ее лица. Круг замыкается: группа определена через того,

^{xix} таинство (лат.).

^{xx} служение (лат.).

^{xxi} гражданское состояние есть государственная должность (лат.).

кто говорит от ее имени, возникшего как источник власти, осуществляемой им над теми, кто является ее истинным источником. Это замкнутое отношение есть начало харизматических иллюзий, которые в крайнем их выражении проявляются в том, что официальный выразитель может выглядеть и показывать себя как *causa sui*. Политическое отчуждение находит свое начало в том факте, что изолированные агенты — тем сильнее, чем более они обделены символически — могут конституироваться как группа, т. е. как сила, способная заставить воспринимать себя в политическом поле, только лишаясь прибыли в интересах аппарата: им приходится постоянно рисковать лишением политической собственности, чтобы избежать истинной политической экспроприации. Фетишизм, согласно Марксу, есть то, что случается, когда «продукты человеческой головы выглядят как дар самой жизни»; политический фетишизм заключается более точно в факте, что ценность целостного персонажа, этого продукта человеческой головы, проявляется как неуловимая харизма, загадочное объективное свойство индивида, неуловимый шарм, невыразимое таинство. Министр или пастор, посланник церкви или посланник государства, состоят в метонимическом отношении с группой; являясь лишь частью группы, посланник действует как знак, замещающий целую группу. Это он в качестве совершенно реального заместителя полностью символического существования содействует «ошибке категории», как сказал бы Риль, достаточно похожей на детскую ошибку, когда, увидев проходящих в строю солдат, составляющих полк, спрашивают, где же полк. Одно лишь его явное существование преобразует безупречное серийное разнообразие изолированных индивидов в одно юридическое лицо, *collectio personarum plurium* в *corporatio*^{xxii}, в конституированный корпус, который в результате мобилизации и манифестации даже может проявить себя как социальный агент.

Политика является исключительно благодатным местом для эффективной символической деятельности, пони-

^{xxii} собрание многих лиц [в] корпорацию (лат.).

маемой как действия, осуществляемые с помощью знаков, способных производить социальные результаты и, в частности, группы. Благодаря наиболее старому метафизическому действию, связанному с существованием символизма, позволяющего считать существующим все, что может быть обозначено (Бог или небытие), политическое представление постоянно производит и воспроизводит форму, производную от любимого логиками аргумента короля Франции Людовика Лысого: любое предикативное выражение, имеющее субъектом «рабочий класс», скрывает экзистенциальное выражение («рабочий класс существует»). В более общем виде все выражения, имеющие субъектом коллективность, например Народ, Класс, Университет, Школа, Государство, предполагают решенным вопрос о существовании указанных групп и содержат в себе тот сорт «ложного метафизического стиля», который мы могли обнаружить в онтологическом аргументе. Официальный выразитель — это тот, кто, говоря о группе, о месте группы, скрыто ставит вопрос о существовании группы, кто учреждает эту группу при помощи магической операции, свойственной любому акту номинации. Поэтому если задаться вопросом, с которого должна начинаться вся социология, а именно вопросом о существовании и о способе существования коллективности, то следует приступить к критике политических аргументов, которым присущи языковые злоупотребления, а на деле — злоупотребления властью.

Класс существует в той и лишь в той мере, в которой уполномоченное лицо, наделенное *plena potentia agendi*, может быть и ощущать себя облеченным властью говорить от своего имени — в соответствии с уравнением: «Партия есть рабочий класс», а «Рабочий класс есть партия»; или в случае юристов канонического права: «Церковь есть Папа (или епископы)», а «Папа (или епископы) есть Церковь». Такое лицо может осуществить эту формулу как реальную силу в недрах политического поля. Способ существования того, что сейчас во многих обществах называют рабочим классом (естественно, с некоторыми вариациями), полностью парадоксален: речь идет о некоторым образом *мысленном существовании*, о суще-

ствовании его в мыслях большей части тех, кого таксономия обозначает «рабочие», но также и в мыслях тех, кто занимает в социальном пространстве позиции более удаленные от рабочих. Само это существование почти повсеместно признано покоящимся на существовании *рабочего класса в представлении*. Политический и профсоюзный аппарат и их освобожденные работники жизненно заинтересованы в вере в существование рабочего класса и в том, чтобы убедить в этом как тех, кто к нему непосредственно принадлежит, так и тех, кто ничего общего с ним не имеет. Они способны заставить говорить «рабочий класс» в один голос одним заклинанием, как заклиняют духов, одним призыванием его, как призывают богов или святых, и даже символически выставляя его напоказ через *демонстрации* — своего рода театральную постановку представления о классе в представлениях. В этой «постановке», с одной стороны, участвует корпус постоянных представителей со всей постановочной символикой его существования, с аббревиатурами, эмблемами, знаками отличия, а с другой стороны — часть наиболее убежденно верующих, которые своим существованием позволяют представителям создать представление об их представительности. Этот рабочий класс как «воля и представление» (как в названии известного труда Шопенгауэра) не имеет ничего общего с классом в действии, с реально мобилизованной группой, которую упоминает марксистская традиция. Однако класс от этого не является менее реальным, хотя эта реальность магическая и (согласно Дюркгейму и Моссу) определяет институты как социальные фантазии. Как настоящая мистическая корпорация, созданная ценой огромного исторического труда, теоретических и практических изобретений, начатых самим Марксом и беспрерывно воссоздаваемых ценой бесчисленных, постоянно возобновляющихся усилий и самопожертвований, которые необходимы для производства и воспроизводства веры и институтов, ответственных за ее воспроизводство, рабочий класс существует в лице и посредством группы его официальных представителей, которые дают ему слово и наглядное присутствие. Он существует в вере в собственное существование, кото-

рую корпусу уполномоченных лиц удастся внушить посредством одного своего существования и собственных представлений, на основе сходства, объективно объединяющего членов одного «класса на бумаге» в возможную группу.¹³ Исторический успех марксистской теории — первой из социальных теорий претендовавшей на научность, если бы она могла полностью реализоваться в обществе — способствовал тому, что теория социального мира, наименее способная интегрировать собственный *теоретический результат*, который она развивала более, чем любая другая, — сегодня, без сомнения, представляет наиболее мощное препятствие на пути прогресса адекватной теории социального мира, прогресса, которому марксистская теория в свое время способствовала более, чем любая другая.

Примечания

¹ Можно подумать, будто мы уже порвали с субстантивизмом и ввели реляционный способ мышления, когда изучают взаимодействия и реальные обмены (на самом деле практическая солидарность, как и практическое соперничество, связанные с прямыми контактами и взаимодействием между агентами, т. е. практическим соседством, могут быть *препятствием* в выстраивании солидарности, основанной на соседстве в теоретическом пространстве).

² Статистический опрос не может уловить соотношения сил, иначе как в форме собственности как свойства (*propriété* — фр.), иногда юридически гарантированного через документ, подтверждающий право владения (*titres de propriété économique* — фр.) — для экономической собственности; диплом и ученое звание (*titres scolaires* — фр.) — для культурной собственности; дворянский титул (*titres de noblesse* — фр.) — для социального капитала. Именно это объясняет связь между эмпирическими исследованиями классов и теорией социальной структуры как стратификации, описанной в понятиях отдаленности от средств присвоения («дистанция от центра культурных ценностей», по Хальбваксу); этот язык использовал и Маркс, когда говорил о «массе, лишенной собственности».

³ В некоторых социальных универсумах принципы деления по объему и структуре капитала, которые детерминируют

структуру социального пространства, удваиваются по относительно независимому принципу деления экономических и культурных особенностей, как, например, этническая или религиозная принадлежность. Распределение агентов проявляется в этом случае как результат пересечения двух частично независимых пространств. Так, этническая группа, помещенная в нижней позиции пространства этнических групп, может занимать позиции во всех полях (даже наиболее высоких), но с низкой долей представительства тех, кто находится в верхней позиции этнического пространства. Каждая этническая группа может быть охарактеризована социальными позициями ее членов, процентом дисперсии этих позиций и, наконец, степенью ее социальной интеграции вопреки дисперсии (этническая солидарность может утверждаться в форме коллективной мобильности).

⁴ То же самое было бы желательно для отношений между географическим и социальным пространством: эти два пространства никогда полностью не совпадают, однако многие различия, которые связывают обычно с эффектом географического пространства, например противопоставление центра и периферии, являются в действительности дистанцией в социальном пространстве, т. е. происходят из неравенства в распределении различных видов капитала в географическом пространстве.

⁵ *Чувство реальности* не включает в себя ни в коей мере *сознания класса* в психологическом смысле. Это чувство еще менее ирреально, чем можно приписать данному термину, оно есть эксплицитное представление о занимаемой в социальной структуре позиции и о коллективных интересах, которые с ней коррелируют. Еще менее ирреальна *теория социальных классов*, понимаемая не только как система классификации, основанная на эксплицитных принципах и логически контролируемая, но и как точное знание механизмов, ответственных за распределение по классам. Действительно, достаточно рассмотреть экономические и социальные условия, позволяющие ту форму дистанцирования настоящего от практики, которую предполагают понимание и более или менее четко сформулированное представление о коллективном будущем, чтобы покончить с метафизикой осознания и классового сознания, с неким революционным *cogito* коллективного сознания от персонифицированной сущности. (Это то, о чем я упоминал при анализе отношений между осознанием времени, и в особенности способностью к рациональному экономическому расчету, и политическим сознанием алжирских рабочих).

⁶ В этом случае производство здравого смысла заключается в основном в бесконечных новых интерпретациях общего «клада» священных выражений (поговорки, пословицы, гномические поэмы и т. п.), с целью «дать наиболее чистый смысл словам рода (*la tribu* — фр.)». Усвоить слова, в которых представлено все то, что признано группой, значит заручиться значительным преимуществом в борьбе за власть. Это очень хорошо видно в борьбе за религиозное влияние: слово, имеющее наибольшую ценность, — священное слово, как отмечает Гершом Шолем. Именно поэтому, чтобы заставить признать себя, нужно возобновлять по традиции мистические споры и перевоплощать религиозное слово в символы. Слова из политической лексики, являясь сутью борьбы, содержат полемику под видом *полисемии*, которая представляет собой отпечаток антагонистического использования их различными группировками в прошлом и настоящем. Наиболее универсальная стратегия для профессионалов производства символической власти, поэтов в архаических обществах, пророков, политиков заключается, таким образом, в том, чтобы заставить здравый смысл работать на себя, присваивая себе слова, ценностно нагруженные для любой группы, поскольку они выражают ее веру.

⁷ Это очень хорошо показал Лео Шпитцер на примере Дон Кихота, где один и тот же персонаж оказывается наделенным многими именами. Феномен полиномии, т. е. множественность имен, прозвищ, кличек, которые принадлежат одному агенту или одной институции, является вместе с полисемией слов или выражений, обозначающих фундаментальные ценности группы, явным отпечатком борьбы за власть номинаций, которая осуществляется в недрах любого социального универсума. См.: *Spitzer L. Perspectivism in Don Quixote//Linguistics and Literary History. New York: Russel and Russel, 1948.*

⁸ *Кафка Ф. Процесс // Кафка Ф. Америка. Процесс. Из дневников. М: Политиздат, 1991. С. 386.*

⁹ Словарь профессий есть законченная форма социального нейтралитета, которая стирает внутренние различия социального пространства в единой по форме трактовке любой позиции как *профессии* ценой непрерывного изменения основания для их определения (звание, природа деятельности и т. п.). Когда в англосаксонских странах врачей называют *профессионалами*, они выхватывают тот факт, что эти агенты определены по их профессии, и это как бы их *главный атрибут*; напротив, например, прицепщики вагонов очень слабо определены по этому основанию, их описывают просто как занимающих определенный трудовой пост, а в отношении университетских профессоров

определение построено одновременно, как для прицепщиков вагонов — по задачам и по деятельности, и как для врачей — через звание.

¹⁰ Получение профессии, дающей звание, все более тесно связано с обладанием дипломом определенного типа. Здесь связь между типом диплома и вознаграждением за труд очень тесная в отличие от того, что можно наблюдать в случае профессий, не имеющих званий, когда агенты, выполняющие ту же работу, могут иметь самые разные типы дипломов.

¹¹ Обладатели одного и того же звания стремятся конструироваться в одну социальную группу и обладать постоянной организацией — корпорация врачей, ассоциация бывших соучеников и т. д., задуманной, чтобы утвердить сплоченность группы (с помощью периодических собраний и т. п.) и осуществлять свои материальные и символические интересы.

¹² Наилучшую иллюстрацию к такому анализу можно найти, благодаря замечательным работам Роберта Дарнтона, в истории своего рода культурной революции, которую занимающие подчиненные позиции в недрах становящегося интеллектуального поля — Бриссо, Мерсье, Демолен, Эбер, Марат и другие — совершили в лоне революционного движения (разрушение академий, распад салонов, запрет пансионов, уничтожение привилегий), находя свой принцип в статусе «культурного парии» и направляя свои усилия преимущественно против основополагающих символов власти, а также участвуя средствами «политической порнографии» и нарочито непристойных пасквилей в работе по «делегитимации», которая без сомнения является одним из фундаментальных измерений революционного радикализма. См.: *Darnton R. The High Enlightenment and the Low-Life of Literature in Pre-revolutionary France// Past and Present. Vol. 51. 1971. P. 81–115*; в переводе на фр.яз. см. в: *Bohème littéraire et révolution, Le monde des livres au XVIIIe siècle. Paris: Gallimard, Seuil, 1983. P. 7–41*; о Марате, о котором часто не знают, что он был также, или сначала, плохим физиком, см.: *Gillispie C.C. Science and Polity in France at the End of the Old Regime. Princeton University Press, 1980. P. 290–330*.

¹³ О сходном анализе связи по типу «представление и воля» между группой родственников «на бумаге» и «практической» группой родственников см.: *Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique. Genève: Droz, 1972; Le sens pratique. Paris: Minuit, 1980.* (на рус. яз.: *Бурдьё П. Практический смысл/Пер. с фр. Отв. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. М.: Институт эксперим. социологии; СПб.: Алетейя, 2001.*)

ФИЗИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА:

Проникновение и присвоение*

Социология должна действовать исходя из того, что человеческие существа являются в одно и то же время биологическими индивидами и социальными агентами, конституированными как таковые в отношении и через отношение с социальным пространством, точнее с полями. Как тела и биологические индивиды, они [человеческие существа. — *Перев.*] помещаются, так же как и предметы, в определенном пространстве (они не обладают физической способностью вездесущности, которая позволяла бы им находиться одновременно в нескольких местах) и занимают одно место. Место, *topos*, может быть определено абсолютно, как то, где находится агент или предмет, где он «имеет место», существует, короче, как «локализация», или же относительно, релятивно, как положение, ранг в порядке. Занимаемое место может быть определено как площадь, поверхность и объем, который занимает агент или предмет, его размеры или, еще лучше, его габариты (как иногда говорят о машине или мебели).

Однако физическое пространство определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, в то время как социальное пространство — по взаимно-исключению (или различению) позиций, которые его об-

* © Bourdieu P., 1990.

разуют, так сказать, как структура рядоположенности социальных позиций. Социальные агенты, а также предметы, присвоенные агентами и, следовательно, конституированные как собственность, помещены в некое место социального пространства, которое может быть охарактеризовано через его относительное положение по сравнению с другими местами (выше, ниже, между и т. п.) и через дистанцию, отделяющую это место от других. На самом деле, социальное пространство стремится преобразоваться более или менее строгим образом в физическое пространство с помощью удаления или депортации некоторых людей — операций неизбежно очень дорогостоящих.

Структура социального пространства проявляется, таким образом, в самых разнообразных контекстах как пространственные оппозиции обитаемого (или присвоенного) пространства, функционирующего как некая спонтанная метафора социального пространства. В иерархически организованном обществе не существует пространства, которое не было бы иерархизировано и не выражало бы иерархии и социальные дистанции в более или менее деформированном, а главное, в замаскированном виде вследствие действия натурализации, вызывающей устойчивое отнесение социальных реальностей к физическому миру. Различия, произведенные посредством социальной логики, могут, таким образом, казаться рожденными из природы вещей (достаточно подумать об идее «естественных границ»).

Так, разделение на две части внутреннего пространства кабийского дома, которое я детально анализировал ранее,¹ несомненно, устанавливает парадигму любых делений разделяемой площади (в церкви, в школе, в публичных местах и в самом доме), в которые переводится снова и снова, хотя все более скрытым образом, структу-

¹ См., например, работы П. Бурдьё: *La terre et les strategies matrimoniales* // *Annales*, 4-5 juillet-octobre 1972; *Esquisse d'une théorie de la pratique*, précédée de trois études d'ethnologie kabyle. Genève: Droz, 1972.

ра разделения труда между полами. Но можно с таким же успехом проанализировать структуру школьного пространства, которое в различных его вариантах всегда стремится обозначить выдающееся место преподавателя (кафедру), или структуру городского пространства. Так, например, пространство Парижа представляет собой помимо основного обратного преобразования экономических и культурных различий в пространственное распределение жилья между центральными кварталами, периферийными кварталами и пригородом, еще и вторичную, но очень заметную оппозицию «правого берега» «левому берегу», соответствующую основополагающему делению поля власти, главным образом, между искусством и бизнесом.

Здесь можно видеть, что социальное деление, объективированное в физическом пространстве, как я показывал ранее, функционирует одновременно как принцип видения и деления, как категория восприятия и оценивания, короче, как ментальная структура. И можно думать, что именно посредством такого воплощения в структурах присвоенного физического пространства неслышные приказы социального порядка и призывы к негласному порядку объективной иерархии превращаются в системы предпочтений и в ментальные структуры. Точнее говоря, неощутимое занесение в тело структур социального порядка, несомненно, осуществляется в значительной степени с помощью перемещения и движения тела, позы и положения тела, которые эти социальные структуры, конвертированные в пространственные структуры, организуют и социально квалифицируют как подъем или упадок, вход (включение) или выход (исключение), приближение или удаление по отношению к центральному и ценимому месту (достаточно подумать о метафоре «очага», господствующей точки кабилыского дома, которую Хальбвакс натуральным образом подыскал, чтобы говорить об «очаге культурных ценностей»). Я думаю, например, об уважительной поддержке, к которой апеллируют величие и высота (например, памятника, эстрады или трибуны), или еще о противостоянии произведений скульп-

туры и живописи или, более утонченно, обо всех проявлениях в поведении знаков уважения и реверансов, которые негласно предписывает простая социальная квалификация в пространстве (почетное место, первенство и т. п.) и любые практические иерархии областей пространства (верхняя часть/нижняя часть, благородная часть/постыдная часть, авансцена/кулисы, фасад/задворки, правая сторона/левая сторона и др.).

Присвоенное пространство есть одно из мест, где власть утверждается и осуществляется, без сомнения, в самой хитроумной своей форме — как символическое или незамечаемое насилие: архитектурные пространства, чьи бессловесные приказы адресуются непосредственно к телу, владеют им совершенно так же, как этикет дворцовых обществ, как реверансы и уважение, которое рождается из отдаленности (*e longinquo reverentia*, как говорит латынь), точнее, из взаимного отдаления на почтительную дистанцию. Эти архитектурные пространства несомненно являются наиболее важными составляющими символическости власти, благодаря самой их незаметности (даже для самих аналитиков, часто привязанных, так же как историки после Шрамма, к наиболее видимым знакам, к скипетрам и коронам).

Социальное пространство, таким образом, вписано одновременно в объективные пространственные структуры и в субъективные структуры, которые являются отчасти продуктом инкорпорации объективированных структур. Например, как я уже писал, противопоставление «левого берега» Сены (под которым сегодня практически понимаются и предместья) «правому берегу», которое отражается на картах и в статистических обзорах (о публике, посещающей театры, или об особенностях художников, выставляемых в галереях на том и другом берегу), представлено «в головах» потенциальных зрителей, но также и в головах авторов театральных пьес или художников и критиков в виде оппозиций, функционирующих как категории восприятия и оценивания: оппозиция театра авангарда и поиска театру бульварному, конформистскому, повторяющемуся; публики молодой публике ста-

рой, буржуазной; или кино как искусству и эксперименту залам с исключительным правом показа некоторых фильмов и т. д.

Как можно видеть, нет ничего более сложного, чем выйти из овеществленного социального пространства, чтобы осмыслить его именно в отличие от социального пространства. И это тем более верно, что социальное пространство как таковое предрасположено к тому, чтобы позволять видеть себя в форме пространственных схем, а повсеместно используемый для разговоров о социальном пространстве язык изобилует метафорами, заимствованными из физического пространства.

Таким образом, нужно начинать с определения четкого различия между физическим и социальным пространствами, чтобы затем задаться вопросом, как и в чем локализация в определенной точке физического пространства (неотделимая от точки зрения) и присутствие в этой точке могут принимать вид имеющегося у агентов представления об их позиции в социальном пространстве, и через это — самой их практики.

Социальное пространство — не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно. Это объясняет то, что нам так трудно осмысливать его именно как физическое. То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально размеченным и сконструированным. Физическое пространство не может мыслиться в таком своем качестве иначе, как через абстракцию (физическая география), т. е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, являясь обитаемым и присвоенным. Иначе говоря, физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии (как, например, кабилский дом или план города), объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений.

Социальное пространство — абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.),

которые обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала; оно может восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала, функционирующей одновременно как средства и цели борьбы в различных полях (то, что в «Различении»ⁱⁱ обозначалось как общий объем и структура капитала). Реализованное физически социальное пространство представляет собой распределение в физическом пространстве различных видов благ и услуг, а также индивидуальных агентов и групп, локализованных физически (как тела, привязанные к постоянному месту: закрепленное место жительства или главное место обитания) и обладающих возможностями присвоения этих более или менее значительных благ и услуг (в зависимости от имеющегося у них капитала, а также от физической дистанции, отделяющей от этих благ, которая сама в свою очередь зависит от их капитала). Такое двойное распределение в пространстве агентов как биологических индивидов и благ определяет дифференцированную ценность различных областей реализованного социального пространства.

Распределения в физическом пространстве благ и услуг, соответствующих различным полям, или, если угодно, различным объективированным физически социальным пространствам, стремятся наложиться друг на друга, по меньшей мере приблизительно: следствием этого является концентрация наиболее дефицитных благ и их собственников в определенных местах физического пространства (Пятая авеню, улица Фобур де Сент-Онореⁱⁱⁱ), противостоящих во всех отношениях местам, объединяющим в основном, а иногда — исключительно, самых обездоленных (гетто). Эти места представляют собой ловушки для исследователя, поскольку, принимая их как

ⁱⁱ См.: Bourdieu P. *La Distinction*. Paris: Minuit, 1979.

ⁱⁱⁱ Улица Фобур де Сент-Оноре — одна из достопримечательностей Парижа. На ней представлены магазины и бутики всех больших и дорогих марок и известных законодателей моды. — *Прим. перев.*

таковые, неосторожный наблюдатель (например, имеющий целью проанализировать характерную символику торговли предметами роскоши на Медисон авеню и на Пятой авеню, употребление имен собственных или нарицательных, заимствованных из французского, использование благородного удваивания имени основателя профессии, упоминание предшественников и т. п.) обрекает себя на субстантивистский и реалистический подход, упуская главное: каким образом Медисон авеню, улица Фобур де Сент-Оноре объединяют продавцов картин, антикваров, дома «высокой моды», модельеров обуви, художников, декораторов и т. п. — все то множество коммерческих предприятий, которые в целом занимают высокие (следовательно, гомологичные друг другу) позиции каждый в своем поле (или социальном пространстве) и которые не могут быть поняты в самой своей специфике, начиная с названий, иначе как в связи с коммерческими предприятиями, принадлежащими тому же полю, но занимающими другие области парижского пространства. Например, декораторы с улицы Фобур де Сент-Оноре противопоставляются (прежде всего, по своему благородному имени, но и по всем свойствам, природе, качеству и ценам предлагаемой продукции, социальным качествам клиентуры и т. п.) тем, кого в Фобур Сент-Антуан называют столярами-краснодеревщиками; модельеры причесок поддерживают подобные отношения с простыми парикмахерами, модельеры обуви — с сапожниками и т. д. В той мере, в какой оно лишь концентрирует позитивные полюса из всех полей (так же, как гетто собирает все негативные полюса), это пространство не содержит истину в себе самом. То же относится и к столице [*la capitale*], которая — по меньшей мере во Франции — является местом капитала [*le capital*], т. е. местом в физическом пространстве, где сконцентрированы высшие позиции всех полей и большая часть агентов, занимающих эти господствующие позиции. Следовательно, столица не может мыслиться иначе, как в отношении с провинцией, которая не располагает ничем иным, кроме лишения (относительного) и столичности, и капитала.

Генезис и структура присвоенного физического пространства

Пространство, точнее, места и площади овеществленного социального пространства или присвоенного физического пространства обязаны своей дефицитностью и своей ценностью тому, что они суть цели борьбы, происходящей в различных полях, в той мере, в какой они обозначают или обеспечивают более или менее решительное преимущество в этой борьбе.

Способность господствовать в присвоенном пространстве, главным образом за счет присвоения (материально или символически) дефицитных благ, которые в нем распределяются, зависит от наличного капитала. Капитал позволяет держать на расстоянии нежелательных людей и предметы и в то же время сближаться с желательными людьми и предметами, минимизируя таким образом затраты (особенно времени), необходимые для их присвоения. Напротив, тех, кто лишен капитала, держат на расстоянии либо физически, либо символически от более дефицитных в социальном отношении благ и обрекают соприкоснуться с людьми или вещами наиболее нежелательными и наименее дефицитными. Отсутствие капитала доводит опыт конечности до крайней степени: оно приковывает к месту. И наоборот, обладание капиталом обеспечивает, помимо физической близости к дефицитным благам (место жительства), присутствие как бы одновременно в нескольких местах благодаря экономическому и символическому господству над средствами транспорта и коммуникации (которое часто удваивается эффектом делегирования — возможностью существовать и действовать на расстоянии через третье лицо).

Возможности доступа или присвоения, как мы уже видели, определяются через отношение между пространственным распределением агентов, взятых нераздельно как локализованные тела и как владельцы капитала, и распределением свободных в социальном отношении благ или услуг. Отсюда следует, что структура пространственного распределения власти, иначе говоря, прочно и леги-

тимно присвоенные свойства и агенты, наделенные неравными возможностями доступа к благам или их присвоению, как материальному, так и символическому, представляет собой объективированную форму состояния социальной борьбы за то, что можно назвать пространственными прибылями.

Эта борьба может принимать индивидуальные формы: пространственная мобильность, внутри- и межпоколенная — перемещения в обоих направлениях, например, между центром (столицей) и провинцией или между последовательными адресами внутри иерархически организованного пространства столицы — являет собой хороший показатель успеха или поражения, полученного в этой борьбе, и более широко, всей социальной траектории (при условии понимания, что агенты разного возраста и с разной социальной траекторией, так же как, например, молодые управляющие кадры высшего звена и пожилые кадры среднего звена, могут временно сосуществовать на одних и тех же постах, и равным образом они могут оказаться, тоже лишь временно, соседями по месту жительства).

Борьба за пространство может осуществляться и на коллективном уровне, в частности, через политическую борьбу, которая разворачивается, начиная с государственного уровня — политика жилья, и до муниципального уровня, а именно посредством строительства и предоставления социального жилья или через выбор коммунального оснащения. Борьба может идти, исходя из целей формирования однородных групп на пространственной основе, т. е. за социальную сегрегацию, которая есть одновременно причина и результат исключительного обладания пространством и оснащением, необходимым для группы, занимающей это пространство, и для ее воспроизводства. (Пространственное господство — одна из привилегированных форм осуществления господства, а манипулирование распределением групп в пространстве всегда служило манипулированию группами; можно, в частности, сослаться на использование пространства, практикующееся при различных формах колонизации.)

Пространственные прибыли могут принимать форму прибылей локализации, которые в свою очередь могут быть подвергнуты рассмотрению в двух классах. Во-первых, рента от положения, которая связывается с фактом нахождения рядом с дефицитными или желательными вещами (благами или услугами, такими как образовательное, культурное или санитарное оснащение) и с агентами (определенное соседство, приносящее выгоды от спокойной обстановки, безопасности и др.) или вдали от нежелательных вещей или агентов. Во-вторых, прибыли позиции или ранга (как те, что обеспечиваются престижным адресом) — частный случай символических прибылей от отличия, которые связываются с монопольным владением отличающей собственностью. (Физические расстояния, которые можно измерить пространственными мерками или, лучше, временными мерками, по длительности времени, необходимого для перемещения в зависимости от доступности средств общественного или частного транспорта, иначе говоря, власть, которую капитал в его различных видах дает над пространством, есть также власть над временем.) Они могут затем принимать форму прибылей от занимаемого пространства (или от габаритов), т. е. от обладания физическим пространством (обширные парки, большие квартиры и т. п.), которые могут стать способом сохранения разного рода дистанции от нежелательного вторжения (это «радующие взор виды» английской усадьбы, которые, как отмечал Раймонд Вильямс в *«Town and Country»*, превращают сельскую местность и ее крестьян в пейзаж для убаживания владельца, а «нефотогеничные ракурсы» — в рекламу по недвижимости). Одно из преимуществ, которое дает власть над пространством, — возможность установить дистанцию (физическую) от вещей и людей, стесняющих или дискредитирующих, в частности, через навязывание столкновений, переживаемых как скученность, как социально неприемлемая манера жить или быть, или даже через захват воспринимаемого пространства — визуального или аудио — представлениями или шумами, которые, в силу их социальной маркированности и негативной оценки,

неизбежно воспринимаются как вмешательство или даже агрессия.

Место обитания, как социально квалифицированное физическое место, предоставляет усредненные шансы для присвоения различных материальных и культурных благ и услуг, имеющих в распоряжении в данный момент. Шансы специфицируются для различных обитателей этой зоны по материальным (деньги, частный транспорт и др.) и культурным способностям присваивать, имеющимся у каждого агента (прислуга испанка из XVI округа Парижа^{iv} не имеет тех же возможностей присвоить себе блага и услуги, предлагаемые данным округом, что есть у ее хозяйина). Можно физически занимать жилище, но, собственно говоря, не жить в нем, если не располагаешь негласно требующимися средствами, начиная с определенного габитуса. Такое положение у тех алжирских семей, которые, перебираясь из трущоб в район *HLM*^v, обнаруживают, что против всех ожиданий они «сражены» новым, столь долгожданным жилищем, не имея возможности выполнить требования, которые оно негласно включает в себе, например, необходимость финансовых средств на покрытие вновь появившихся расходов (на газ, электричество, а также транспорт, оборудование и др.), но еще всем стилем жизни, в частности, женщин, который обнаруживается в глубине с виду универсального пространства: начиная с необходимости и умения сшить шторы и кончая готовностью жить свободно в неизвестном социальном окружении.

Короче говоря, габитус [*habitus*] формирует место обитания [*habitat*] посредством более или менее адекватного социального употребления этого места обитания, которое он [габитус] побуждает из него делать. Мы подходим, таким образом, к тому, чтобы поставить под сомнение веру в то, что пространственное сближение или, более

^{iv} XVI округ Парижа (округ Булонского леса) — район поселения богатых буржуазных семей. — *Прим. перев.*

^v *HLM* — *habitation à loyer modéré* — большие дома, построенные местной администрацией и предназначенные для семей с низким доходом; социальное муниципальное жилье. — *Прим. перев.*

точно, сожителство сильно удаленных в социальном пространстве агентов может само по себе иметь результатом социальное сближение или, если угодно, — распад. В самом деле, ничто так не далеко друг от друга и так не невыносимо, как социально далекие друг другу люди, которые оказались рядом в физическом пространстве. И нужно еще задаться вопросом об игнорировании (активном или пассивном) социальной структуры пространства обитания и ментальных структур его предполагаемых обитателей, которое направляет столько архитекторов поступать так, как если бы они были в силах навязать социальное употребление здания и оснащения, на которые они проецируют собственные ментальные структуры, иначе говоря, те социальные структуры, продуктом которых являются их ментальные структуры.

Можно привести пример семей, которые чувствуют себя или на самом деле находятся не на месте в предоставленном им пространстве: всякий раз подвергаешься опасности, когда проникаешь в пространство, не выполнив всех требований, которые оно негласно предъявляет своим обитателям. Условием может быть обладание определенным культурным капиталом — истинной платой за вход, которая может воспрепятствовать реальному присвоению благ, называемых общественными, или самому желанию их присвоить. Очевидно, что здесь имеются в виду музеи, но это относится и к услугам, произвольно принимаемым за наиболее универсально необходимые (например, медицинские или юридические учреждения), или такие, что предлагают учреждения, организованные для обеспечения большего доступа к ним (социальное страхование и различные виды бесплатной помощи). Можно ценить Париж за его экономический капитал, а можно и за его культурный и социальный капиталы, однако недостаточно войти в Бобур^{vi}, чтобы присвоить

^{vi} Бобур — культурный центр имени Жоржа Помпиду, в котором располагаются музей современного искусства, библиотека, галереи и выставочные залы, кинотеатры и т. д. — *Прим. перев.*

культурные ценности музея современного искусства; нельзя даже быть уверенным в том, что необходимо и достаточно войти в залы, посвященные искусству модерна (очевидно, так делают не все посетители), чтобы сделать открытие, что недостаточно туда войти, чтобы ими овладеть...

Помимо экономического и культурного капиталов, некоторые пространства, в частности, наиболее закрытые, наиболее «избранные», требуют также и социального капитала. Они могут обеспечить себе социальный и символический капиталы лишь с помощью «эффекта клуба», который вытекает из устойчивого объединения в недрах одного и того же пространства (шикарные кварталы или великолепные особняки) людей и вещей, похожих друг на друга тем, что их отличает от огромного множества других нечто общее, не являющееся общим для всех. Эффект клуба действует в той мере, в какой эти люди включают по праву (с помощью более или менее афишированной формы *numerus clausus*^{vii}) или по факту (чужак обречен на некоторое внутреннее исключение, способное лишить его определенных прибылей от принадлежности) не проявляющих всех желательных свойств или проявляющих одно из нежелательных свойств.

Эффект гетто есть полная противоположность эффекту клуба. В то время как шикарные кварталы, функционирующие как клубы, основанные на активном исключении нежелательных лиц, символически посвящают каждого из своих обитателей, позволяя ему участвовать в капитале, аккумулированном совокупностью жителей, гетто символически разлагает своих обитателей, объединяя в некоторой резервации совокупность агентов, которые, будучи лишены всех козырей, необходимых для участия в различных социальных играх, могут делиться только своим отлучением. Кроме эффекта «клеимения», объединение в одном месте людей, похожих друг на друга в своей обделенности, приводит к удвоению этого лише-

^{vii} порядок исключения (лат.).

ния, особенно, в области культуры и культурной практики (и наоборот, эффект «клея» укрепляет культурные практики наиболее обеспеченных).

Среди всех свойств, которые предполагает легитимное занятие определенного места, имеются такие — и они не являются наименее определяющими, — которые приобретаются лишь при длительном занятии этого места и при продолжительном посещении его законных обитателей. Очевидно, это случай социального капитала связей (в особенности таких привилегированных, как дружба с детства или с юношеских лет) или всех тех наиболее тонких аспектов культурного и лингвистического капитала, как манера держаться, акцент и т. п. Существует масса черт, придающих особую весомость месту рождения.

Чтобы показать, каким образом власть и, в частности, власть над пространством, которую дает обладание различными видами капитала, переводится в присвоенное физическое пространство в форме пространственного распределения возможностей обладать и иметь доступ к дефицитным благам и услугам, частным или общественным, я попытался несколько лет назад вместе с Моник де Сен-Мартен собрать воедино множество имеющихся статистических данных на уровне каждого французского департамента одновременно по показателям экономического, культурного и даже социального капиталов, а также по благам и услугам, предлагаемым на этом уровне. Целью этой затеи было постараться уловить все то, что часто относят на счет физического или географического пространства, бессознательно подчиняясь действию натурализации, которое производит преобразование социального пространства в присвоенное физическое пространство, и что на самом деле может и должно быть отнесено на счет структуры пространственного распределения как частных, так и общественных ресурсов и благ. Эта структура есть не что иное, как кристаллизация в данный момент времени всей истории рассматриваемой локальной единицы (регион, департамент и т. д.), ее положения в государственном пространстве и т. п. Несмотря на то что это исследование за отсутствием времени не было доведе-

но до конца, оно по меньшей мере позволило сделать вывод, что главное из региональных различий, которое часто приписывают результату действия географического детерминизма (например, в логике противопоставления севера и юга), обязано своим воспроизводством в истории эффекту кругового подкрепления, непрерывно осуществляемого в ходе истории. Поскольку устремления, особенно в отношении места жительства и более широко — культуры, являются большей частью продуктом структуры распределения благ и услуг в присвоенном физическом пространстве, они имеют тенденцию меняться вместе со способностью их удовлетворять, а потому результат действия неравного распределения стремлений приводит к удваиванию в каждый момент результата действия неравного распределения средств и шансов их удовлетворения.

Определив и измерив совокупность феноменов, хотя и связанных внешне с физическим пространством, но отражающих в действительности экономические и социальные различия, остается только постараться выделить неразложимый остаток, который относится исключительно к действию близости или дистанции в собственно физическом пространстве. Например, эффекту барьера, следующему из локализации в какой-либо точке физического пространства и из антропологической привилегии принадлежать не только непосредственно воспринимаемому настоящему, но и видимому и ощущаемому пространству со-присутствующих предметов и агентов (соседи и соседство). Таким образом, можно видеть, что вражда, связанная с близостью в физическом пространстве (конфликты между соседями, например), может затмить солидарность, проявляющуюся на уровне позиции, занимаемой в национальном или интернациональном социальном пространстве, или что представления, связанные с занимаемой в локальном социальном пространстве позицией, могут помешать понять позицию, реально занимаемую в национальном социальном пространстве.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И СИМВОЛИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ*

Принимая во внимание ограниченность одной лекции, мне хотелось бы попробовать изложить теоретические принципы, положенные в основание исследования, чьи результаты представлены в книге «Различение», и показать возможные теоретические приложения, которые с большой вероятностью могут ускользнуть от читателя, особенно из другой страны, из-за расхождений в культурных традициях. Если бы мне нужно было охарактеризовать мою работу в двух словах, т. е., как это часто делается теперь, наклеить на нее этикетку, я говорил бы о *constructivist structuralism*ⁱ или о *structuralist constructivism*ⁱⁱ, взяв при этом слово «структурализм» в смысле, сильно отличающемся от того, который ему придает сосюрровская или леви-строссовская традиция. С помощью структурализма я хочу сказать, что в самом социальном мире, а не только в символическом, языке, мифах и т. п. существуют объективные структуры, независимые от сознания и воли агентов, способные направлять или подавлять их практики или представления. С помощью конструктивизма я хочу показать, что существует социальный генезис, с одной стороны, схем восприятия, мышления и действия, ко-

* © Bourdieu P. Espace social et pouvoir symbolique. Текст лекции, прочитанной в Университете Сан-Диего в марте 1986 г.

ⁱ Конструктивистском структурализме (англ.).

ⁱⁱ Структуралистском конструктивизме (англ.).

торые являются составными частями того, что я называю габитусом, а с другой стороны, — социальных структур и, в частности, того, что я называю полями или группами и что обычно называют социальными классами.

Я считаю, что здесь данное уточнение особенно необходимо: действительно, из-за превратности переводов знают, например, «Воспроизводство» (*«La Reproduction»*), а это приводит к тому — и некоторые комментаторы делают это, не колеблясь, — что меня определяют в структуралисты, в то время как совершенно не знакомы с более ранними моими работами (настолько ранними, что они предшествуют даже появлению типично «конструктивистских» работ на эту же тему), которые, несомненно, заставили бы воспринимать меня как «конструктивиста». Так, в книге, называющейся «Педагогическое отношение и коммуникация» (*«Rapport pédagogique et communication»*), мы показываем, как строится социальное отношение понимания в процессе и посредством непонимания, или несмотря на непонимание; как преподаватели и студенты приходят к согласию через некоторого рода негласные переговоры, подспудно направляемые заботой о минимизации издержек и риска, чтобы получить минимальную определенность ситуации коммуникации. В другом исследовании — «Категории профессорского понимания» (*«Les catégories de l'entendement professoral»*) — мы пытаемся проанализировать генезис и функционирование категорий восприятия и оценивания, с помощью которых преподаватели строят образ своих учеников, оценивают их развитость, их ценность, и как они с помощью практик кооптации, направляемых теми же категориями, формируют для себя группу своих коллег и преподавательский корпус. Теперь, после этого отступления, я возвращаюсь к сути дела.

В самом общем виде социальная наука — антропология, социология или история — колеблется между двумя с виду несовместимыми точками зрения: объективизмом и субъективизмом или, если угодно, между физикализмом и психологизмом (который может принимать различные окраски: феноменологические, семиологические и т. п.). С одной стороны, согласно старой дюркгеймовской мак-

символическом, социальная наука может «рассматривать социальные факты как вещи» и устраняться таким образом от всего, чему те обязаны своим существованием в качестве объектов познания (или незнания) в социальном бытии. С другой стороны, она может сводить социальный мир к представлениям о нем, конструируемым самими агентами; задача социальной науки заключается в таком случае в производстве «мнения о мнениях» (*account of the accounts*), производимых социальными субъектами.

Эти две социальные позиции редко выражаются и тем более применяются в научной практике столь радикальным и столь контрастным образом. Можно видеть, что Дюркгейм (вместе с Марксом) наиболее последовательно изложил объективистскую позицию: «Мы считаем плодотворной идею, что социальная жизнь должна раскрываться не через концепцию того, кто в ней принимает участие, а через глубинные причины, которые ускользают от сознания». Но, будучи хорошим кантианцем, он не отрицал, что понять эту реальность можно, лишь применяя к ней логические инструменты. Соответственно, объективистский физикализм сочетается часто с позитивистской склонностью понимать классификации как «операциональное» деление или как механическую регистрацию «объективных» разрывов и непрерывностей (например, в распределениях). А наиболее чистые выражения субъективистского видения можно найти, конечно, у Шюца и этнометодологов. Так, Шюц двигается в точно противоположном направлении от Дюркгейма: «Наблюдаемое поле *social scientist*, научная реальность, имеет специфические смысл и структуру соответствия для живущих, действующих и мыслящих в ней человеческих существ. Путем серии построений здравого смысла они предварительно отобрали и проинтерпретировали этот мир, который ими воспринимается как реальность повседневной жизни. И именно эти мысленные объекты определяют их поведение, мотивируя его. Мысленные объекты, сконструированные обществоведом, для того чтобы понять социальную реальность, должны базироваться на мысленных объектах, сконструированных здоровой мыслью людей,

живущих своей обыденной жизнью в своем социальном мире. Таким образом, конструкции социальных наук являются, так сказать, конструкциями второго порядка, конструкциями конструкций, созданных актерами на социальной сцене». ⁱⁱⁱ Противопоставление полное: в одном случае — научное познание получается лишь через разрыв с первичными представлениями, называемыми «допонятийными» у Дюркгейма и «идеологическими» у Маркса, причем он происходит по бессознательным причинам; во втором случае — социальное познание неотрывно от обыденного познания, поскольку оно есть не что иное, как «построение построений».

Если я немного тяжеломерно привел эту оппозицию как пример одной из наиболее пагубных среди «пар концептов» (*paired concepts*), которыми кишат социальные науки, как нам это показали Ричард Бендикс и Беннет Бергер, то потому, что самое постоянное и, на мой взгляд, самое важное для работы мое желание — преодолеть ее. Рискую показаться очень непонятным, попробую дать в одной фразе резюме всего изложения, которое я вам предлагаю сегодня. С одной стороны, объективные структуры, которые конструирует социолог в рамках объективизма, отстраняясь от субъективных представлений агентов, лежат в основе субъективных представлений и содержат структурные принуждения, влияющие на взаимодействия; но, с другой стороны, эти представления должны быть усвоены, если хотят, чтобы с ними считались, в частности, в индивидуальной или коллективной повседневной борьбе, нацеленной на трансформацию или сохранение объективных структур. Это означает, что оба подхода — объективистский и субъективистский — находятся в диалектической связи и что, даже если субъективистский подход, когда его берут изолированно, кажется очень близким интеракционизму или этнометодологии, он отделен от них радикальным отличием: точки зрения фиксируются как таковые и соотносятся с позициями соответствующих агентов в структуре.

ⁱⁱⁱ Schutz A. Collected Papers, I; The Problem of Social Reality. La Haye, Martinus Nijhoff, s. d. P. 59.

Чтобы действительно преодолеть искусственную оппозицию, установившуюся между структурами и представлениями, нужно порвать со способом мышления, который Кассирер называет субстанциалистским и который направлен на непризнание никаких других реалий, кроме тех, что поставляются непосредственной интуицией в обыденном опыте индивидов или групп. Главный вклад так называемой революции структурализма заключается в применении к социальному миру реляционного способа мышления, способа современной математики или физики, который идентифицирует реальность не с субстанциями, а со связями. «Социальная реальность», о которой говорил Дюркгейм, есть множество невидимых связей, тех самых, что формируют пространство позиций, внешних по отношению друг к другу, определенных одни через другие по их близости, соседству или по дистанции между ними, а также по относительному положению: сверху, снизу или между, посередине. Социология в объективистском аспекте является социальной топологией, *analysis situs*, как называли эту новую область математики во времена Лейбница, анализом относительных положений и объективных связей между позициями.

Этот способ реляционного мышления является отправной точкой построений, представленных в «Различении». Но существует большая вероятность того, что пространство, т. е. связи, ускользает от читателя, несмотря на обращение к диаграммам и к факторному анализу: во-первых, поскольку субстантивистский способ мышления более легкий и «естественный»; во-вторых, поскольку часто случается, что средства, вынужденно использующиеся для конструирования и обнаружения социального пространства, могут заслонить полученные с их помощью результаты. Группы, конструируемые для объективации занимаемых ими позиций, заслоняют эти позиции; например, в «Различении» главу, посвященную фракциям господствующего класса, кто-то может прочитать как описание различных стилей жизни этих фракций, не заметив там позиций в пространстве властных отношений — того, что я называю полем власти. Изменение терминологии

является, как мы видим, одновременно условием и результатом разрыва с обыденным представлением, связанного с идеей *ruling class*.^{iv}

С этого момента изложения можно сравнивать социальное пространство и географическое пространство, внутри которого выделяются области. Это пространство сконструировано таким образом, что агенты, группы или институции, размещенные в нем, имеют тем больше общих свойств, чем более близки они в этом пространстве; и тем меньше, чем более они удалены друг от друга. Хотя пространственные дистанции — на бумаге — совпадают с социальными дистанциями, тем не менее они не существуют в реальном пространстве. Так, несмотря на то, что почти всюду можно наблюдать тенденцию сегрегации в пространстве, когда люди, близкие в социальном пространстве, стремятся стать близкими — по выбору или вынужденно — в географическом пространстве, все же люди, сильно удаленные в социальном пространстве, могут встречаться, вступать во взаимодействия в физическом пространстве, по меньшей мере, на короткий период или время от времени. Взаимодействия, дающие непосредственное удовлетворение эмпирическим предрасположенностям — а их можно наблюдать, снимать, регистрировать, короче — трогать их пальцами, — заслоняют структуры, которые в них реализуются. Это один из тех случаев, когда видимое (непосредственная данность) скрывает невидимое, которым она определяется. Таким образом, не учитывается, что истина взаимодействия никогда не заключается целиком во взаимодействии в том виде, в каком оно предстает наблюдению. Одного примера достаточно, чтобы показать различие между структурой и взаимодействием и, одновременно, между структуралистским подходом, который я защищаю как необходимый момент исследования, и так называемым интеракционистским подходом во всех его формах (в частности, этнометодологией). Я думаю о том, что называю для себя

^{iv} Правящего класса (англ.).

стратегиями снисходительности, когда агенты, занимающие высшие позиции в одной из иерархий объективного пространства, символически отрицают социальную дистанцию (которая от того не перестает существовать), обеспечивая себе таким образом выгоды от признательности, придаваемой этому чисто символическому отрицанию дистанции: «он простой», «он не гордый» и т. п.; вместе с тем предполагается признание дистанции (приведенные мной фразы предполагают всегда подтекст: «он прост для герцога», «он не гордый для университетского профессора»). Короче, можно пользоваться объективными дистанциями таким образом, чтобы получать преимущества от близости и преимущества от дистанции; т. е. от дистанции и от признания дистанции, которое обеспечивается символическим ее отрицанием.

Как можно конкретно зафиксировать эти объективные связи, не сводимые к взаимодействиям, в которых они проявляются? Эти объективные связи суть связи между позициями, занимаемыми в распределении ресурсов, которые являются или могут стать действующими, эффективными, как козыри в игре, в ходе конкурентной борьбы за присвоение дефицитных благ, чье место — социальный универсум. Основными видами такой социальной власти являются, согласно моим эмпирическим исследованиям, экономический капитал в его различных формах, культурный капитал, а также символический капитал — форма, которую принимают различные виды капитала, воспринимаемые и признаваемые как легитимные. Таким образом, в социальном пространстве агенты распределены в первом измерении по общему объему имеющегося у них капитала во всех его видах, и во втором измерении — по структуре их капитала, т. е. по относительному весу различных видов капитала (экономического, культурного...) в общем объеме капитала, которым они располагают.

Недопонимание при чтении предлагаемого мной (в частности, в «Различении») анализа является результатом того, что классы на бумаге могут восприниматься как реальные группы. Подобное чтение объективно поддерживается тем фактом, что социальное пространство

сконструировано так, что агенты, занимающие сходные или соседние позиции, находятся в сходных условиях, подчиняются сходным обусловленностям и имеют все шансы обладать сходными диспозициями и интересами, а следовательно, производить сходные практики. Диспозиции, приобретенные в занимаемой позиции, предполагают приспособление к этой позиции, которое Гофман называл *sense of one's place*.⁷ Это чувство своего места, ведущее при взаимодействиях одних людей (которых французы называют «скромные люди») к тому, чтобы держаться на своем месте «скромно», а других — «держаться дистанцию», «знать себе цену», «не фамильярничать». Заметим, между прочим, что такие стратегии могут быть совершенно бессознательными и принимать формы застенчивости или высокомерия. В самом деле, социальные дистанции «вписаны» в тело, точнее, в отношение к телу, к языку или к времени (многие структурные аспекты практики игнорируются субъективистским видением).

Если добавить, что *sense of one's place* и переживаемое сходство габитуса, как, например, симпатия или антипатия, являются началом всех форм кооптации, дружбы, любви, брака, ассоциации и т. д. и, следовательно, всех устойчивых связей, иногда подтвержденных юридически, то можно увидеть, как все заставляет думать, что классы на бумаге являются реальными группами, тем более реальными, чем лучше сконструировано пространство и чем меньше общности, вычлененные в этом пространстве. Если вы хотите создать политическое течение или ассоциацию, у вас будет больше шансов объединить людей, находящихся в одном секторе социального пространства (например, на юго-западе диаграммы, со стороны интеллектуалов), чем если вы возьметесь сгруппировать людей, расположенных по четырем углам диаграммы.

Но так же, как субъективизм предрасположен редуцировать структуры к взаимодействиям, объективизм стремится выводить действия и взаимодействия из структуры. Таким образом, главная ошибка, ошибка теорети-

⁷ Чувство своего места (англ.).

зирования, которую мы находим у Маркса, заключается в рассмотрении классов на бумаге как реальных классов, в выведении из объективной однородности условий, обусловленностей и, следовательно, диспозиций, которые вытекают из идентичности позиций в социальном пространстве, их существования в качестве единой группы, в качестве класса. Понятие социального пространства позволяет избежать альтернативы номинализма и реализма в области социальных классов: политическая работа, нацеленная на производство социальных классов как *corporate bodies*, постоянных групп, обладающих постоянными органами представительства, обозначениями и т. п., имеет тем больше шансов на успех, чем более агенты, которых хотят собрать, объединить, построить в группу, близки в социальном пространстве (следовательно, принадлежат к одному классу на бумаге). Классы в марксовом смысле таковы, что их нужно строить с помощью политической работы, которая может быть тем более успешной, чем более она вооружена в действительности хорошо обоснованной теорией и, следовательно, более способна осуществить *эффект теории* — *theorein*, что по-гречески означает «видеть», т. е. навязать видение деления.

С помощью эффекта теории мы выходим из чистого физикализма, но не бросаем достижения фазы объективизма: группы, к примеру социальные классы, нужно еще «создавать». Они не даны в «социальной реальности». Нужно понимать буквально название известной книги Э. П. Томпсона «Формирование английского рабочего класса» (*The Making of English Working Class*) рабочий класс, такой, каким он нам видится сегодня через описывающие его слова — «рабочий класс», «пролетариат», «трудящиеся», «рабочее движение» и т. д., через организации, предназначенные для его выражения, через символы, бюро, секретариат, знамена и т. п., является хорошо обоснованным историческим артефактом (в том смысле, в каком Дюркгейм говорил о религии, что это хорошо обоснованная иллюзия). Но это не означает, что можно сконструировать все что угодно и неважно каким способом: ни в теории, ни на практике.

Таким образом, мы перешли от социальной физики к социальной феноменологии. «Социальная реальность», о которой говорят объективисты, есть также объект восприятия. А социальная наука должна брать в качестве объекта и эту реальность, и ее восприятие с перспективами и точками зрения, которые агенты имеют на эту реальность в зависимости от их позиции в объективном социальном пространстве. Спонтанные воззрения на социальный мир, «*folk theories*»^{vi}, о которых говорят этнометодологи (или то, что я называю спонтанной социологией), так же как ученые теории и социология, составляют часть социальной реальности и могут получить совершенно реальную власть конструирования, как в примере с марксистской теорией.

Объективистский разрыв с предпоятиями, идеологиями, спонтанной социологией, народной мудростью — неизбежный и необходимый момент научного подхода. Нельзя экономить на нем, не подвергая себя риску больших ошибок, что мы видим в интеракционизме, в этнометодологии и в социальной психологии во всех ее формах, демонстрирующих феноменологический взгляд на социальный мир. Но нужно совершить второй разрыв, более трудный — разрыв с объективизмом, заново вводя в оборот на следующем этапе все то, от чего избавлялись при конструировании объективной реальности.

Социология должна включать в себя социологию восприятия социального мира, т. е. социологию конструирования воззрений на мир, которые в свою очередь участвуют в конструировании этого мира. Однако, принимая в расчет построенное нами социальное пространство, мы знаем, что эти точки зрения, как говорит об этом само слово, являются взглядом с определенной точки, т. е. из определенного положения в социальном пространстве. Мы знаем также, что точки зрения будут разные и даже антагонистические, ведь они зависят от точки, с которой смотрят, поскольку для каждого агента видение пространства зависит от его положения в этом пространстве.

^{vi} Народные воззрения (англ).

Вслед за этим мы отрекаемся от универсального субъекта, от трансцендентального *Ego* феноменологии, которое этнометодологи переняли для собственных нужд. Конечно, агенты обладают активным восприятием мира. Конечно, агенты конструируют собственное мировоззрение. Но это конструирование осуществляется под структурным давлением. И можно даже объяснить в социологических терминах то, что проявляется как универсальное свойство человеческого опыта, а именно: освоенный мир имеет тенденцию быть воспринимаемым как нечто должное, что идет само по себе. Если социальный мир стремится восприниматься как очевидный и ощущаться (если пользоваться терминологией Гуссерля) согласно доксической модальности, то потому, что диспозиции агентов, их габитус, т. е. ментальные структуры, через которые агенты воспринимают социальный мир, являются в основном продуктами интериоризации структур социального мира. Поскольку диспозиции восприятия имеют тенденцию приспосабливаться к позиции, то даже наиболее обездоленные агенты стремятся воспринимать социальный мир как должное и мириться с гораздо большим, чем можно было бы вообразить, особенно если смотреть социальным взглядом того, кто господствует, на ситуацию тех, кто находится в подчиненной позиции.

Таким образом, исследование инвариантных форм восприятия или конструирования социальной реальности скрывает различные вещи: во-первых, это конструирование не происходит в социальном вакууме, но подвергается структурному давлению; во-вторых, структурирующие структуры, когнитивные структуры сами являются социально структурированными, поскольку имеют социальный генезис; в-третьих, конструирование социальной реальности — это не только индивидуальное предприятие; оно может стать и коллективным. Но так называемое микросоциологическое видение забывает о многих других вещах. Так случается, если смотреть с очень близкого расстояния: за деревьями леса не видно; в особенности, при отсутствии сконструированного пространства нет никакой возможности увидеть откуда видят то, что видят.

Итак, представления агентов меняются в зависимости от их позиции (и связанных с ней интересов) и от их габитуса, понимаемого как система схем восприятия и оценивания, как когнитивные и развивающие структуры, которые агенты получают в ходе их продолжительного опыта в какой-то позиции в социальном мире. Габитус есть одновременно система схем производства практик и система схем восприятия и оценивания практик. В обоих случаях эти операции выражают социальную позицию, в которой он был сформирован. Вследствие этого габитус производит практики и представления, поддающиеся классификации и объективно дифференцированные, но они воспринимаются непосредственно как таковые только теми агентами, которые владеют кодом, схемами классификации, необходимыми для понимания их социального смысла. Так, габитус подразумевает *sens of one's place*, но еще и *sens of others' place*.^{vii} Например, мы говорим об одежде, мебели или книге: «это мелкобуржуазно» или «это интеллигентно». Каковы же социальные условия, позволяющие такое суждение? Во-первых, предполагается, что вкус (или габитус) как система схем классификации объективно соотносится через породившие его социальные условия с определенным социальным положением: агенты классифицируют сами себя и позволяют себя классифицировать, выбирая в соответствии с собственным вкусом различные атрибуты — одежду, еду, напитки, спорт, друзей, которые хорошо сочетаются и которые хорошо им подходят или, более точно, соответствуют их положению. Точнее, в пространстве возможных благ и услуг выбирают блага, занимающие в этом пространстве позицию, гомологичную той, которую агенты занимают в социальном пространстве. Из чего получается, что ничто не классифицирует более того, кто сам себя классифицировал.

Во-вторых, классификационное суждение типа «это мелкобуржуазно» предполагает, что мы, как социализированные агенты, способны видеть связь между практи-

^{vii} Чувство места другого (англ.).

ками или представлениями и позициями в социальном пространстве (как мы догадываемся о социальном положении кого-либо по акценту). Таким образом, через габитус мы получаем мир здравого смысла, социальный мир, который кажется очевидным.

До сих пор я был на стороне воспринимающих субъектов и говорил о главном факторе изменчивости восприятия, т. е. о позиции в социальном пространстве. Но в чем заключается изменчивость, чья первооснова находится со стороны объекта, со стороны самого этого пространства? Верно, что соответствие между позициями и практиками, видимыми предпочтениями, выраженными мнениями и т. п., которое устанавливается при посредстве габитусов, диспозиций, вкусов, заставляет воспринимать социальный мир не как чистый хаос, полностью свободный от необходимости и могущий быть построенным каким угодно образом. Но вместе с тем социальный мир не предстает и как полностью структурированный и способный навязать любому воспринимающему субъекту прототипы собственной конструкции. Социальный мир может быть назван и построен различным образом в соответствии с различными принципами видения и деления: например, деления экономического или деления этнического. Если и верно, что в наиболее развитых с точки зрения экономики обществах экономические и культурные факторы имеют наибольшую дифференцирующую силу, то все же экономические и социальные различия никогда не бывают настолько сильными, что невозможно организовать агентов в соответствии с другими принципами деления: например, этническим, религиозным или национальным.

Несмотря на эту потенциальную множественность возможного структурирования — то, что Вебер называл разносторонностью (*Vielseitigkeit*) данных, — социальный мир предстает как сильно структурированная реальность. И именно это я хочу коротко раскрыть на примере одного простого механизма. Социальное пространство, такое, каким я его обрисовал выше, представляет собой совокупность агентов, наделенных различными и систематически взаимосвязанными свойствами: те, кто пьет шампанское,

противопоставляются тем, кто пьет виски, но они противопоставляются также, другим образом, тем, кто пьет красное вино; однако у тех, кто пьет шампанское, больше возможностей иметь старинную мебель, заниматься гольфом, верховой ездой, ходить в театры и т. д., чем у тех, кто пьет виски, и бесконечно больше, чем у тех, кто пьет красное вино. Такие свойства, когда они воспринимаются агентами, наделенными соответствующими категориями перцепции, способными видеть, что игра в гольф «изображает» традиционную крупную буржуазию, функционируют в самой действительности социальной жизни как знаки. Различия функционируют как знаки и как знаки отличия (позитивного или негативного) даже без какого-либо стремления отличаться, без какого-либо поиска *conspicuous consumption*^{viii} (мой подход не имеет ничего общего с подходом Веблена: так же, как различие с точки зрения локальных критериев исключает поиск различия). Иначе говоря, через распределение свойств социальный мир объективно представляется как символическая система, пространство стилей жизни и статусных групп, характеризующихся различными стилями жизни.

Таким образом, восприятие социального мира есть продукт двойного структурирования. Со стороны объективной, оно социально сконструировано, поскольку свойства, атрибутированные агентам или институциям, предстают в сочетаниях, имеющих очень неравную вероятность: так же, как у животного, покрытого перьями, больше вероятности иметь крылья, чем у животного, покрытого шерстью, у обладателей изящной речи больше шансов быть увиденными в музее, чем у тех, кто ею не владеет. Со стороны субъективной, оно структурировано в силу того, что схемы восприятия и оценивания, в особенности те, что вписаны в язык, выражают состояние отношений с символической властью; я думаю, например, о парах прилагательных: тяжелый—легкий, блестящий—тусклый и т. п., которые структурируют суждения вкуса в самых

^{viii} Демонстративного потребления (англ.).

разных областях. Эти два механизма участвуют в производстве общего мира, мира здравого смысла или самое малое — минимума консенсуса о социальном мире.

Но объекты социального мира, как я это уже показал, могут быть восприняты и выражены разным образом, поскольку они всегда содержат долю недетерминированности и неясности и в то же время некоторую степень семантической растяжимости. Действительно, даже наиболее устойчивые комбинации свойств всегда основываются на статистических связях между взаимозаменяемыми чертами; кроме того, они подвержены изменениям во времени таким образом, что их смысл (в той мере, в какой он зависит от будущего) сам находится в ожидании и относительно недетерминирован. Этот объективный элемент неопределенности, который часто усиливается действием категоризации — одно и то же слово может покрывать различные практики, — дает основание для множественности представлений о мире, которая в свою очередь связана с множественностью точек зрения, и, одновременно, для символической борьбы за власть производить и навязывать легитимное видение мира. (Именно на средних позициях в социальном пространстве, особенно в США, недетерминированность и объективная неопределенность связей между практиками и позициями является максимальной, как следствие, велика интенсивность символических стратегий. Понятно, что этот универсум предоставляет исключительно благоприятную почву для интеракционистов и, в частности, для Гофмана.)

Символическая борьба по поводу восприятия социального мира может принимать разные формы. С объективной стороны, она может проявляться через действия представления, индивидуальные или коллективные, направленные на то, чтобы заставить увидеть и заставить оценить определенные реалии. Я думаю, например, о манифестациях, имеющих целью показать группу, ее численность, силу, сплоченность, сделать видимым ее существование. На индивидуальном уровне все стратегии представления себя, очень хорошо проанализированные И. Гофманом, предназначены манипулировать образом

себя и в особенности (этого Гофман не учитывает) — своей позицией в социальном пространстве. С субъективной стороны, можно действовать, пытаясь изменить категории восприятия и оценивания социального мира, когнитивные и оценочные структуры: категории перцепции, системы классификации. Иначе говоря, слова, названия конструируют социальную реальность в той же степени, в какой они ее выражают, и являются исключительными ставками в политической борьбе, в борьбе за навязывание легитимного принципа видения и деления, за легитимное осуществление эффекта теории. Я показал на примере Кабилии, что группы, дома, кланы или трибы и имена, обозначающие их, являются инструментами и ставками многочисленных стратегий и что агенты заняты непрерывными переговорами о своей идентичности: например, они могут манипулировать генеалогиями, как мы манипулируем (и с теми же целями) текстами *founding fathers*^{ix} какой-либо дисциплины. Эта же цель преследуется в ежедневной классовой борьбе, которую социальные агенты ведут в изолированном и раздробленном состоянии, прибегая к оскорблениям как магической попытке категоризации (*kathegoresthai*, из которой пришли наши категории, означает на греческом «обвинить публично»), сплетням, молве, дискредитации, инсинуациям и т. п. На уровне коллективном, более свойственном политике, такую роль играют стратегии, нацеленные на внедрение нового представления о строении социальной реальности через отказ от старой политической лексики или на сохранение ортодоксального видения через сохранение слов, которые являются часто эвфемизмами (я только что упоминал выражение «простонародные классы»), предназначенными называть социальный мир. Самыми типичными стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего.

^{ix} «Отцов-основателей» (англ.).

Символическая борьба — как индивидуальная, за ежедневное существование, так и коллективная, организованная, в политической жизни — имеет специфическую логику, придающую ей реальную автономию по отношению к структурам, в которых она берет начало. Поскольку символический капитал есть не что иное, как экономический или культурный капитал, когда тот становится известным и признанным, когда его узнают по соответствующим категориям восприятия, постольку отношения символической власти стремятся воспроизвести и усилить отношения сил, образующих структуру социального пространства. Более конкретно, легитимация социального порядка не является продуктом сознательно направленного действия пропаганды или символического внушения, как в это верят некоторые; она вытекает из того, что агенты применяют к объективным структурам социального мира структуры восприятия и оценивания, порожденные этими объективными структурами, а потому существует тенденция воспринимать социальный мир как должное.

Объективные властные отношения стремятся воспроизвестись в отношениях символической власти. В эту символическую борьбу за производство здравого смысла, точнее, за монополию легитимной номинации, агенты вовлекают символический капитал, полученный ими в ходе предшествующей борьбы и иногда гарантированный юридически. Дворянские титулы, так же как и дипломы, представляют собой настоящий документ, подтверждающий обладание символической собственностью и дающий право на получение прибылей от ее признания. Теперь нужно еще разорвать с субъективным маржинализмом, ведь символический порядок не устанавливается по образцу рыночной стоимости через простое механическое сложение индивидуальных порядков. С одной стороны, при выработке объективной классификации и иерархии ценностей, предписываемых индивидам или группам, все суждения имеют разный вес; обладатели большого символического капитала — *nobles*, т. е. этимологически, кто известен и признан, — способны навязать свою шкалу цен, наиболее благоприятную для их соб-

ственной продукции. Это происходит, в частности, потому, что на деле в нашем обществе они обладают квазимонополией на институты, официально устанавливающие, как, например, образовательная система, и обеспечивающие определенные ранги. С другой стороны, символический капитал может быть официально санкционирован, гарантирован и установлен юридически в результате официальной номинации. Официальная номинация, т. е. акт, по которому кому-либо присуждается определенное право или звание, как социально признанная квалификация есть одно из наиболее типичных проявлений монополии легитимного символического насилия, которая принадлежит государству или его официальным правителям. Тип диплома, например, является универсально признанным и гарантированным видом символического капитала, действующим на любом рынке. В качестве официального определения некой официальной идентичности, диплом как бы освобождает своего обладателя от символической борьбы всех против всех, предписывая ему общепринятую перспективу.

Государство, производящее официальную классификацию, является в определенном смысле высшим судом, на которую ссылается Кафка в «Процессе», когда Блок говорит адвокату, считающему себя «крупным адвокатом»: «Конечно, каждый может назвать себя “крупным”, если ему это заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твердо»^х. Для науки не может быть выбора между релятивизмом и абсолютизмом: истина социального мира поставлена на карту в этой борьбе между агентами, имеющими неравные возможности для достижения совершенного, т. е. самоконтролируемого видения. Легализация символического капитала придает перспективе абсолютную и универсальную ценность, позволяющую вырваться, таким образом, из относительности, которая по определению свойственна

^х Кафка Ф. Америка. Процесс. Из дневников / Пер. с нем. М.: Политиздат, 1991. С. 386.

любой точке зрения как взгляду с какой-то отдельной точки социального пространства.

Существует официальная точка зрения, которая есть точка зрения официальных лиц, выражающаяся в официальных высказываниях. Такие высказывания, как показал Аарон Сикурел, выполняют три функции. Во-первых, функция диагностики, т. е. акт узнавания, который получает признание и который достаточно часто направлен на подтверждение, что некая персона или вещь существует и что она существует универсальным, возможным для любого человека и, следовательно, объективным образом. Как хорошо показал Кафка, это почти божественная речь, определяющая каждому его идентичность. Во-вторых, функция администрирования, когда при помощи директив, приказов, предписаний и т. д. людям указывается, что они могут делать, будучи тем, что они есть. В-третьих, с помощью официальных отчетов, полицейских рапортов и т. п. сообщается о том, что люди сделали в действительности. В каждом случае предписывается некая точка зрения, точка зрения института, которая навязывается, в частности, через вопросники, бланки, формуляры и прочее. Эта точка зрения установлена в качестве легитимной, т. е. такой, какую должны признавать все, по крайней мере в границах данного определенного общества. Уполномоченное лицо государства — носитель здравого смысла, поэтому официальные номинации и дипломы об образовании стремятся получить универсальную ценность на всех рынках.

Наиболее типичный результат действия «государственного интереса» — эффект кодификации, применяемой при таких достаточно простых операциях, как вручение удостоверения (диплома эксперта, доктора, юриста и т. д.), подтверждающего, что некто уполномочен высказывать точку зрения, признаваемую более высокой по отношению к частным точкам зрения. В форме справки о болезни, свидетельства о неспособности или о способности такие точки зрения дают общепризнанные права владельцу документа. Государство выступает как центральный банк, обеспечивающий все удостоверения. Рассуждая в терминах, используемых Лейбницем по по-

воду Бога, можно сказать о государстве, что оно суть «геометрическое место точек пересечения любых перспектив». Именно поэтому можно обобщить знаменитую формулу Вебера и увидеть в государстве держателя монополии на легитимное символическое насилие, точнее, арбитра, но очень могущественного, в борьбе за эту монополию.

Однако в борьбе за производство и навязывание легитимного видения социального мира обладатели бюрократической власти никогда не получают абсолютной монополии, даже когда добавляют авторитет науки (как, например, экономисты на службе у государства) к бюрократическому авторитету. В действительности, в обществе всегда существует конфликт между разными символическими властями, стремящимися навязать свое видение легитимных делений, т. е. создавать группы. Символическая власть в этом смысле есть власть *worldmaking*. *World-making* — конструирование мира, заключается, по Нелсону Гудмену, в том, чтобы «делить и объединять, часто одним и тем же действием», производить декомпозицию, анализ и композицию, синтез, что часто совершается одним наклеиванием ярлыка. Социальные классификации, оперирующие главным образом (как, например, в архаических обществах) бинарными противопоставлениями: мужской—женский, высокий—низкий, сильный—слабый и т. п., организуют восприятие социального мира и при определенных условиях реально могут организовать сам этот мир.

Соответственно, теперь мы можем рассмотреть, при каких условиях символическая власть способна стать конститутивной властью. Будем брать этот термин, как Дьюи, одновременно в философском и политическом смыслах, т. е. как власть сохранять или трансформировать объективные основы для объединений и разделений, браков и разводов, ассоциаций и диссоциаций, действующие в социальном мире; как власть сохранять или трансформировать имеющиеся классификации в отношении рода, наций, регионов, возраста и социального статуса, — и все это при помощи слов, используемых для обозначения или описания индивидов, групп или институций.

Чтобы изменить мир, нужно изменить способы, по которым он формируется, т. е. видение мира и практические операции, посредством которых конструируются и воспроизводятся группы. Символическая власть, чьей образцовой формой служит власть образовывать группы (либо уже сложившиеся группы, которые нужно заставить признать, либо группы, которые еще нужно сформировать, как марксистский пролетариат), базируется на двух условиях. Во-первых, как всякий вид перформативного (производительного) дискурса, символическая власть должна быть основана на обладании символическим капиталом. Власть внедрять в чужой ум старое или новое видение социального деления зависит от социального авторитета, завоеванного в предшествующей борьбе. Символический капитал — это доверие, власть, предоставленная тем, кто получил достаточно признания, чтобы быть в состоянии внушать признание. Таким образом, власть конституирования, власть формирования новой группы с помощью мобилизации или формирования ее «по доверенности», говоря от ее имени, являясь ее официальным выразителем, может быть получена лишь в результате длительного процесса институционализации, в итоге которого учреждается доверенное лицо, получающее от группы власть формировать группу.

Во-вторых, символическая эффективность зависит от степени, в которой предполагаемый взгляд основан на реальности. Очевидно, что конструирование групп не может быть конструированием из ничего (*ex nihilo*). Оно может быть тем более успешным, чем в большей степени базируется на реальности, т. е., как я уже говорил, на объективных связях между людьми, которых предстоит объединить. Эффект теории тем сильнее, чем теория более адекватна. Символическая власть есть власть творить вещи при помощи слов. В этом смысле символическая власть есть власть утверждения или проявления, возможность утвердить или проявить то, что уже существует. Значит ли это, что она ничего не делает? В самом деле, как созвездие у Гудмена, которое начинает существовать лишь тогда, когда найдено и описано в качестве созвезд-

дия, так же и группа, класс, род, регион, нация начинают существовать для тех, кто туда входит, и для всех остальных лишь тогда, когда они отличаются по какому-либо основанию от других групп, т. е. узнаны и признаны.

Таким образом, я надеюсь, можно лучше понять смысл борьбы за существование или несуществование классов. Борьба классификаций есть фундаментальное измерение классовой борьбы. Власть навязывать определенное видение деления или делать видимыми, эксплицитными имплицитные социальные деления является прежде всего политической властью, т. е. властью создавать группы и манипулировать объективной структурой общества. Как и с созвездиями, созидательная власть описывать, называть, производить на свет в учрежденном, конституированном состоянии, т. е. в качестве *corporate body* — сформировавшегося корпуса, в качестве *corporatio*, как говорили средневековые юристы канонического права, изученные Канторовичем, то, что до сих пор существовало лишь как *collectio personarum plurium* — собрание многих лиц, серия, получившаяся от чистого сложения индивидов, обычным образом рядоположенных.

Теперь, если мы еще помним о главной проблеме, которую я пытаюсь раскрыть сегодня, а именно, как можно делать вещи, т. е. группы, с помощью слов, нам нужно ответить на последний вопрос — о мистерии министерства, *mysterium ministerium*, как любили говорить юристы канонического права: «Каким образом официальный представитель группы оказывается наделенным всей полнотой власти действовать и говорить от имени группы, которую он создал по магии призывов, лозунгов, приказов и самим своим существованием в качестве олицетворения группы?» Так же как правитель в архаических обществах, *Rex*^{xi}, который, согласно Бенвенисту, наделен *regere fines* и *regere sacra*^{xii}, властью прокладывать и ука-

^{xi} Царь, правитель (лат.).

^{xii} Правление границами, установление границ и правление священным, установление священного (лат.).

зывать границы между группами и тем самым создавать их как таковые, — профсоюзные или партийные руководители, функционеры или эксперты, наделенные государственной властью, являются в равной степени персонализациями социальной фантастики, которую они произвели на свет, в недрах и посредством самого своего существования, и чью власть они получают взамен.

Официальный представитель группы является ее субститутом, который существует только через это делегирование, в его лице группа действует и говорит. Юристы канонического права говорили: «*Status* (позиция) есть *magistratus* (должностное лицо, занимающее ее)»; или, как говорил Людовик XIV: «Государство — это я»; или еще у Робеспьера: «Народ — это я». Класс (народ, нация или любая другая социальная действительность, не фиксируемая другим образом) существует, если существуют люди, которые могут сказать, что они и есть этот класс, благодаря тому, что они говорят публично, официально, со своего места, и что они признаны как уполномоченные на это людьми, каковые признаются тем самым членами класса, народа, нации или другой социальной действительности, которую реалистическое конструирование мира может изобрести и внедрить.

Я надеюсь, что смог убедить вас, в рамках, обусловленных моими лингвистическими способностями, что сложность коренится в самой социальной реальности, а не в немного декадентском желании сказать, что это сложно. «Простое, — как говорил Башляр, — есть всегда упрощенное». И он показал, что наука никогда не развилась бы, если бы не сомневалась в простых вещах. Подобное сомнение особенно необходимо, как мне кажется, в социальных науках, поскольку, по всем приведенным мной причинам, мы слишком охотно стремимся удовлетворяться очевидным, которое нам предоставляет наш обыденный опыт и знакомство с научными теориями.

О СИМВОЛИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ*

Этот текст, рожденный из попытки подвести итог ряду исследований о символизме в весьма своеобразной ситуации, а именно на лекции в иностранном университете (Chicago, 1973), не нужно воспринимать как историю теорий символизма ни в образовательном плане, ни тем более как некую псевдогегельянскую реконструкцию подхода, который мог бы привести — через последовательность снятий — к «окончательной теории».

Если «иммиграция идей», как говорил Маркс, редко проходит без ущерба, то потому, что произведения культуры при этом отделяются от системы теоретических реперов, по отношению к которым, сознательно или неосознанно, они определялись. Поле их производства обозначено вехами имен собственных и «измами», которые произведения не столько сами определяют, сколько ими определяются. Поэтому случаи «иммиграции» с особой силой ставят вопрос о горизонте референции, который в обычной ситуации остается не проявленным. Однако само собой разумеется, что факт репатриации этой сделанной на экспорт продукции заключает большую опасность, связанную с наивностью и упрощением, и большой риск, поскольку дает средство для объективации.

Как бы то ни было, при том состоянии поля, когда повсюду видят власть, так же как в прежние времена отказывались признавать ее даже там, где она бросалась в

* © Bourdieu P. Sur le pouvoir symbolique // Annales. Economie. Société. Civilisations. 1977. № 3. P. 405–411.

глаза, бесполезно было бы напомнить, что власть — этот своего рода «круг, центр которого находится повсюду и нигде», который никогда специально не скрывался, достигая этого иными способами, — нужно уметь обнаружить там, где она менее всего заметна, где она совсем не узнана, следовательно — признана. Символическая власть и есть в действительности такая невидимая власть, которая может осуществляться только при содействии тех, кто не хочет знать, что подвержен ей или даже сам ее осуществляет.

1. *«Символические системы» как структурирующие структуры (искусство, религия, язык).*

Неокантианская традиция (Гумбольдт, Кассирер или в американском варианте Сэпир — Уорф для языка) рассматривает различные символические универсумы: миф, язык, искусство, наука — как инструменты познания и конструирования мира предметов, как «символические формы», признавая — как отмечает Маркс в «Тезисах о Фейербахе» — «активную сторону» познания. В этом же ряду, но с более исторической интенцией, Панофски рассматривает перспективу как *историческую форму*, однако не доходит до того, чтобы последовательно реконструировать *социальные условия* ее создания.

Дюркгейм эксплицитно вписывается в кантианскую традицию. Во всяком случае, поскольку он был намерен дать «позитивный» и «эмпирический» ответ на вопрос о познании. Избегнув альтернативы между априоризмом и эмпиризмом, он закладывает фундамент социологии символических форм (Кассирер открыто признавал, что использовал концепт «символическая форма» как синоним «формы классификации»¹). Благодаря Дюркгейму формы классификации перестают быть универсальными (или трансцендентальными) формами и становятся (у Панофски в имплицитном виде) социальными формами, т. е. произвольными, соотносящимися с отдельными группами и социально детерминированными.²

В этой идеалистической традиции объективность мироощущения определяется согласием структурирующих субъективностей (*sensus = consensus*).

2. «Символические системы» как структурированные структуры (нуждающиеся в структурном анализе).

Структурный анализ дает методологический инструмент, позволяющий реализовать неокантианскую амбицию зафиксировать специфическую логику каждой «символической формы». Предприняв, в согласии с намерением Шеллинга, собственно *тавтологическое* прочтение (по противоположности с *аллегорическим*), которое рассматривает миф лишь в соотнесении с ним самим, структурный анализ имеет целью раскрыть структуру, имманентную каждому виду символической продукции. Но в отличие от неокантианской традиции, акцентирующей *modus operandi*, производительную активность сознания, структуралистская традиция отдает приоритет *opis operandi*, т. е. структурированным структурам. Это хорошо видно на примере представления о языке Соссюра, основателя этой традиции. В качестве структурированной структуры язык рассматривается главным образом как интеллигибельное условие речи, как структурированный медиум, который необходимо сконструировать для объяснения постоянства отношения между звуком и смыслом. (Через устанавливаемое им противопоставление иконологии и иконографии, являющееся точным эквивалентом оппозиции фонологии фонетике. Панофски и любой аспект его творчества, имеющего целью обнаружить глубинные структуры произведений искусства, располагается в границах этой традиции.)

Первичный синтез

Символические системы — средства познания и коммуникации — могут осуществлять свою структурирующую власть лишь потому, что они структурированы. Символическая власть есть власть конструировать реальность, устанавливая *гносеологический* порядок: непосредственное мироощущение (и в особенности — чувство социального мира) предполагает то, что Дюркгейм называл *логическим конформизмом*, т. е. «гомогенным восприятием времени, пространства, числа, причины, что делает возможным согласие между умами». Заслугой Дюркгейма, а позже Радклифа-Брауна, который основывал

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
Структурирующие структуры		Структурированные структуры	Инструменты господства
Инструменты познания и конструирования объективного мира		Средства общения (язык или культура, дискурс или поведение)	Власть Разделение труда (социальные классы) Разделение идеологического труда (ручной / умственный) Функция господства
Символические формы: субъективные структуры (modus operandi) Кант — Кассирер		Символические объекты: объективные структуры (opus operatum) Гегель — Соссюр	Идеологии: (vs мифы, языки) Маркс Вебер
Сэпир — Уорф Культурализм	Дюркгейм — Мосс Социальные формы классификации	Леви-Строс Семиология	Группы конкурирующих за монополию на легитимную культурную продукцию специалистов
Значение: объективность как согласие субъектов (консенсус)		Значение: объективный смысл как результат коммуникации, являющейся условием коммуникации	
Социология символических форм: вклад символической власти в гносеологический порядок. Смысл = консенсус, т. е. докса			
Идеологическая власть как специфический вклад символического насилия (ортодоксия) в политическое насилие (господство) Разделение труда по господству			

«социальную солидарность» на общности символической системы, является эксплицитное указание на *социальную функцию* (в структурно-функциональном смысле) символизма, истинно политическую функцию, которая не редуцируется к функции коммуникации структуралистов.

Символы являются инструментами *par excellence* «социальной интеграции»: как инструменты познания и общения (ср. с дюркгеймовским анализом праздника), они делают возможным консенсус по поводу смысла социального мира, а «логическая» интеграция есть условие «моральной» интеграции.³

3. Символическая продукция как инструмент господства.

Марксистская традиция отдает приоритет политической функции «символических систем» в ущерб их логической структуре и гносеологической функции (хотя Энгельс и говорит о «систематическом выражении» по поводу права). Такой функционализм — ничего общего не имеющий со структурным функционализмом типа Дюркгейма или Радклифа-Брауна — обосновывает символическое производство путем его соотнесения с интересами господствующих классов. В противоположность мифу — коллективно присвоенному коллективному продукту — идеологии служат частным интересам, которые они пытаются представить как универсальные интересы, общие для всех групп. Господствующая культура вносит свой вклад как в действительную интеграцию господствующего класса (обеспечивая непосредственную коммуникацию между его членами и отличая его от всех других классов), так и в ложную интеграцию общества в целом, а следовательно, в де-мобилизацию (ложное сознание) подчиненных классов, а также в легитимацию установленного порядка с помощью установления различий (иерархий) и легитимацию этих различий. Господствующая культура производит этот идеологический эффект, маскируя функцию разделения под функцию коммуникации: культура объединяющая (медиум коммуникации) есть культура разделяющая (инструмент различения), которая легитимирует различия, вынуждая все другие культуры (обозначенные как субкультуры) определяться в зависимости от их дистанции от господствующей культуры.

Вторичный синтез

Вопреки всем формам «интеракционистского» заблуждения, заключающегося в редукции отношений силы

к отношениям коммуникации, недостаточно отметить, что отношения коммуникации всегда являются в то же время отношениями власти, чья форма и содержание зависят от материальной или символической власти, накопленной агентами или институтами, вовлеченными в отношения, которые, как в случае дара или потлача, помогают накопить символическую власть. Именно в качестве структурированных и структурирующих инструментов коммуникации и познания «символические системы» выполняют свою политическую функцию средства навязывания или легитимации господства (символического насилия), поддерживая своими силами отношения силы, которые их создают, и участвуя таким образом в том, что Вебер называл «приручением подвластных».

Разные классы и их фракции включены в собственно символическую борьбу за навязывание определения социального мира, в наибольшей мере отвечающего их интересам, причем поле идеологических взглядов воспроизводит в превращенной форме поле социальных позиций.⁴ Они могут вести эту борьбу либо напрямую, через символические конфликты повседневной жизни, либо «по доверенности», через борьбу, в которую вступают специалисты символического производства (производители на полной ставке), чьей целью является монополия на легитимное символическое насилие (ср. с М. Вебером). Иначе говоря, власти навязывать (и даже вдалбливать) произвольные (но не признаваемые за таковые) средства познания и выражения (таксономия) социальной реальности. Поле символического производства есть микрокосм символической борьбы между классами: только служа собственным интересам во внутренней борьбе поля производства (и только в этой мере), производители служат интересам групп, внешних полю производства.

Господствующий класс есть место борьбы за иерархию принципов иерархии. Доминирующие фракции, чья власть покоится на экономическом капитале, стремятся внушить легитимность своего господства либо с помощью собственного символического производства, либо при посредстве консервативных идеологов, которые по настоящему служат интересам господствующих только

по «остаточному принципу» и которые всегда угрожают обернуть к своей пользе власть определять социальный мир, данную им через механизм делегирования. Подчиненные, доминируемые фракции господствующего класса (клерки или «интеллектуалы» и «художники», в зависимости от эпохи) всегда стремятся поместить на вершину иерархии принципов иерархии тот специфический капитал, владение которым обеспечивает их позицию.

4. *Идеологические системы — средства господства, которые структурируют в силу того, что сами структурированы, — производятся специалистами в процессе и в целях борьбы за монополию легитимного идеологического производства; в них, благодаря посредничеству гомологий между полем идеологического производства и полем социальных классов, воспроизводится в неузнаваемом виде структура поля социальных классов.*

«Символические системы» различаются главным образом по тому, произведены ли они и усвоены всей группой или, напротив, только корпусом *специалистов*, а точнее, относительно автономным полем производства и обращения. История преобразования мифа в религию (идеологию) неотделима от истории становления корпуса специализированных производителей религиозного дискурса и мифов, т. е. от развития *разделения религиозного труда*, который сам является одним из аспектов развития *разделения общественного труда*, а значит, и деления на классы, что приводит — помимо прочих последствий — к *изъятию* у светских лиц средств символического производства.⁵

Структура и наиболее специфические функции идеологий связаны с социальными условиями их производства и циркуляции, т. е. функциями, которые они выполняют, в первую очередь для специалистов, конкурирующих за монополию рассматриваемой компетенции (религиозной, артистической и т. п.), а во вторую очередь и при наличии излишков — для неспециалистов. Вспомнить, что идеологии всегда детерминированы дважды, что своими самыми специфическими характеристиками они обязаны не только выражаемым ими интересам классов или их

фракций (функция социодицеи), но также специфическим интересам тех, кто их производит, и специфической логике поля производства (повсеместно преобразованной в идеологию «творчества» и «творца»), — значит дать себе в руки средство избежать грубой редукции идеологического производства к интересам обслуживаемых им классов (эффект «короткого замыкания», часто встречающийся у критиков-марксистов), не впадая при этом в идеалистическую иллюзию, состоящую в трактовке идеологических производств как самодостаточных и самополагающихся тотальностей, подтверждаемых чистым и сугубо внутренним анализом (семиологией).⁶

Собственно идеологическая функция поля идеологического производства выполняется почти автоматически на основе структурной гомологии между полем идеологического производства и полем борьбы классов. В силу гомологии двух полей борьба за специфические ставки автономного поля автоматически производит в эфемеризованных формах экономическую и политическую борьбу между классами. Благодаря соответствию между структурами выполняется собственно идеологическая функция господствующего дискурса — структурированного и структурирующего медиума, стремящегося навязать восприятие установленного порядка как естественного (ортодоксия) посредством замаскированного внушения (а потому не замечаемого как таковое) систем классификации и ментальных структур, объективно подогнанных к социальным структурам. Тот факт, что соответствие устанавливается только между структурами, скрывает как от глаз самих производителей, так и от глаз непосвященных, что внутренние системы классификации воспроизводят в неузнаваемой форме таксономии непосредственно политические и что специфическая аксиоматика каждого специализированного поля есть преобразованная форма (в согласии со специфическими законами поля) фундаментальных принципов разделения труда. (Например, система университетской классификации использует в неузнаваемом виде объективные деления социальной структуры и, в особенности, структуры разделения труда, теоретического или практического, конвер-

тируя при этом социальные качества в природные свойства.) Собственно идеологическое следствие этого состоит во внушении политических систем классификации под легитимным видом философских, религиозных, юридических и прочих таксономий. Сила символических систем держится на том, что отношения силы выражаются и проявляются в них только в преобразованном и неузнаваемом виде отношений смысла (перенос).

Символическая власть как власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и, тем самым, воздействие на мир, а значит, сам мир — это власть квазимагическая, которая благодаря эффекту мобилизации позволяет получить эквивалент того, что достигается силой (физической или экономической), но лишь при условии, что эта власть *признана*, т. е. не воспринимается как произвол. Все это означает, что символическая власть заключена не в «символических системах» в форме «*illocutionary force*», а определяется в процессе и посредством определенного отношения между теми, кто отправляет власть, и теми, кто ее на себе испытывает, т. е. самой структурой поля, где производится и воспроизводится *вера*.⁷ Именно вера в легитимность слов и того, кто их произносит, вера в то, что производитель не принадлежит произведенным им словам, превращает власть слов и лозунгов во власть поддерживать или низвергать поря-док.

Символическая власть есть превращенная, т. е. неузнаваемая, преображенная и легитимированная форма власти, подчиненная другим формам власти. Невозможно преодолеть альтернативу энергетических моделей, описывающих социальные отношения как силовые отношения, — кибернетическим моделям, превращающим их в отношения коммуникации, если мы не обратимся к анализу законов преобразования, управляющих трансмутацией разных видов капитала в символический капитал, способный приводить к реальным последствиям без видимых затрат энергии.⁸

Примечания

¹ Cassirer E. The Myth of the State. — New Haven: Yale University Press, 1946. P. 16.

² Обратимся к этимологическому смыслу *katugoreisthai*, о котором упоминает Хайдеггер, — «обвинить публично» — и, одновременно, к терминологии родства, наиболее ярким примером которой являются социальные категории (принятое обращение).

³ Неофеноменологическая традиция (А. Шютц, П. Бергер) и некоторые формы этнометодологии разделяют одни и те же предположения уже в силу того, что опускают вопрос о социальных условиях возможности *доксического опыта* мира (Гуссерль) и, в частности, — социального мира, т. е. опыта социального мира как чего-то само собой разумеющегося (*taken for granted*, как говорил Шютц).

⁴ Идеологические позиции господствующих представляют собой стратегии воспроизводства, направленные на укрепление — *в* классе и *вне* класса — веры в легитимность господства класса.

⁵ Существование поля специализированного производства есть условие рождения борьбы между ортодоксией и гетеродоксией, общим для которых является их отличие от *доксы*, т. е. от необсуждаемого.

⁶ Это значит также избежать этнологизма (проявляющегося, в частности, при анализе архаического мышления), который рассматривает идеологии как мифы, т. е. как недифференцированные продукты коллективного труда, и обходит молчанием то, чем они обязаны характеристикам поля производства (например, в греческой традиции, эзотерическая реинтерпретация мифических традиций).

⁷ Символы власти (одеяния, скипетр и т. п.) есть не что иное, как *объективированный* символический капитал; их действительность подчиняется тем же закономерностям.

⁸ Разрушение такой власти символического внушения, основанной на неузнанности, предполагает *осознание* произвола, т. е. обнаружение объективной истины и уничтожение веры. По мере разрушения ложных очевидностей ортодоксии, фиктивной реставрации *доксы* и нейтрализации власти к демобилизации *гетеродоксический дискурс* начинает проявлять символическую власть мобилизации и подрыва, способность актуализировать потенциальную власть подчиненных классов.

СТРАТЕГИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА И СПОСОБЫ ГОСПОДСТВА*

Один из основных вопросов относительно социального мира состоит в том, почему и как этот мир может длиться и сохранять свое существование, или, другими словами, как воспроизводится социальный порядок, понимаемый как ансамбль упорядоченных отношений, конституирующих мир. Чтобы действительно ответить на этот вопрос, необходимо отказаться как от «структуралистской» точки зрения, согласно которой структуры, несущие в себе основание своего собственного постоянства, воспроизводятся благодаря необходимому соучастию агентов, подчиненных их давлению, так и от интеракционистской или этнометодологической точки зрения, которая представляет социальный мир как результат действий по конструированию, постоянно совершаемых агентами в некотором акте «непрерывного творения». Другими словами, необходимо отказаться от решения вопроса о том, создаются ли отношения господства знаками превосходства, которые доминируемые постоянно приписывают доминирующим, или, наоборот, объективные отношения господства навязывают знаки превосходства и подчинения. В действительности, социальный мир

* © Bourdieu P. Stratégies de reproductions et modes de domination // Actes de la recherche en sciences sociales, 1994. № 105. P. 3–12. Запись лекции, прочитанной в Геттингене 23 сентября 1993 г.

наделен, как говорили классические философы, *conatus* (стремлением), склонностью пребывать в своем существовании, некоторым внутренним динамизмом, который одновременно вписан как в объективные, так и в «субъективные» структуры (диспозиции агентов). Социальный мир постоянно поддерживается и формируется за счет действий по конструированию и реконструированию структур, причем эти действия зависят в основном от позиций, занимаемых в этой структуре отношений теми, кто их производит. Любое общество держится на отношении между двумя указанными динамическими принципами, которые имеют разное значение для разных обществ и вписаны один — в объективные структуры или, точнее, в структуру распределения капиталов и механизмы, обеспечивающие их воспроизводство, другой — в диспозиции агентов относительно воспроизводства. Именно отношение этих двух принципов определяет различные способы воспроизводства и, особенно, характерные стратегии воспроизводства.

Перед тем как обратиться к абстракциям, неизбежным при любой попытке формализации или аксиоматизации, мне бы хотелось кратко представить условия, в которых возникли и развивались теоретические рассуждения, приведшие меня к конструированию понятия системы стратегий воспроизводства. Думаю, необходимо, особенно в присутствии слушателей, принадлежащих к другой дисциплине (история) и к другой национальной интеллектуальной традиции, эксплицировать исторический контекст, в котором и *против* которого я пришел к необходимости интерпретировать целую серию действий как стратегий (а не как реализации правил), объективно ориентированных на воспроизводство такого социального корпуса как семья (или «дом») и составляющих систему.

Меня пугает не столько непонимание, которое может быть вызвано междисциплинарными или национальными различиями, сколько отрыв понятий от реальности исследования, способный возникнуть в результате формализации. Например, я часто думаю, что теория Макса Вебера сильно пострадала от такого «теоретического» чтения,

которому способствовали попытки формализации, представленные им в конце жизни в «*Wirtschaft und Gesellschaft*», и что многих деформаций, которым подверглись его работы, можно было бы избежать, если бы его многочисленные читатели (особенно Талкот Парсонс) учитывали специфический исторический контекст (пространство научных возможностей), по отношению к которому она формировалась, и исторические исследования, в которых она проходила свою проверку. Кроме того, поскольку основания ошибок, против которых конструировались наиболее строго контролируемые понятия, продолжают существовать, то эти понятия становятся объектами поверхностного и частичного использования, которое разрушает заключенную в них установку на *разрыв*. Так, например, обычно происходит с понятиями культурного или символического капитала.

Довольно трудно точно реконструировать пространство теоретических возможностей, в котором я оказался в 60-е годы, когда в связи с исследованиями в Кабилии и Беарне начал интересоваться логикой матримониальных обменов и практиками наследования. Точно можно сказать, что в нем доминировала структуралистская точка зрения, которая, вследствие неопределенности понятия *правила*, была способна придать видимость теоретической революции тому, что на деле было реставрацией *юридизма*, который, как это хорошо показал Луи Дюмон, с самого начала постоянно вмешивался в этнологические исследования, изучавшие системы родства и особенно теории наследования. Типичный пример такой точки зрения — интерпретация Эммануэля Ле Рой Ладюри работ Жана Ивера, заставившая его определить географические области, внутри которых реализуются неизменные нормы наследования, не оставляющие никакого места для переговоров и соглашений.¹ Естественно, поскольку я разделял этот теоретический *настрой* [*mood*], связанный с огромным престижем работ Леви-Строса, особенно его «Элементарных структур родства», в своей первой работе на примере Беарна я попытался построить модель, связывающую матримониальные обмены с традицией насле-

дования.² Но более глубокое изучение конкретных браков и особенно случаев мезальянса, как в Кабилии, так и в Беарне, постепенно заставило меня поставить под сомнение структуралистскую точку зрения, очарование которой, возможно, частично связано с тем, что она стремится свести функционирование общества к некоторому подобию часового механизма и способна сделать из этнолога, который однажды его откроет, своего рода Бога-часовщика, внешнего по отношению к своему творению и превосходящего его. В действительности, мне стало ясно, что как в случае Кабилии, так и в случае Беарна официальная норма, «предпочтительный брак» с параллельной кузиной или право первородства представляют собой только один из видов ограничений, и не самых сильных, с которыми агенты должны считаться, чтобы реализовать свои матримониальные стратегии или стратегии наследования. Таким образом, необходимо было отказаться от высокомерного взгляда «издалека», свойственного структуралистскому подходу, радикально изменить «парадигму» (в куновском смысле), что выразилось в обращении к понятию стратегии, чтобы приблизиться к непосредственному основанию практики и точке зрения агентов, что, однако, не означает — к их сознанию, как иногда предлагал Леви-Строс, скатываясь к субъективистской феноменологии, являющейся основанием наивно «спонтанного» видения социального порядка.³ Это изменение отношения к агентам (сокращение дистанции) и к практике (менее «интеллектуалистское») предполагало серьезную трансформацию понимания самой практики, т. е. конструирование теории практики, основанной на рефлексивной теории теоретического восприятия (или «*scholastic bias*»), что в свою очередь привело к серьезной трансформации методов исследования матримониальных стратегий и стратегий наследования. Именно благодаря этому я вместе с Абдельмаляком Саядом в ходе исследования в Кабилии смог показать, что имя — фундаментальный элемент символического капитала — было ставкой исключительно сложных стратегий как среди представителей старшего, так и среди представителей молодого поколе-

ния. Эти стратегии были зафиксированы и другими исследователями в разных местах и традициях.⁴ Говорить о ставке — значит отказаться от механической логики структуры в пользу динамической и открытой логики игры и взять на себя обязанность, при интерпретации каждого нового хода игры, учитывать цепь всех предыдущих ходов, относится ли это к бракам или правилам наследования. Короче говоря, это означает снова ввести в исследование понятие времени («порядок следования» как говорил Лейбниц), а также, по примеру самих агентов, — упорядоченное множество разнообразных стратегий: матримониальных, наследования, но также экономических, образовательных и т. д., которые детерминируют состояние игры, способность оказывать влияние на игру и посредством этого определяют любую новую стратегию.

Итак, теоретические положения, которые я собираюсь представить, основаны на результатах целой серии конкретных исторических исследований стратегий, реализуемых в очень разных обстоятельствах и очень разными агентами (будь то кабийские или беарнские крестьяне, владельцы предприятий, стремящиеся гарантировать существование своего дела, или же служащие, желающие передать по наследству свой культурный капитал, гарантируя его перевод в капитал образовательный), посредством которых реализуется *conatus* домашнего хозяйства. Так называемые этнологические исследования, проводившиеся мной в Кабилии и Беарне, постоянно направляли мое внимание на образовательные стратегии, используемые сегодня во всех развитых обществах представителями различных социальных групп для воспроизведения своей позиции в социальном пространстве. В то же время эти так называемые социологические исследования позволили мне более адекватно понять модификации матримониальных стратегий крестьян, вызванные унификацией рынка символических благ и глубокой трансформацией системы механизмов воспроизводства, связанной с исключительным ростом влияния системы образования.⁵

Можно составить своего рода таблицу больших классов *стратегий воспроизводства* (порожденных диспозициями), которые встречаются в любом обществе, но имеют разный вес (в зависимости от уровня объективированности капитала) и разные формы, изменяющиеся в соответствии с природой капитала, который требуется передать, и состоянием имеющихся механизмов воспроизводства (например, традиции наследования). Эта теоретическая конструкция позволяет восстановить в рамках научного анализа единство практик, которые почти всегда воспринимаются различными науками (правом, демографией, экономикой, социологией) как беспорядочные и разрозненные.

Мы можем разбить стратегии воспроизводства на несколько классов, хотя на практике они всегда будут зависеть друг от друга и переплетаться. Среди *стратегий биологических инвестиций* наиболее важными являются *стратегии деторождения* и профилактики. Первые — это очень долгосрочные стратегии, влияющие на все будущее потомство и его наследство. Они предусматривают контроль за рождаемостью, т. е. увеличение или уменьшение числа детей и, посредством этого, силы семейной группы, но одновременно — и числа потенциальных претендентов на материальное и символическое наследство. В зависимости от имеющихся в распоряжении средств, они могут быть прямыми (использование методов ограничения рождаемости) или косвенными, например, поздние браки или безбрачие, имеющие двойное преимущество: это ведет к отсутствию биологического воспроизводства и исключению, по крайней мере в реальности, из наследства. Например, в аристократических или буржуазных семьях при Старом режиме такую функцию выполняла ориентация некоторых детей на священный сан или в отдельных крестьянских традициях, отдающих предпочтение первенцу, — безбрачие младших. *Профилактические стратегии* направлены на сохранение биологического наследства. Они обеспечивают постоянную или периодическую заботу о сохранении здоровья и избегании болезней, а в более общем виде — разумное распоряжение телесным капиталом.

Стратегии наследования призваны гарантировать передачу материального наследства от поколения к поколению при минимуме потерь в пределах возможностей, зависящих от права и обычаев, прибегая при этом к любым ухищрениям и уловкам, имеющимся в рамках закона или в обход него (как, например, при прямой и нигде не фиксируемой передаче наличных денег или других объектов). Эти стратегии принимают различные формы в соответствии с тем капиталом, который необходимо передать, т. е. в соответствии со структурой наследства.

Образовательные стратегии, особым видом которых являются школьные стратегии семей или обучающихся детей, представляют собой очень долгосрочные инвестиции, не обязательно воспринимающиеся как таковые и не сводящиеся, как полагает экономиста «человеческого капитала», к экономическому или денежному измерению. В действительности, они прежде всего направлены на производство социальных агентов, достойных и способных наследовать свойства группы, т. е. передать их в свою очередь группе. Особенно это верно в случае «этических» стратегий, нацеленных на внушение индивидам необходимости подчинения себя и своих интересов верховным интересам группы и выполняющих таким образом фундаментальную функцию, поскольку гарантируют воспроизводство семьи, которая сама является «субъектом» стратегий воспроизводства.

Стратегии экономических инвестиций в широком смысле слова ориентированы на сохранение или увеличение этого капитала в самых разных его видах. К стратегиям экономических инвестиций в узком смысле слова необходимо добавить стратегии *социального инвестирования*, направленные на установление и поддержание долгосрочных и краткосрочных, непосредственно используемых и мобилизуемых социальных отношений, другими словами — на конверсию этих отношений в долговременные *обязательства*, гарантированные субъективно (признание, уважение и т. п.) или институционально (в виде права), т. е. в социальный или символический капитал, которая осуществляется с помощью своего рода алхимии

обменов (деньгами, работой, временем и т. д.) и специфической работы по поддержанию отношений. Особым случаем здесь являются *матримониальные стратегии*, призванные гарантировать биологическое воспроизводство группы, не подвергая ее социальное воспроизводство риску мезальянса, и способные, благодаря альянсу с более или менее эквивалентной с точки зрения соответствующих социальных критериев группой, поддерживать ее социальный капитал.

Стратегии *символического инвестирования* объединяют все действия, направленные на сохранение и увеличение капитала признания (в разных смыслах этого слова), способствуя воспроизводству схем восприятия и оценивания наиболее благоприятных для этого вида капитала и производя действия, способные вызывать положительные оценки в рамках этих категорий (например, продемонстрировать силу, чтобы потом ей не воспользоваться). Особую форму этого вида представляют собой *стратегии социодидеи*, которые благодаря натурализации легитимируют господство и его основания, т. е. тот тип капитала, на который оно опирается.

Стратегии воспроизводства основаны не на сознательном и рациональном намерении, но на диспозициях габитуса, который спонтанно стремится воспроизвести условия своего собственного производства. Поскольку диспозиции зависят от социальных условий, продуктом которых является габитус (применительно к дифференцированным обществам социальные условия — это объем и структура капитала, имеющегося в распоряжении семьи, и их эволюция во времени), то они стремятся сохранить свою идентичность, которая есть различие, сохраняя разрывы, дистанции, отношения порядка, и таким образом, на практике содействуют воспроизводству всей системы различий, составляющих социальный порядок.⁶ Стратегии воспроизводства, порожденные диспозициями к воспроизводству, свойственными определенному габитусу, могут удваиваться за счет сознательных индивидуальных или иногда коллективных стратегий, которые почти всегда являются результатом кризиса устоявшегося способа

воспроизводства и не обязательно ведут к реализации предполагаемых целей.

Стратегии воспроизводства образуют *систему* и поэтому лежат в основе функциональных замещений и компенсаторных эффектов, связанных с единством работы системы. Например, матримониальные стратегии могут компенсировать некоторые свойства тех, кто потерпел неудачу в стратегии деторождения. Стратегии воспроизводства имеют также *временное измерение*, поскольку реализуются на разных этапах жизненного цикла, понимаемого как необратимый процесс. Любая из них должна в каждый момент времени считаться с результатами других, которые ей предшествуют и имеют меньшую длительность. Например, в беарнской традиции матримониальные стратегии напрямую зависели от семейной стратегии деторождения (т. е. пола и количества детей, претендующих на потенциальное наследство или компенсацию), а также от образовательных стратегий, успешность которых была условием реализации стратегий, предусматривающих отстранение от наследства девочек и младших сыновей: первых соответственно в виде брака, вторых — безбрачия или эмиграции, и, наконец, от собственно экономических стратегий, направленных помимо всего прочего на сохранение или увеличение наследства. Эта взаимозависимость распространялась на несколько поколений, когда семья в течение долгого времени была вынуждена идти на большие жертвы, чтобы компенсировать «отток капиталов», необходимых для «выдачи приданого» в виде земли или денег членам очень многочисленной семьи, или чтобы восстановить экономическую и особенно символическую позицию группы после мезальянса.⁷ Этот анализ также применим к аристократическим или королевским семьям, чьи семейные стратегии становятся делами государства (например, войны наследования и т. п.).⁸

Сравнительная история систем стратегий воспроизводства должна учитывать как структуру наследства, которое необходимо передать, т. е. *относительный вес различных видов капитала*, так и состояние механизмов вос-

производства (различные рынки, особенно рынок труда; законодательство, особенно право наследования или собственности; состояние системы образования и значение дипломов и т. п.). Например, та определяющая роль, которая принадлежит символическому капиталу в структуре наследства кабилских крестьян (в силу традиции неделимости земли и большого значения ценностей чести, т. е. репутации группы), делает это общество своего рода лабораторией для изучения стратегий накопления, воспроизводства и передачи символического капитала. Стратегии, в результате которых передаются имена авторитетных предков, или на первый взгляд слишком большое значение, придаваемое вопросам чести, несомненно, объясняются тем фактом, что накопление символического капитала — этой предельно хрупкой и неустойчивой формы капитала — является основной формой накопления.⁹ Эти стратегии можно найти и у беарнских крестьян, заботящихся о возвышении, сохранении и передаче имени и фамилии «дома», причем они усложняются в силу того, что земля, находящаяся в распоряжении семьи, накладывает ограничения на стратегии и, особенно, на блеф, допускаемый логикой символических игр.¹⁰ Хотя специфический характер стратегий королевских или аристократических семей определяется другими видами ограничений, в частности, юридическими, а также политическими, знание стратегий крестьянских «домов» позволяет моментально понять и их основания.¹¹

Но стратегии воспроизводства можно полностью определить только через их отношение к институционализированным или неинституционализированным механизмам воспроизводства. Система стратегий воспроизводства домашнего хозяйства зависит от дифференцированной прибыли, потенциально ожидаемой от разных инвестиций, в свою очередь зависящих от способности влиять на институционализированные механизмы (рынок товаров и услуг, образовательный рынок, матримониальный рынок), доступные в рамках имеющегося объема и структуры капитала. В соответствии с дифференцированной структурой шансов получения прибыли, объективно открытых для инвестирования различными социальными

рынками, происходит формирование системы предпочтений (или интересов) и разнообразных *установок на инвестирование в различные инструменты воспроизводства*. Например, как во Франции, так и в Англии весь период перехода от династического государства к бюрократическому отмечен борьбой между теми, кто не желал знать и признавать ничего, кроме стратегий семейного воспроизводства (братья короля), опиравшихся на кровное родство, и теми, кто прибегал к стратегиям бюрократического воспроизводства (министры короля), основанным на передаче культурного капитала через образовательную систему. В наших обществах, располагающих разнообразными инструментами воспроизводства, структура распределения возможностей контролировать инструменты воспроизводства является главным фактором, определяющим дифференцированный доход, который агенты способны получить от инвестиций в разные инструменты воспроизводства, и, следовательно, их возможности воспроизводства своего наследства и своей социальной позиции, а значит, и структуру их дифференцированных установок инвестировать в различные рынки. Мне удалось, например, показать, что школьная система может работать на воспроизводство социальной структуры и, в частности, структуры распределения культурного капитала, обрекая детей на тем более вероятное исключение, чем из более культурно обделенных семей они вышли, поскольку эти дети (и их семьи) имеют значительно больше шансов обладать диспозициями, толкающими их к самоисключению (например, безразличие или сопротивление школьным требованиям), и они находятся в менее благоприятной позиции в структуре распределения культурного капитала.¹²

Сходным образом, внутри поля власти и даже внутри поля экономической власти сегодня можно наблюдать противостояние агентов, которые, в соответствии со структурой имеющихся капиталов, ориентируются на стратегии воспроизводства, опирающиеся либо на *инвестиции в экономику*, либо на *инвестиции в образование*. С одной стороны, это передача права наследования собственности, полностью контролируемая семьей, как это происхо-

дит у владельцев «семейных» предприятий, с другой — трансляция, более или менее гарантированная и контролируемая государством, пожизненной власти, основанной на образовательном статусе, который, в отличие от статуса собственности или аристократического звания, не может наследоваться непосредственно. Вообще, склонность инвестировать в школьную систему зависит от относительного веса культурного капитала в общей структуре наследства: в отличие от служащих или учителей, которые концентрируют свои инвестиции на рынке образования, владельцы семейных предприятий, чей социальный успех зависит в меньшей мере от школьных достижений, инвестируют меньше «интереса» и труда в свое образование и получают иной доход от своего культурного капитала.

Изменение отношения между наследством, имеющим определенный объем и структуру, и системой инструментов воспроизводства, предполагающей относительное изменение структуры шансов получения прибыли, приводит к реструктуризации системы стратегий воспроизводства: владельцы капитала могут сохранить свою позицию в социальной структуре только за счет *конверсии* некоторых имеющихся видов капитала в другие, более рентабельные и легитимные при сложившемся состоянии инструментов воспроизводства. Например, такова основа конверсии земельной аристократии в государственную бюрократию в Германии в XIX веке.

В тех социальных универсумах, где доминирующие вынуждены постоянно изменяться, чтобы сохранять свою позицию, они с необходимостью дифференцируются, особенно в периоды быстрых трансформаций способов воспроизводства, в соответствии с уровнем конвертируемости их стратегий воспроизводства. Агенты или группы, больше других наделенные теми видами капитала, которые позволяют использовать новые инструменты воспроизводства, т. е. больше предрасположенные и способные к конверсии, противостоят тем, кто сильнее всего связан капиталом, находящимся под угрозой. Например, накануне революции 1789 года мелкие провинциальные аристократы, не имевшие ни наследства, ни образования, про-

тивостояли крупному дворянству и буржуазии. Или в 1968 году профессора тех дисциплин (грамматика, древние языки и даже философия), которые напрямую зависели от конкурса на должность профессора, противостояли профессорам новых дисциплин, таких как социальные науки. Многие значимые оппозиции, находящиеся в центре идеологических дебатов некоторой эпохи (например, сегодня это дискуссии о «культуре»), представляют собой всего лишь столкновение различных форм консервативной социодидеи, где противостоят, с одной стороны, те, кто стремится легитимировать старый способ воспроизводства, озвучивая то, что раньше шло само собой, и трансформируя таким образом доксу в ортодоксию, а с другой — те, кто стремится рационализировать, в двойном смысле этого слова, конверсию, ускоряя осознание трансформаций и выработку подходящих стратегий, таким образом легитимируя эти стратегии в глазах «консерваторов».

Итак, главное достоинство понимания *способа воспроизводства* как отношения между системой стратегий воспроизводства и системой механизмов воспроизводства, состоит в том, что такой подход позволяет сконструировать и понять *как единое целое* феномены, принадлежащие очень разным социальным универсумам, будь то наследование имени в Кабилии или в Италии эпохи Возрождения,¹³ будь то политика больших королевских династий или домашняя политика крестьянских семей. Этот подход также позволяет избавиться от губительных оппозиций между историей, социологией и этнологией. Однако, используя это понятие, нельзя впадать в своего рода «этнологизм», поразивший на поздних этапах школу Анналов. Нельзя упускать глубокие *различия*, существующие между теми обществами, где диспозиции воспроизводства и порождаемые ими стратегии воспроизводства находят свою опору (в силу объективности социальных отношений) только в семейных структурах, в этом главном, если не единственном инструменте воспроизводства, и с необходимостью формируются вокруг образовательных и матримониальных стратегий, и теми обществами, где диспозиции могут одновременно опираться как на структу-

ры экономического мира, так и на структуры организованного государства, среди которых структуры системы образования являются одними из самых важных с точки зрения воспроизводства.

Докапиталистические или протокапиталистические общества отличаются от капиталистических тем, что в них капиталы менее объективированы (и кодифицированы) и значительно меньше закреплены в виде институтов, способных гарантировать их длительность и в ходе своего функционирования воспроизводить отношения порядка, конституирующие социальный строй. Следовательно, в этих обществах проблема длительности социальных отношений и, в частности, социальных отношений господства, приобретает особо драматическое значение. Как можно длительное время держать кого-то в подчинении? Как можно установить трудовые отношения, отношения обмена и, в частности, асимметричные отношения господства, которые бы воспроизводились во времени и даже за пределами жизни тех, на кого они накладывают обязательства?¹⁴ Здесь уместно процитировать Маркса, противопоставлявшего общества, в которых отношения производства принимают форму «отношений личной зависимости», и общества, опирающиеся на «личную независимость, основанную на вещной зависимости».¹⁵ Действительно, до тех пор пока не существует таких объективных структур, как рынок труда (и «свободный рабочий» в веберовском смысле) и множества других государственных институтов, важнейшим из которых, с этой точки зрения, является система образования, господствующие должны посвящать себя постоянной работе по созданию социальных отношений, редуцированных к межличностным отношениям. Это хорошо видно на примере отношений между феллахом и арендатором (*khammus*): хозяин должен постоянно поддерживать эти отношения с помощью целой серии обменов, направленных на то, чтобы представить их как отношения между родственниками (вплоть до того, чтобы отдать одну из своих дочерей в жены сыну *khammus*). В отсутствие того, что Сартр называл «инертным насилием» экономических и социальных механизмов, таких как рынок труда и легитимное наси-

лие закона, он обязан прибегать к тем мягким и эвфемизированным формам принуждения, что свойственны *символическому насилию*, включая все ресурсы патернализма (которые могут сочетаться с наиболее откровенным физическим насилием, как в случае мести).¹⁶

Таким образом, в докапиталистических и протокапиталистических обществах нет условий для безличного контроля и тем более — для безличного воспроизводства отношений доминирования. В них нет скрытого насилия таких объективных механизмов, как образовательный рынок или рынок труда, которым достаточно только предоставить свободу действия (*laissez faire*), чтобы социальный порядок мог воспроизводиться. Это означает, что воспроизводство социальных отношений основано почти исключительно на габитусе, т. е. на диспозициях, формируемых в ходе систематических образовательных стратегий и толкающих агентов совершать постоянную работу по поддержанию социальных отношений (в частности, с помощью символической работы по конструированию и реконструированию генеалогий), т. е. социального капитала и символического капитала признания, получаемого в результате упорядоченных обменов, особенно матримониальных. Матримониальные стратегии занимают столь важное место в системе стратегий воспроизводства именно потому, что, не являясь с необходимостью такой абсолютно кодифицированной, как позволяют думать некоторые теории родства, супружеская связь оказывается одним из наиболее надежных механизмов, имеющих в распоряжении большинства обществ (в том числе и в современных), способных гарантировать воспроизводство социального и символического капитала, полностью сохраняя капитал экономический.

В тех обществах, где агенты все дольше и дольше находятся в зависимости (особенно в доминируемой позиции), в силу влияния общих механизмов, управляющих экономическим или культурным миром (и где, можно сказать, в общем и целом капитал идет к капиталу), общий вес матримониальных стратегий уменьшается, но их значение сохраняется, если семья обладает полным контролем над некоторым предприятием (сельскохозяйствен-

ным, промышленным или коммерческим). В этом случае стратегии (деторождения, образовательные, наследования и особенно матримониальные), посредством которых семья стремится гарантировать свое собственное воспроизводство, имеют тенденцию подчиняться собственно экономическим стратегиям.

По мере того как формируется экономическое поле, наделенное своими собственными законами развития, и устанавливаются механизмы, гарантирующие длительное существование его структур, в воспроизводство которых вносит свой вклад государство (например, тех, что связаны с существованием денег и производят доверие, необходимое для межпоколенческих инвестиций), прямая и личная власть над индивидами все больше и больше уступает место власти над институциональными механизмами, которую обеспечивает либо экономический капитал, либо культурный (диплом).

Возникновение государства, приводящего к концентрации и распределению различных видов капитала (экономического, культурного и символического), вызывает трансформацию стратегий воспроизводства. Для символического капитала примером может служить переход от феодальной чести, основанной на признании со стороны равных и народа, которую необходимо было постоянно завоевывать и поддерживать, к бюрократической чести, дарованной государством. Схожие процессы можно наблюдать в области культурного капитала. На историю европейских обществ оказало очень сильное влияние постепенное развитие внутри поля власти *способа воспроизводства, основанного на образовании*, влияние которого можно наблюдать внутри самого поля власти в виде перехода от династической логики «королевского дома», опиравшейся на семейный способ воспроизводства, к бюрократической логике государственного интереса (*raison d'Etat*), в основе которой лежит образовательная модель воспроизводства. Один из факторов этой эволюции — множество противоречий и конфликтов, возникавших из-за сосуществования внутри династического государства *двух типов агентов*: с одной стороны — король и члены его семьи, с другой — чиновничий аппарат короля. Это

означает, что сосуществовали два типа воспроизводства и два типа власти: власти наследуемой и передаваемой по праву крови, т. е. основанной на естественных факторах (в виде дворянского титула), и власти достигнутой и пожизненной, основанной на «даре» и заслугах и гарантированной законом (в виде диплома). Процесс разрушения феодальных отношений, который привел к замещению династического государства бюрократическим, может быть описан как процесс денатурализации, постепенного разрыва естественных связей и разрушения привязанностей, формирующихся внутри семьи. Современное государство, прежде всего, противоестественно, и верность ему предполагает разрыв со всеми обычными привязанностями.

Государство, возникшее в ходе этого процесса уничтожения любых следов естественных связей (выживающих вопреки всему в виде кумовства и фаворитизма), благоприятствует и гарантирует функционирование внутри поля государственной власти и поля экономической власти, образовательного способа воспроизводства, *специфическую логику* которого можно понять, *сравнивая* его с семейным, который сохраняется несмотря ни на что (в виде оппозиции похожей на ту, что существовала между королевским домом и королевскими чиновниками).

В крупных бюрократических организациях диплом перестает быть простым признаком статуса (как юридический диплом владельца частного предприятия) и становится истинным пропуском в систему. *Школа* (в форме «*grande école*») и *корпус* — социальная группа, которую школа производит, казалось бы, *ex nihilo* (но в действительности из характеристик агентов, связанных с семейной принадлежностью), занимают место семьи и родственных отношений. Кооптация однокурсников на основе студенческой солидарности и принадлежности к профессиональному корпусу играет ту же роль, что и кумовство и клановая солидарность на семейных предприятиях.

Любая стратегия воспроизводства предполагает определенную форму *numerus clausus* уже в силу того, что выполняет функцию включения и исключения, ограничивая либо количество собственно биологических тел (но это может сделать только семья), либо количество индивидов,

имеющих право быть включенными в класс (что может приводить к исключению части биологических тел из корпуса, например женщин, младших и т. п.). Самым важным является то, что при «семейном» способе воспроизводства ответственность за подобное урегулирование брала на себя семья. При образовательном способе воспроизводства, которому обязаны своим положением собственники-технократы, семья теряет способность управлять шансами на наследование и власть самой назначать наследников. Характерным признаком образовательного способа воспроизводства является его чисто *статистическая* логика функционирования. Ответственность за передачу наследства возлагается отныне не на одного человека или группу, направляемых традицией и подчиненных ей (право первородства и т. д.), как это происходит при семейном способе передачи наследства, а на весь ансамбль индивидуальных и коллективных агентов, чьи изолированные и статистически подогнанные действия приписывают классу в его целостности привилегии, в которых он отказывает тому или иному элементу в отдельности. Школа может способствовать воспроизводству класса (в логическом значении термина), только принося в жертву некоторых членов класса, которые остались бы в системе, если бы семья сохраняла полную власть над механизмами воспроизводства. *Специфическое противоречие* образовательного способа воспроизводства состоит в противостоянии интересов класса, которые Школа обслуживает, опираясь на статистические механизмы, и интересов тех членов класса, которых она приносит в жертву. Кроме того, перепроизводство, со всеми своими противоречиями, становится структурной постоянной, поскольку при образовательном способе воспроизводства теоретически равные шансы получить диплом предлагаются всем «наследникам», как девочкам, так и мальчикам, как старшим, так и младшим. В то же время растет доступ к этому званию «ненаследников» (в абсолютных цифрах), а жесткое исключение на уровне доступа к среднему образованию уступает место мягкому исключению. Кризис 1968 года, несомненно, частично вызван этим противоречием.

Однако не стоит сводить оппозицию между двумя способами воспроизводства к оппозиции между обращением к семье или к системе образования. Речь скорее идет о различии между исключительно семейным управлением проблемами наследования и семейным управлением, допускающим некоторое использование Школы в стратегиях воспроизводства. В действительности, помимо того что воспроизводство, осуществляемое Школой, опирается на домашнюю передачу культурного капитала, семья продолжает использовать относительно автономную логику своей экономики, позволяющую ей аккумулировать капиталы, находящиеся в распоряжении каждого ее члена, для накопления и передачи наследства.

Другая возможная ошибка состоит в том, чтобы в соответствии с простой эволюционистской логикой делать вывод, что два способа воспроизводства соответствуют двум моментам эволюции, неотделимой от той, что ведет к переходу, по мнению некоторых авторов, от способа доминирования, опирающегося на собственность и собственников (*owners*), к другому, более рациональному и более демократическому, опирающемуся на «компетенцию» и менеджеров (*managers*). На самом деле определение легитимного способа воспроизводства является *ставкой в борьбе*, особенно внутри поля экономической власти, и не стоит рассматривать как конец истории то, что является всего лишь соотношением сил, которое может измениться. Эта борьба часто принимает форму борьбы за *власть над государством* и его способность влиять на систему инструментов воспроизводства, особенно экономических и образовательных.

Необходим длительный анализ, с одной стороны, влияния трансформации способа воспроизводства на функционирование семьи как инстанции, ответственной за воспроизводство, и с другой — влияния трансформации семьи (например, увеличение числа разводов) на функционирование способа воспроизводства, опирающегося на образовательный капитал. Связан ли кризис семьи с изменениями стратегий воспроизводства, направленных на уменьшение потребности в семейной ячейке? Многие показатели заставляют думать, что буржуазная семья про-

должает поддерживать свою социальную интеграцию, являющуюся основным условием воспроизводства ее социального и символического капиталов, и посредством этого — капитала экономического. Поэтому мы еще очень далеки от того изолированного экономического агента, каким его описывают экономисты.

Это рассуждение заставляет поставить вопрос о том, кто же в конечном итоге является «субъектом» стратегий воспроизводства. Несомненно, что семья и стратегии воспроизводства имеют нечто общее: без семьи не было бы стратегий воспроизводства, без стратегий воспроизводства не было бы семьи (или *корпуса*, или *Stand*, понимаемые как квазисемья). Необходимо существование семьи (что не является очевидным), чтобы стратегии воспроизводства были возможны; и в то же время стратегии воспроизводства являются условием воспроизводства семьи, этого непрерывного творения. Семья, в той специфической форме, которую она принимает в каждом обществе, есть *социальная фикция* (часто превращенная в фикцию юридическую), становящаяся реальностью за счет работы, направленной на прочное усвоение каждым членом институциональной единицы (особенно в виде брака как ритуала назначения) чувств, способных гарантировать интеграцию этой единицы, и *веры* в ее ценность и единство. Это означает, что образовательные стратегии имеют совершенно фундаментальное значение, как любая *символическая работа*, одновременно теоретическая (особенно сохранение генеалогии) и практическая (обмен дарами, услугами, организация праздников и церемоний и т. п.), возлагающаяся в основном на женщин, которая трансформирует обязанность любить в установку любящего и стремится привить каждому члену семьи «семейный дух». Это когнитивное основание видения и деления является одновременно практическим основанием согласованности, источником преданности, щедрости, солидарности и согласия, жизненно необходимых для существования семейной группы и ее интересов.

Такая работа по интеграции особенно необходима, поскольку, несмотря на то, что с точки зрения нормы семья должна функционировать как *корпус*, она всегда име-

ет тенденцию функционировать как *поле*, со всеми присущими ему отношениями сил: физическими, экономическими и особенно символическими (связанными с объемом и структурой капитала, которым владеют различные члены семьи), и борьбой за сохранение или изменение этого соотношения сил. Все это возможно только за счет постоянной работы, когда силы *слияния* (особенно аффективные) оказываются способными противостоять или компенсировать силы *расщепления*.

Семейная ячейка сделана для и с помощью накопления и передачи капитала. «Субъектом» большинства стратегий воспроизводства является семья, действующая как своего рода коллективный субъект, а не как простая сумма индивидов. Чтобы понять коллективные стратегии семей (в случае кабилльского брака, например, или покупки дома в современной Франции), прежде всего необходимо знать структуру и историю соотношения сил между различными агентами и их стратегиями. Помимо этого необходимо знать объем и структуру капитала, который эти семьи собираются передать, т. е. позицию каждой из них в структуре распределения различных видов капитала. В действительности, именно эта позиция направляет стратегии (и является их истинным субъектом). Это объясняет тот факт, что, следуя своему собственному *conatus*, каждая из семей способствует воспроизводству пространства позиций, конституирующих социальный порядок, и таким образом работает на реализацию той тенденции (*conatus*), что вписана в этот порядок.¹⁷

Теперь мы лучше понимаем, как можно ответить на наш первоначальный вопрос об условиях постоянства социального порядка. Дюркгейм верно заметил, что социальный мир не является миром радикальных разрывов, как думал Гоббс («Для Гоббса социальный порядок рождается из волевого акта, и этот постоянно возобновляемый волевой акт поддерживает социальный порядок»), или как сегодня предлагают думать все те, кто, желая восстановить «субъекта» в его правах, приходит к редукции социальных отношений, в том числе отношений доминирования, к актам, выполняемым агентами в каждый момент времени (особенно когда речь идет о подчинении).

Социальный мир, как физический мир Лейбница, содержит в себе основание своей собственной динамики и своей логики. Эта *vis insita*, являющаяся одновременно и *lex insita*, вписана как в объективные структуры (и в механизмы, гарантирующие их воспроизводство, те, например, что способствуют воспроизводству распределения культурного капитала), так и в структуры габитуса, или точнее, в отношение между теми и другими. Она содержится как в объективных вероятностях, вписанных в тенденции, свойственные различным социальным полям (в виде склонности производить постоянные частоты и регулярности, нередко усиливаемые эксплицитными правилами), так и в субъективных ожиданиях, в общем и целом подогнанных к тем тенденциям, что вписаны в склонности габитуса.

Примечания

¹ Yver J. Egalité entre héritiers et Exclusion des enfants dotés. Essais de géographie coutumière. Paris: Sirey, 1966. *Le Roy Ladurie E.* Structures familiales et coutumes d'héritage en France au XVIe siècle: système de la coutume // Annales ESC. 1972. № 4–5. P. 825–846, воспроизведено в Le Territoire de l'historien. Paris: Gallimard, P. 222–251.

² Bourdieu P. Célibat et condition paysanne // Etudes rurales. 1962. № 5–6, avril-septembre. P. 32–136. Продолжение и развитие этой работы в рамках этнологической традиции, см. в специальном номере: Etudes rurales: La terre, succession et héritage. 1988. P. 110–113.

³ Главное достоинство понятия стратегии в том смысле, как я его использую, в том, что, в отличие от некоторых форм методологического индивидуализма, оно учитывает структурные принуждения, влияющие на агентов, и одновременно, в отличие от некоторых механицистских версий структурализма, предполагает возможность активной реакции на эти принуждения. Как указывает метафора игры, эти принуждения в основном вписаны в различные имеющиеся формы капитала, т. е. в позицию, занимаемую некоторой единицей в структуре распределения этого капитала, т. е. в отношение сил между этими единицами. В отличие от распространенного использования этого понятия, когда стратегии означают сознательные и долгосрочные намерения индивидуального агента, я пользуюсь им, чтобы обозна-

чить различные множества действий, упорядоченных в соответствии с более или менее долгосрочными и не обязательно явно сформулированными целями, которые совершаются членами такого коллектива, как, например, семья (См.: *Bourdieu P. Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction // Annales. 1972. № 4–5, juillet-octobre. P. 1105–1127; Леви-Строс К. Глава I. Введение: история и этнология // Леви-Строс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М.: ЭКСМО-Пресс. 2001. С. 7–36; Бурдьё П. От правила к стратегиям / Бурдьё П. Начала. Choses dites / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos. 1994. С. 11–57.*

⁴ *Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique. Genève: Droz, 1966. P. 82–83, 133–137; Klapisch-Zuber C. La maison et le Nom, stratégies et rituels dans l'Italie de la Renaissance. Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales. 1990.*

⁵ *Bourdieu P. Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination économique // Etudes rurales. 1989. № 113–114, janvier-juin. P. 15–36; Bourdieu P., Saint-Martin de M. Le patronat // Actes de la recherche en sciences sociales. 1978. № 21, mars-avril. P. 3–82.*

⁶ В действительности габитус стремится воспроизвестись в соответствии со своей внутренней логикой, утверждая свою автономию по отношению к ситуации (вместо того, чтобы как неживая материя подчиниться окружающей среде).

⁷ *Bourdieu P. Célibat..., loc. cit., и Les stratégies..., loc. cit.*

⁸ Дополнительные примеры можно найти в библиографии Zelem M.-C. в журнале: *Etudes rurales. 1988. № 110–112. P. 325–357* и в статье: *Kojima H. A Demographic Evaluation of P. Bourdieu's «Fertility Strategy» // The Journal of Population Problems. 1990. № 45(4). P. 52–58.*

⁹ *Bourdieu P. Esquisse..., op. cit.*

¹⁰ *Bourdieu P. Célibat..., loc. cit., P. 32–136, и Бурдьё П. Практический смысл: Пер. с фр. / Общ. ред. перевода и послесловие Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя. 2001.*

¹¹ *Bourdieu P. Esprits d'Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1993. № 96–97. P. 49–62. (см. далее в этой книге русский перевод: Дух государства: генезис и структура бюрократического поля).*

¹² Этот пример также заставляет отказаться от привычного деления методов на количественные и качественные: действительно разобратся в работе этого механизма можно, только проводя одновременно так называемый качественный анализ

диспозиций (например, схем восприятия и оценивания, используемых индивидуальными агентами при выборе дисциплины) и статистический анализ структур (например, распределение агентов между отдельными дисциплинами по полу и социальному происхождению).

¹³ *Bourdieu P. Esquisse..., op. cit., P. 82–83, 133–137. Klapisch-Zuber C., La Maison et le Nom, op. cit.*

¹⁴ Как можно заставить платить должника, если нет возможности обратиться к полиции или правосудию? Как указывает Рену (Renou), часто магия, и даже точнее магическое проклятие, оказывается единственным средством (это своего рода оружие слабых, часто женщин).

¹⁵ *Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов: (Первоначальный вариант «Капитала»): Ч. I // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 100.*

¹⁶ Здесь можно увидеть, как Норберт Элиас упрощает историческую реальность, когда сводит историю эволюции насилия к линейной модели непрерывного отмирания. Если действительно общие модели эволюции имеют интерес и смысл, то необходимо учитывать хотя бы тот факт, что во многих архаичных обществах самое жестокое физическое насилие, особенно в отношении изгоев, сочетается с в высшей степени эвфемизированными и стилизованными формами символического насилия (например, обмен дарами), что эти рафинированные формы (пережитком которых, несомненно, является патернализм) пришли в упадок по мере становления инертного насилия различных механизмов рынка труда и, наконец, что в экономически развитых обществах инертное насилие корректируется мягким насилием просвещенного менеджмента каждый раз, когда этого требует соотношение сил.

¹⁷ В случае обществ, имеющих государство, необходимо также знать историю работы по институционализации, продуктом которой является семья в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Эта очень частная вещь в действительности есть государственное дело в той мере, в какой она зависит от действий государства, таких как жилищная политика, или еще более очевидных вещей, таких как семейная политика или семейное право. Гарантированная и ратифицированная государством, семья получает от него средства существования и воспроизводства.

МЕРТВЫЙ ХВАТАЕТ ЖИВОГО

Об отношениях между историей овеществленной и историей инкорпорированной*

Как в королевских и герцогских семьях со смертью главы семьи его титул переходит к сыну и из герцога Орлеанского, принца Торонтского или принца Ломского он превращается в короля Франции, герцога Тремайльского, герцога Германтского, так, часто в результате восхождения иного порядка и из более глубоких истоков мертвый хватает живого, который становится внешне похожим на него наследником, продолжателем его не прекращающейся жизни.

М. Пруст.

В поисках утраченного времени.

Право иметь своих представителей было установлено в 1936 году. Завоеванное в забастовках, оно в действительности было введено в силу декретом 1945 года. Заводы «Рено» в Флинсе открылись в 1952 году. Следовательно, во Флинсе синдикализм не имеет традиции организаций «без представителей». Уже одно это осложняет дело.

Н. Дюбост. Флинс без конца...

* © Bourdieu P. Le mort saisit le vif // Actes de la recherche en sciences sociales. 1980. № 32–33. P. 3–14.

Философия истории, которая запечатлена в самой обыденной практике повседневного языка и которая стремится к тому, чтобы слова, обозначающие институты и коллективы — Государство, Буржуазия, Патронат, Церковь, Семья, Правосудие, Школа, — конституировались в исторические субъекты, способные формулировать и реализовывать собственные цели («Государство — буржуазное — решает...», «Школа — капиталистическая — исключает...», «Церковь Франции борется...» и т. д.), находит свое высшее воплощение в понятии *Аппарата* с большой буквы, вновь вошедшем сегодня в моду в так называемых «концептуальных» речах. В качестве механического исполнителя исторической целесообразности *Deus (Diabolus) in machina* «Аппарат», эта — в зависимости от идеологического настроя — божественная или адская машина, этот функционализм наилучшего и наихудшего толка, предрасположен к функционированию как *Deus ex machina*, «пристанище для незнания», конечная причина, способная — причем с наименьшими затратами — все оправдать, ничего не объясняя. Следуя этой логике, являющейся не чем иным, как логикой мифологии, великие аллегорические образы господства не могут не вызвать в противовес себе лишь другие мифические персонификации, такие как Рабочий класс, Пролетариат, Трудящиеся или даже Борьба — олицетворение Социального движения и его мстительного гнева.¹

Если эта версия теологической философии истории, пожалуй, не столь далекая, как это может показаться, от выражения морального негодования — «все это неслучайно», — могла и может еще представляться интеллектуально приемлемой, то потому, что является отражением и выражением диспозиций, входящих составной частью в «философскую позицию», какой она определяется в данный момент времени процессами отбора и становления профессиональных философов. Она действительно удовлетворяет как требованию высокого «теоретизирования», вдохновляющего на парение над фактами и на пустые и поспешные обобщения,² так и герменевтической претензии, заставляющей искать сущность за видимостью, структуру — по «ту сторону» истории и всего того, что ее

собственно определяет, т. е. всех этих расплывчатых, вязких и двусмысленных реальностей, которыми загромождены общественные науки — дисциплины, носящие вспомогательный и обслуживающий характер, годные на то, чтобы поставлять «пищу для размышления», и постоянно подозреваемые в сговоре с реальностью, к познанию которой они стремятся. Так, Альтюссер под предлогом теоретической реставрации возродил в лоне марксистской ортодоксии осуждение, налагаемое на всех тех, кто уже самим фактом исследований свидетельствовал, что еще не все найдено. Убивая одним выстрелом двух зайцев, он усиливал, если в этом была необходимость, то презрительное и настороженное отношение к «так называемым общественным наукам» — этим плебейским и навязчивым научным дисциплинам, которое философская ортодоксия никогда не прекращала исповедовать. Низводить агентов до роли исполнителей, жертв или соучастников политики, запечатленной в сущности аппаратов, это значит обосновывать выведение существования из сущности, черпать знания о поведении в описаниях Аппарата и тем самым экономить на наблюдениях практики и отождествлять исследовательскую работу с чтением докладов, принимаемых за реальные матрицы практики.

Если верно, что склонность трактовать социальный универсум как Аппарат соразмерна временной удаленности, обрекающей на объективность, и невежеству, упрощающему видение, то понятно, почему историки, склонные, впрочем, в силу их положения в университетском пространстве к менее амбициозным теоретическим устремлениям, оказываются и менее склонными к героизации коллективных сущностей. Их видение предмета тем не менее еще очень часто определяется их отношением к нему. И это прежде всего потому, что выработка позиции в отношении прошлого коренится в неявно принятых позициях по отношению к настоящему (наиболее наглядный пример тому — Французская революция) или, точнее, к интеллектуальным противникам в настоящем (в полном соответствии с логикой *дуплета*, вписанной в относительную автономию пространств культурного производства). Кроме того, историки не всегда избегают некой

утонченной формы мистификации: во-первых, потому, что завещанная Мишле амбиция воскрешать прошлое и воссоздавать реальность, а также подозрительность по отношению к концептам склоняют их к интенсивному использованию *метафор*, о которых известно со времен Макса Мюллера, что они чреваты мифами; и затем, потому, что само их положение специалистов в области источников и истоков подталкивает к тому, чтобы поместиться в мифической логике истоков и первоначал. К обычным мотивам, склоняющим к осмыслению истории как поиску ответственности, добавляется в этом случае и своего рода профессиональная привычка: в противоположность деятелям искусств — авангардистам, которых она подталкивает к бегству вперед, поиск отличительного превосходства побуждает историков погружаться все дальше в прошлое, показывать, что все началось гораздо раньше, чем считалось, обнаруживать предшественников у предвестников, у предзнаменований — предвестий.³ Достаточно подумать о вопросах, подобных вопросу о зарождении капитализма или о появлении современного типа художника, несомненный успех которых не объяснить, если бы они не способствовали *regressum ad infinitum*¹ превосходства эрудита. Эти результаты логики, присущей производственному полю, часто комбинируются с воздействием политического настроения, вдохновляя на окончательные «инвестиции», которые скрываются за выработкой позиций по столь нечетко сформулированным проблемам, что могут служить поводом лишь для нескончаемых споров. Например, вопрос о том, следует ли приписывать появление первых мер социальной защиты доброй воле «филантропов» или «борьбе трудящихся», или же вопрос о влиянии — плодотворном или угнетающем, которое якобы оказала королевская власть на французскую живопись XVII века. Безупречно аргументированные и со всей ученой строгостью документированные вердикты могут служить оправданием враждебного отношения к королевскому абсолютизму со стороны республиканских профессоров конца XIX века

¹ уход в бесконечность (лат.).

либо — сегодня — для молчаливых намеков на светское государство.⁴ Или проблема временной границы между Средневековьем и эпохой Возрождения, работами по которой заполнены библиотеки и которая продолжает все еще вызывать споры между «либералами», стремящимися четко обозначить разрыв между Тьмою и Светом, и теми, кто настаивает (прежде всего францисканцы) на средневековых истоках Возрождения...

Действительно, склонность к политико-теологическому видению, позволяющая то ругать, то хвалить, то осуждать, то оправдывать прошлое, приписывая доброй или злой воле его свойства, зависит от того, в какой степени прошлое рассматриваемых институтов выступает в качестве целей и инструментов борьбы, ведущейся с помощью этих самых институтов, в социальном пространстве, где помещается историк, т. е. в поле социальной борьбы, самом более или менее автономном по отношению к этой борьбе⁵. Склонность осмысливать исторический поиск в логике *процесса*, т. е. как поиск истоков, *ответственных* и даже виновных, составляет основу телеологической иллюзии, точнее, той формы ретроспективной иллюзии, которая позволяет приписывать намерения и умыслы индивидуальным агентам и персонализированным коллективам. И в самом деле нетрудно, когда известно заключительное слово, трансформировать *исход* истории в *цель* исторического действия, а объективное побуждение, выявившееся лишь в конце, после борьбы, — в субъективное намерение агентов, в сознательную и расчетливую стратегию, жестко ориентируемую поиском того, что в конце концов происходит, — учреждая тем самым суд истории, т. е. суждение, вынесенное историком, как Божий суд. Так, вопреки телеологической иллюзии, неизменно встречающейся в сочинениях, посвященных Французской революции,⁶ анализ, проведенный Полем Буа, убедительно показывает, что в случае с сартуазским бокажем даже самые великодушные меры (как отмена нескольких налогов, которыми облагались крестьяне) понемногу искажались и перетолковывались в силу логики поля, в пределах которого они проводились.⁷ Тот факт, что абстрактный, формальный и, если можно так выразиться, «идеалисти-

ческий» характер мер, принятых в полном неведении относительно условий их реализации, способствовал их парадоксальному переименованию по ошибке, в результате которой они в конечном счете обернулись к выгоде их авторов или — что уже далеко не то же самое — к выгоде их класса, вовсе не дает основания видеть в этом продукт циничного расчета и — в еще меньшей мере — своего рода чудо «буржуазного» бессознательного. Важно понять, что существует отношение между данными мерами (или габитусом, характерным для определенного класса, который здесь выражается, например, в форме универсализма или формализма их намерений) и логикой поля, где зарождаются связанные с габитусом, но никогда к нему полностью не сводимые, ответные реакции. Причина и смысл какого-либо института (или какой-либо административной меры) и его социальных последствий заключаются не в «воле» индивида или группы, но в поле антагонистических и взаимодополняющих сил, где в зависимости от интересов, связанных с различными позициями, и от габитусов занимающих их агентов зарождаются «воли», а также где в борьбе и посредством борьбы непрерывно определяется и переопределяется реальность институтов и их предвиденных и непредвиденных социальных воздействий.

Особая форма ретроспективной иллюзии, которая приводит к иллюзии телеологической, способствует тому, что объективно целенаправленное действие габитуса выглядит как продукт сознательной, расчетливой и даже циничной стратегии — стратегии объективной, успех которой часто зависит именно от ее неосознанности и «незаинтересованности». Подобным образом те, кто добиваются успеха в политике или даже в искусстве и литературе, в ретроспективном плане могут восприниматься как вдохновленные стратеги, тогда как то, что объективно было рациональным инвестированием [капитала], могло переживаться ими как рискованное пари и даже как безумие. Требуемая и производимая принадлежностью к определенному полю, *illusio* исключает цинизм, и агенты практически никогда не обладают явно сформированным умением пользоваться механизмами, практическое овладение которыми является условием их успеха: так, напри-

мер, наблюдаемые в рамках литературного поля и поля искусства реконверсии — переход от одного жанра к другому, от одной манеры к другой и т. д. — переживаются (и должны, по-видимому, переживаться, чтобы преуспеть) как конверсии. Короче, обращение к понятию стратегии, позволяющему порвать с хорошо обоснованной иллюзией незаинтересованности, а также со всеми формами механизма — будь то механизм *Deus in machina* — не предполагает возврата к какой-либо наивной форме телеологизма или интеракционизма.

Для того чтобы избежать губительных альтернатив, в рамках которых оказалась заключенной история (социология) и которые, подобно противоположности между событийным и долговременным или — в другом измерении — между «великими людьми» и коллективными силами, единичными волями и формами структурного детерминизма, основываются на различии между индивидуальным и социальным, отождествляемым с коллективным, достаточно обратить внимание на то, что любое историческое действие *ставит нас перед лицом* двух состояний истории (или социального): истории в ее объективированном состоянии, т. е. истории, в течение длительного времени аккумулировавшейся в вещах, машинах, зданиях, памятниках, книгах, теориях, обычаях, праве и т. д., и истории в ее инкорпорированном состоянии, ставшей габитусом. Тот, кто приподнимает шляпу, в знак приветствия, *воскрешает*, сам того не сознавая, условный знак, доставшийся в наследство от Средневековья, когда, как об этом напоминает Пановский, рыцари имели обычай снимать шлем, демонстрируя этим свои мирные намерения.⁸ Такая актуализация истории является фактом габитуса, продукта исторического овладения, позволяющего обладать историческим опытом. История в смысле *res gestae*ⁱⁱ есть история овеществленная, влекомая, приводимая в действие, реактивируемая воплощенной историей, и которая в свою очередь приводит в действие и несет то, что несет ее самое (в соответствии с

ⁱⁱ история деяний, прагматическая история в противоположность культурной истории (истории культуры) (*лат.*).

диалектикой несущего и несомого, хорошо описанной Николаем Гартманом).⁹ Подобно тому, как письмо вырывается из состояния мертвой буквы только благодаря акту его прочтения, что предполагает и стремление его прочесть, и обладание навыками чтения и расшифровки заключенного в письме смысла, институтировавшаяся, объективированная история становится историческим действием, т. е. историей, приводимой в действие и действующей, если только за ее осуществление принимаются агенты, которых к этому предрасполагает их история и которые в силу своих предыдущих *«капиталовложений»* склонны к тому, чтобы *интересоваться* ее функционированием и обладают способностями, необходимыми для того, чтобы заставить ее функционировать.

Отношение к социальному миру является не отношением механической причинности, часто устанавливаемым между «средой» и сознанием, а своего рода онтологическим соучастием: когда одна и та же история преисполняет и габитус, и среду обитания, диспозиции и позицию, короля и его двор, хозяина предприятия и его предприятие, епископа и епархию, история неким образом сообщается с самой собой, отражается в себе самой, самоотражается. История — «субъект» раскрывается самой себе в истории — «объекте»: она узнает себя в «допредикативных», «пассивных синтезах», в структурах, структурированных до любой структурирующей операции и любого лингвистического выражения. Доксическое отношение к родному миру, эта своего рода онтологическая ангажированность, устанавливаемая практическим смыслом, есть отношение принадлежности и владения, в рамках которого тело, освоенное историей, присваивает себе самым абсолютным и непосредственным образом вещи, пронизанные той же историей.¹⁰

Изначальное отношение к социальному миру, в котором, т. е. через и благодаря которому, мы создаемся, есть отношение *владения*, предполагающее владение объектами обладания своим владельцем. Только когда наследство завладело наследником, как говорит Маркс, наследник может завладеть наследством. И это осуществляемое наследством овладение наследником и овладение наслед-

ником наследства, которое является условием присвоения наследником наследства (в чем нет ничего ни механического, ни фатального), происходит под совместным воздействием типов усвоения, вписанных в положение наследника и воспитательную деятельность предшественников — ставших в свое время присвоенными собственниками. Унаследованный, присвоенный наследством наследник не имеет надобности *выражать свою волю*, т. е. рассуждать, выбирать и сознательно принимать решения, чтобы делать то, что соответствует и отвечает интересам наследства, его сохранения и приумножения. Строго говоря, он может не осознавать ни того, что делает, ни того, что говорит, и (тем не менее) не делать и не говорить ничего такого, что не согласовалось бы с требованиями наследства. Людовик XIV столь полно отождествлял себя со своей позицией в том гравитационном поле, солнцем которого он являлся, что было так же тщетно пытаться определить, что из всех действий, происходивших в поле, было, а что не было продуктом его воли, как пытаться в исполняемом музыкальном произведении определить, что является заслугой дирижера, а что — музыкантов оркестра. Его воля к господству сама продукт поля, над которым она господствует и которое все оборачивает в свою пользу: «Приближенные, пленники сетей, расставлявшихся ими друг для друга, как бы поддерживали, так сказать, друг друга в своих позициях, даже если они и переносили саму систему лишь скрепя сердце. Давление, которое оказывали на них нижние или менее привилегированные слои, заставляло их защищать свои привилегии. И наоборот, давление, оказываемое сверху, подталкивало менее удачливых к тому, чтобы избавиться от него, подражая тем, кто достиг более выгодной позиции. Другими словами, они вступали в порочный круг соперничества из-за положения. Тот, кто имел право первым войти к королю, подать ему сорочку, презирал того, кто входил третьим и ни под каким предлогом не хотел ни в чем ему уступать, принц чувствовал себя выше герцога, герцог — выше маркиза, а все они вместе, как члены «дворянства», не хотели и не могли уступать простолюдинам, платившим налог. Одна установка порождала другую. Благодаря эффекту

действий и противодействий социальный механизм уравновешивался, стабилизировался в некоем нестабильном равновесии». ¹¹ Таким образом, «Государство», ставшее символом абсолютизма и в высшей степени представлявшее — в глазах самого абсолютного монарха, самым непосредственным образом *заинтересованного* в таком представлении («Государство — это я») — внешнее проявление Аппарата, в действительности скрывает поле борьбы, в которое обладателю «абсолютной власти» приходится самому вмешиваться в степени достаточной, чтобы поддержать размежевания и напряженности, т. е. само поле борьбы, и мобилизовывать энергию, порождаемую равновесием напряженностей. Принцип вечного движения, возмущающий поле, заключается не в каком-либо первичном неподвижном двигателе — в данном случае королевском, — а в самой борьбе, которая, возникая под влиянием составляющих поле структур, воспроизводит и эти структуры, и иерархические отношения. Он заключается в действиях и противодействиях агентов, у которых, если они только не выходят из игры и не уходят в небытие, не остается иного выбора, как бороться, чтобы сохранить или улучшить свою позицию в поле, т. е. чтобы сохранить или даже прирастить специфический капитал, который зарождается только в поле, способствуя тем самым сохранению давления на всех других, принуждений, порождаемых конкуренцией, которые часто переживаются как невыносимые. ¹² Короче, никто не может извлечь выгоды из игры, включая и тех, кто в ней господствует, не вступив в игру и не увлекшись игрой: это означает, что не было бы игры, если бы не вера в игру, и если бы не воля, намерения и устремления, которые движут агентами и которые, производимые игрой, зависят от позиций последних в игре, точнее, от их власти над объективированными проявлениями специфического капитала — того, что контролируется и манипулируется королем, пользующимся той степенью свободы в игре, которую она ему оставляет. ¹³

Те, кто относит, как, например, функционализм наилучшего толка, последствия доминирования на счет единой и центральной воли, отказываются замечать вклад, вносимый агентами (включая господствующих) — хотя

они того или нет, знают они об этом или нет, — в осуществление господства благодаря отношению, которое устанавливается между их диспозициями, связанными с их социальными условиями производства, и ожиданиями и интересами, вписанными в занимаемые ими позиции внутри полей борьбы, стенографически обозначаемых такими словами, как Государство, Церковь или Партия.¹⁴ Подчинение целям, значениям или интересам, являющимся трансцендентными, т. е. стоящими над и вне индивидуальных интересов, практически никогда не бывает результатом императивного принуждения и осознанного подчинения. И это потому, что так называемые Объективные цели, в лучшем случае обнаруживающиеся лишь после события и лишь внешним образом, изначально практически никогда не осознаются и не ставятся в качестве таковых в самой практике ни одним из затрагиваемых агентов, даже когда речь идет о тех, кто более всего заинтересован в осознании своих целей, — о господствующих. Подчинение совокупности практических действий какому-либо одному объективному намерению — это своего рода дирижирование в отсутствие дирижера, осуществляется лишь благодаря согласию, устанавливающемуся как бы вне агентов и поверх их голов между тем, что они есть, и тем, что они делают, между их субъективными «призываниями» (тем, ради чего они чувствуют себя «созданными» — *«faits»*), и их объективной «миссией» (тем, чего от них ждут), между тем, что история из них сделала, и тем, что она от них требует делать, — согласие, которое может выражаться либо в ощущении находиться вполне «на своем месте», делать то, что должны делать, и делать это с радостью — в объективном и субъективном смыслах — либо в покорной убежденности, что невозможно делать другое, что также является — разумеется, менее радостным — способом ощущать, что создан для того, что делаешь.

Объективированная, институционализованная история становится действующей и активной только тогда, когда должность — но также орудие труда, или книга, или даже «роль», социально предписанная и одобренная («подписать петицию», «принять участие в манифеста-

ции»), или исторически утвердившийся «персонаж» (интеллектуал-авантюрист или добропорядочная мать семейства, честный функционер или «человек слова») — находит кого-то (подобно одежде или дому), кто находит это интересным и находит здесь свой интерес, кто самого себя находит и узнает себя в этом настолько, что способен отождествиться с ней и взять на себя.¹⁵ Именно поэтому столько действий — и не только действий функционера, отождествляемого с его функцией,¹⁶ — предстают как *церемонии*, посредством которых агенты — не являющиеся, однако, *актерами*, исполняющими *роли*, — воплощают социальный персонаж, которого от них ожидают и которого они ожидают сами от себя (это призвание), и все это благодаря тому полному и непосредственному *совпадению* габитуса и одежды, которая и делает человека настоящим монахом. Официант не играет в официанта, как того желает Сартр. Надевая свою рабочую одежду, прекрасно выражающую демократизированную и бюрократизированную форму преданного, исполненного достоинства слуги богатого дома, и придерживаясь церемониала предупредительности и участливости, который может быть стратегией, маскирующей опоздание, оплошность или позволяющей сбить негодный продукт, он не превращается в вещь (или «вещь в себе»). Его тело, в котором запечатлена определенная история, *приноравливается* к функции, т. е. к некоей истории, традиции, которые он никогда не наблюдал иначе, как воплощенными в телах или, вернее, в одеждах, «заселенных» неким габитусом, именуемым официантами кафе. Это не означает, что он научился быть официантом, подражая другим официантам, конституировавшимся таким образом в модели. Он отождествляет себя с функцией официанта, как ребенок отождествляет себя со своим отцом (социальным) и, даже не нуждаясь в том, чтобы «прикидываться», принимает характерное выражение губ при разговоре или поводит плечами при ходьбе, что, как ему кажется, является составной частью социальной сущности сложившегося взрослого человека.¹⁷ Нельзя даже сказать, что он считает себя официантом: он слишком поглощен функцией, которая была ему естественно (т. е. социологически) предписана

(например, как сыну мелкого коммерсанта, которому необходимо заработать, чтобы основать самостоятельное дело), чтобы осознать эту дистанцию. В то же время стоит в его положении оказаться какому-либо студенту (мы их встречаем сейчас во главе некоторых «авангардистских» ресторанов), и увидим, как тот тысячей жестов станет подчеркивать дистанцию, которую будет стремиться сохранить, стараясь как раз изобразить свое положение в виде *роли* по отношению к функции, которая не соответствует представлению (социально конституированному), сложившемуся у него о своем существе, т. е. о своей социальной судьбе, для которой он не чувствует себя созданным и в которую он, по словам сартровского потребителя, не желает «быть навечно заточенным». И в доказательство того, что отношение интеллектуала к позиции интеллектуала не отличается какой-то особой природой и что интеллектуал не больше, чем официант, дистанцируется от своего занятия и от того, что по существу его определяет, т. е. сохраняется иллюзия дистанции по отношению ко всем занятиям, достаточно прочесть как *антропологический документ*¹⁸ анализ, в котором Сартр продолжает и «универсализирует» знаменитое описание официанта кафе: «Как бы я ни старался выполнить функции официанта кафе, я могу им быть только в нейтрализованной форме (как актер — Гамлетом), механически воспроизводя *жесты, типичные* для моего положения, и рассматривая себя как воображаемого официанта кафе лишь через эти жесты, воспринимаемые как «*analogon*»ⁱⁱⁱ. То, что я пытаюсь реализовать, это существо-в-себе-самом официанта кафе, как если бы было не в моей власти придать ценность и неотложность связанным с моим положением обязанностям и правам и как если бы мое решение каждое утро вставать в пять часов или оставаться в постели, рискуя быть уволенным, не зависело от моего свободного выбора. Как если бы оттого, что я поддерживаю существование этой роли, я не выходил бы повсеместно за ее рамки, не конституировал бы самого себя как бы зашедшего по ту сторону моего положения. Однако

ⁱⁱⁱ заменитель, субститут чего-либо (фр.).

нет сомнения в том, что в определенном смысле я есть официант кафе, а если нет, то не мог ли бы я столь же обоснованно называть себя дипломатом или журналистом?»¹⁹ Следовало бы останавливаться на каждом слове такого рода чудесного продукта социального бессознательного, которое в результате двойной игры, допустимой благодаря образцовому использованию феноменологического «я», проецирует сознание интеллектуала в практику официанта кафе или в воображаемый *analogon* этой практики, производя некую социальную химеру — чудовище с телом официанта и головой интеллектуала²⁰: неужели нужно обладать свободой оставаться в постели, не подвергаясь риску быть уволенным, чтобы открыть для себя того, кто встает в пять часов утра, до прихода клиентов подметает помещение и включает кофеварку, тем самым как бы освобождаясь (свободно ли?) от свободы оставаться в постели, несмотря на угрозу быть уволенным? Нетрудно распознать здесь логику нарциссического отождествления с фантазмом, согласно которой иные производят сегодня рабочего, целиком и полностью вовлеченного в «борьбу», или, наоборот, путем простой инверсии, как в мифах, рабочего, безнадежно смирившегося с тем, кто он есть, со своим «бытием в себе», лишенного той свободы, которая другим дается фактом располагать в числе прочих возможностей такими позициями, как у дипломата или журналиста.²¹

Это означает, что в случае более или менее полного *совпадения* между «призванием» и «миссией», между «спросом», чаще всего имплицитным, молчаливым и даже тайным образом заключенным в позиции, и «предложением», скрытым в диспозициях, напрасно было бы стараться отличить то, что в практической деятельности обязано влиянию позиций, от того, что объясняется влиянием диспозиций, привносимых агентами в эти позиции и способных определять восприятие и оценку ими позиции, следовательно, и их способ удерживать эту позицию, а тем самым и саму «реальность» позиции. Эта диалектика, как ни парадоксально, не проявляется никогда столь отчетливо, как в случае с позициями, находящимися в зонах неопределенности социального пространства, а также в случае с профессиями, слабо «профессионализиро-

ванными», т. е. еще недостаточно определенными как с точки зрения доступа к ним, так и с точки зрения условий их выполнения: эти должности, скорее еще подлежащие созданию, чем созданные, учрежденные, чтобы создаваться, предназначены для тех, кто является и чувствует себя приспособленным для готовых должностей, кто, в соответствии со старыми альтернативами, выступает против готового и за создаваемое, против закрытого и за открытое.²² Определение этих плохо обусловленных, плохо отграниченных, плохо защищенных должностей заключается, как ни парадоксально, в свободе, какую они предоставляют занимающим их определять и отграничивать, свободно устанавливая их границы, определение и принося всю ту инкорпорированную необходимость, которая является составляющей их габитуса. Эти должности будут тем, чем являются их занимающие, или, по крайней мере, те из них, кому удастся во внутренней борьбе в «профессии» и в конфронтациях с соседствующими и конкурирующими профессиями навязать самое благоприятное с точки зрения того, что они есть, определение профессии. Это зависит не только от них и от их конкурентов, т. е. не только от соотношения сил внутри поля, где они располагаются, но и от соотношения сил между классами, которое вне всякой сознательной стратегии «восстановление контроля» определит не только социальный успех, получаемый от различных благ и услуг, произведенных в процессе борьбы и ради борьбы с ближайшими конкурентами, но и институциональную инвестиру, которой удостоятся те, кто их произвел. А институционализация «спонтанных» размежеваний, которая постепенно происходит под воздействием фактов, т. е. *санкций* (положительных или отрицательных), налагаемых на предприятия существующим общественным порядком (субсидии, заказы, назначения, зачисления в штат и т. д.), приводит к тому, что впоследствии проявится как новое разделение труда в сфере господства, план которого не мог бы возникнуть в головах даже самых рассудительных и вдохновенных технократов.²³

Таким образом, оказывается, что социальный мир изобилует институциями, которых никто не задумывал и не желал, и даже явные «руководители» которых не могут

сказать — даже после всего свершившегося и во имя ретроспективной иллюзии, — как была «изобретена формула», удивляются сами, что они [институты — *перев.*] могут существовать в виде, в котором существуют, будучи столь хорошо приспособленными к тем целям, которые их создатели никогда формально не ставили.²⁴ Но эффект диалектики отношений между наклонностями, вписанными в габитусы, и требованиями, обусловленными определением должности, не менее существенны, хотя и менее заметны в наиболее регламентируемых и закоряченных секторах социальной структуры, например в наиболее давних и кодифицированных профессиях служащих государственных учреждений. Так, далеко не являясь механическим продуктом бюрократической организации, некоторые наиболее характерные для поведения мелких служащих черты, будь то тенденция к формализму, фетишизм пунктуальности или строгое отношение к регламентации, есть проявления, в логике *ситуации наиболее благоприятной для ее перехода к действию*, системы диспозиций, которая также обнаруживается и вне бюрократической ситуации и которой *было бы достаточно*, чтобы предрасположить представителей мелкой буржуазии к добродетелям, требуемым бюрократическим порядком и превозносимым идеологией «общественной службы», таким, как честность, аккуратность, ригоризм и склонность к моральному возмущению.²⁵ Эта гипотеза нашла экспериментальное подтверждение в происшедших в течение последних нескольких лет трансформациях в различных государственных службах, в частности в почтовой службе, в связи с появлением у молодых мелких служащих, оказавшихся жертвами структурной деквалификации, диспозиций, менее соответствующих ожиданиям институции.²⁶ Следовательно, нельзя понять функционирования бюрократических институций иначе, как путем преодоления надуманного противопоставления «структуралистского» видения, пытающегося отыскать в морфологических и структурных характеристиках основу «железных законов» бюрократии, рассматриваемых как механизмы, способные ставить собственные цели и навязывать их агентам, видению «интеракционистскому» или социаль-

но-психологическому, стремящемуся представить бюрократическую практику как продукт стратегий и взаимодействий агентов, игнорируя при этом как социальные условия производства этих агентов (и в рамках, и вне рамок институции), так и институциональные условия осуществления их функций (такие, как формы контроля за рекрутированием, продвижением по службе или оплатой труда). Правда, специфика бюрократических полей как относительно автономных пространств, образуемых институционализированными позициями, заключается в присущей этим позициям (определяемым их *рангом*, движущей силой и т. д.) способности добиваться от занимающих их людей выполнения всех практических действий, входящих в определение их должности, и все это — под непосредственным и очевидным, а следовательно, и ассоциируемым обычно с идеей бюрократии воздействием распоряжков, директив, циркуляров и т. д. и особенно под воздействием совокупности механизмов призвания-кооптации, позволяющих адаптировать агентов к их должностям, или, точнее, их диспозиции к их позициям, а затем добиться от определенного органа официальной власти признания этих — и только этих — практических действий. Но даже в подобном случае было бы такой же ошибкой пытаться понять практические действия (обусловленные данным моментом времени, т. е. являющихся результатом завершения некоторой истории в том, что касается их числа, юридического статуса и т. д.), исходя из имманентной логики пространства, как и пытаться объяснить их лишь на основе «социально-психологических» диспозиций — агентов, особенно если они отделены от их условий производства.

В действительности же здесь имеешь дело с исключительным случаем более или менее «удачного» столкновения между позициями и диспозициями, т. е. между объективированной историей и историей инкорпорированной: тенденция бюрократического поля к «перерождению» в «тоталитарную» институцию, требующую полного и механического отождествления (*perinde ac cadaver*^{iv}) «функ-

^{iv} подобно труп (лат.).

ционера» с функцией, *аппаратчика* с аппаратом, не связан механическим образом с морфологическими воздействиями, размеры и число которых способны оказывать влияние на структуры (например, посредством ограничений, накладываемых на коммуникацию) и на функции; эта тенденция может проявляться лишь в той мере, в какой она совпадает либо с сознательным сотрудничеством некоторых агентов, либо с бессознательным соучастием их диспозиций (что оставляет место для освобождающего воздействия осознания). Чем больше удаляешься от обычного функционирования полей как полей борьбы в направлении пограничных и, несомненно, никогда не достигаемых состояний, когда, с прекращением всяческой борьбы и сопротивления господству, поле все ужесточается, сводясь к «тоталитарной институции» — в понимании Гофмана, или — в строгом понимании — к *аппарату*, который в состоянии требовать всего без всяких условий и уступок и который в своих крайних формах — тюрьма, казарма или концентрационный лагерь, располагает средствами символического и реального уничтожения «ветхого человека», — тем больше институция стремится пожертвовать своими агентами, которые все отдают институции (например, «Партии» или «Церкви») и которые тем легче приносят эту *жертву*, чем меньше у них капиталов вне институции, а следовательно, и свободы по отношению к ней и к тем специфическим выгодам и капиталу, какие он им предлагает.²⁷ *Аппаратчик*, всем обязанный аппарату, — это аппарат, ставший человеком, и на него можно возложить самую высокую ответственность, потому что он, добиваясь осуществления своих интересов, ничего не может делать, не способствуя *eo ipso* защите интересов аппарата: как монах, он предрасположен к тому, чтобы в полной убежденности охранять институцию против еретических отклонений тех, кому капитал, приобретенный вне институции, позволяет и кого подбивает дистанцироваться от верований и внутренней иерархии.²⁸ Короче, в случаях, наиболее благоприятных для механицистского описания практических действий, анализ вскрывает некоего рода бессознательное взаимоприспособливание позиций и диспозиций, составляющее истинную основу функционирования институции, даже в

том, что ему сообщает трагическую видимость адской машины.

Именно поэтому наиболее способствующие отчуждению, наиболее отталкивающие и близкие к *каторжному* труду условия работы тем не менее находят рабочего, который на них соглашается, берется за их исполнение, воспринимает, оценивает, обустривает, приспособливает их к себе и сам к ним приспособливается в соответствии с собственной историей жизни и даже с историей всего своего рода. Если описание наиболее отчуждающих условий труда и наиболее отчужденных рабочих звучит так часто фальшиво — и прежде всего в том, что не позволяет понять, почему вещи продолжают оставаться такими, какие они есть, — то это оттого, что оно, следуя логике химеры, способно показать молчаливое согласие, которое устанавливается между наиболее бесчеловечными условиями работы и людьми, подготовленными нечеловеческими условиями своего существования к тому, чтобы их принять. Диспозиции, запечатленные посредством первого опыта социального мира, способные при определенном стечении обстоятельств предрасположить молодых рабочих принять и даже пожелать войти в мир труда, отождествляемый с миром взрослых, усиливаются затем самим опытом их трудовой деятельности и всеми изменениями в диспозициях, которые он за собой влечет (и которые можно осмысливать по аналогии с описанными Гофманом как составляющими процесса «*asilation*»^у изменениями). Здесь следовало бы напомнить весь процесс инвестирования, который подталкивает рабочих к тому, чтобы способствовать собственной эксплуатации уже самим своим усилием, направленным на овладение трудом и условиями своего труда, которое заставляет их *привязываться* к своей *профессии* (во всех смыслах этого слова) в силу тех самых свобод (часто ничтожных и почти всегда «функциональных»), которые им предоставляются, а также, разумеется, под влиянием конкуренции, вызываемой различиями (между специализированными рабочими, иммигрантами, рабочими-женщинами и т. д.), присущими профессиональному пространству, функционирующему

^у «помещением в дом умалишенных». — *Прим. перев.*

как поле. Действительно, если исключить предельные ситуации, граничащие с принудительными работами, видно, что объективная правда наемного труда — эксплуатация — становится отчасти возможной благодаря тому, что субъективная правда труда не совпадает с его объективной правдой. Об этом свидетельствует вызываемое ею (эксплуатацией) возмущение: профессиональный опыт, когда трудящийся не ждет от своего труда (и от окружающей его рабочей среды) ничего, кроме зарплаты, переживается им как нечто калечащее, патологическое и невыносимое, потому что нечеловеческое.²⁹

То объективирующее усилие, которое потребовалось, чтобы конституировать наемный труд в его объективной правде эксплуатируемого труда, заставило того, кто его осуществил, забыть, что эта правда должна была быть завоевана в борьбе против субъективной правды труда, совпадающей с объективной правдой лишь *в пределе*. Именно об этом пределе упоминает Маркс, когда замечает, что исчезновение разброса в нормах прибыли предполагает мобильность рабочей силы, которая в свою очередь предполагает, среди прочего, «безразличное отношение рабочего к содержанию его труда; возможно большее сведение труда во всех сферах производства к *простому труду*, освобождение рабочих от всех *профессиональных предрассудков*...». ³⁰ При этом нельзя не вспомнить о существовании *инвестирования в сам труд*, что приводит к тому, что труд становится способным приносить специфическую прибыль, не сводимую к денежной прибыли: этот «интерес» к труду, который частично создает «интерес» факту трудиться и который является отчасти следствием иллюзии, присущей участию в определенном поле, способствует тому, что труд, несмотря на эксплуатацию, становится приемлемым для рабочего. Такое инвестирование в труд нередко способствует и возникновению определенной формы самоэксплуатации. Оно приводит к тому, что деятельность (например, у артиста или интеллектуала) переживается как свободная и незаинтересованная при соотнесении с узким определением интереса, отождествляемого с материальной прибылью, с зарплатой, в действительности предполагает подсознательное соглашение между диспозициями и позициями. Это прак-

тическое взаимоприспособление,³¹ являющееся условием инвестирования, интереса (в противоположность безразличию) к обусловленной рабочим местом деятельности оказывается, например, реализованным, когда такие диспозиции, которые Маркс называет «предрасудками профессионального призвания» и которые приобретаются в определенных условиях (например, в случае передаваемой по наследству профессии), находят условия своей актуализации в некоторых характеристиках самого труда, таких, как определенная свобода действий в организации производственных заданий или некоторые формы конкуренции в рамках трудового пространства (премии или чисто символические привилегии, как те, что предоставляются старым рабочим на мелких семейных предприятиях).³²

Различия в диспозициях, равно как и различия в позициях (с которыми они часто связаны), лежат в основе различий в восприятиях и оценках, а тем самым — и совершенно реальных размежевании.³³ Именно поэтому недавняя эволюция промышленного труда в направлении того предела, на который указывал Маркс, т. е. в сторону исчезновения «интересного» труда, труда «ответственности» и «квалификации» (и всеми корреляционными иерархиями), весьма по-разному воспринимается, оценивается и принимается теми, чей стаж в рабочем классе, квалификации и относительные «привилегии» заставляют защищать их «завоевания», т. е. интерес к работе, квалификацию, а также иерархии, и тем самым существующий порядок, и теми, кому нечего терять. Последние, будучи лишены квалификации и весьма близкими к народной реализации популистской химеры, подобны тем молодым людям, кто, пройдя через более длительный период школьного обучения, чем те, кто старше их, более склонны радикализировать борьбу и ставить под сомнение всю систему, — или же тем, наконец, кто, будучи также совершенно обездоленными, как рабочие первого поколения, женщины и особенно иммигранты,³⁴ отличаются терпимостью к эксплуатации, казалось бы, характерной для другой эпохи.³⁵ Короче, в самых крайних условиях принуждения, внешне наиболее благоприятных для механистической интерпретации, когда трудящийся сводится к его рабочему месту и непосредственно *выводится* из его

же рабочего места, активность сводится к установлению отношений между двумя историями, а настоящее — к встрече двух видов прошлого.³⁶

*Wesen ist was gewesen ist.*³⁷ Можно понять, что социальное существо является тем, что было, но и то, что однажды было, навсегда вписано не только в историю, что само собой разумеется, но и в социальное существо, в вещи, а также в тела. Образ открытого будущего с бесконечными возможностями скрывал то, что каждый из новых выборов (идет ли речь о нереализованных актах выбора в условиях *laisser-faire*) способствует ограничению универсума возможного или, точнее, увеличению веса *институтировавшей* в вещах и в телах необходимости, с которой должна считаться политика, ориентированная на другие возможности и, в частности, на те из них, которые ежеминутно отодвигались в сторону. В процессе институционализации, становления, т. е. объективации и воплощения как аккумуляирования в вещах и телах всей совокупности исторических приобретений, несущих на себе отпечаток условий своего производства и стремящихся породить условия собственного воспроизводства (хотя бы в силу демонстрации и навязывания потребностей, которые вызываются самим существованием какого-либо блага), постоянно уничтожаются параллельные возможности. По мере развития истории эти возможности становятся все более маловероятными, их реализация — все более трудноосуществимой, поскольку их переход в реальность предполагал бы деструкцию, нейтрализацию и реконверсию более или менее значительной части исторического наследия, которое также является капиталом. О них все труднее даже мыслить, поскольку схемы мышления и восприятия являются в каждый данный момент результатом предшествующих овеществленных актов выбора.³⁷ Всякая деятельность, нацеленная на противопоставление возможного вероятному, т. е. будущему, объективно вписанному в существующий порядок, должна считаться с грузом овеществленной и инкорпорированной истории, которая, как при процессе старения, стремится свести возможное к вероятному.

³⁷ Существо есть то, что существовало (нем.).

Разумеется, следует непрестанно подчеркивать, имея в виду всевозможные формы технологического детерминизма, что потенциальные возможности, предлагаемые относительно автономной логикой научного развития, могут обрести социальное существование только в виде технических достижений и выступать, если представится случай, в роли фактора экономических и социальных изменений опять же только в том случае, если тем, кто обладает экономической властью, они покажутся отвечающими их интересам, т. е. способными содействовать максимальной прибыли на капитал в рамках воспроизводства социальных условий господства, необходимых для присвоения доходов.³⁸ И все же в качестве завершения длительной серии актов социального выбора, выражающейся в форме совокупности технических потребностей, технологическое наследие стремится стать настоящей *социальной судьбой*, исключающей не только некоторые возможности, находящиеся еще в состоянии возможностей, но и реальную возможность исключения множества уже реализовавшихся возможностей. Достаточно напомнить о ядерных электростанциях, которые, будучи построены, заявляют о себе тем, что не только выполняют свои технические функции, но и создают всевозможные формы соучастия тех, кто тесно связан с ними или с их продукцией. Можно также напомнить о том политическом выборе, который наметился с 60-х годов, значительно облегчив процедуру приобретения недвижимой собственности и обеспечив самые высокие прибыли банкирам и особенно изобретателям «персонализированного кредита». Все это — вместо того, чтобы продолжать проводить политику социального жилья. Одним из последствий этого выбора, помимо прочего, было то, что он способствовал усилению лояльности части членов господствующего класса, а также средних классов по отношению к существующему политическому строю, который казался им наиболее подходящим, чтобы гарантировать их капитал. Итак, с каждым днем власти констатируют рост необратимых изменений, с которыми вынуждены считаться те, кому вдруг удастся ее свергнуть.

Это хорошо видно на ситуациях постреволюционных периодов, когда овеществленная и инкорпорированная история оказывает глухое или подспудное сопротивление реформистским или революционным диспозициям и стратегиям, также в значительной мере обусловленным все той же историей, против которой они направлены. Институционализированная история неизменно одерживает верх над частичными, точнее, *односторонними* революциями. Даже при самых радикальных изменениях в условиях присвоения орудий производства у инкорпорированной истории остается возможность незаметно восстановить объективные (экономические и социальные) структуры, продуктом которых эти изменения являются. С другой стороны, известно, что происходит с политикой, рассчитывающей на трансформацию структур в результате простой *конверсии* диспозиций.³⁹ Революционные и постреволюционные ситуации изобилуют многочисленными примерами патетичных или гротескных несовпадений между историей объективированной и историей инкорпорированной, между габитусами, созданными для других должностей, и должностями, созданными для других габитусов, которые наблюдаются также при любом общественном порядке, хотя и в меньших масштабах, и особенно в зонах неустойчивости социальной структуры. Во всех этих случаях деятельность носит характер борьбы между историей объективированной и историей инкорпорированной — борьбы, иногда длящейся всю жизнь, за то, чтобы сменить должность или самому измениться, чтобы завладеть должностью или самому быть превращенным ею в собственность (хотя бы для того, чтобы завладеть ею, трансформируя ее). История творится в этой борьбе, в этой неявной битве, в ходе которой должности более или менее полно формируют тех, кто их занимает и стремится ими завладеть, когда агенты более или менее полно изменяют должности, перекраивая их по своим меркам. История творится во всех этих ситуациях, когда отношение между агентами и их должностями основывается на некотором недоразумении: это те руководители самоуправляющихся фирм, министры, служащие, которые сразу же после освобождения Алжира вступали в должность, в об-

личье колониста, директора, комиссара полиции, позволив чужеземной истории завладеть собой через акт повторного овладения⁴⁰; это те освобожденные работники ВКТ, которые, как показывает Пьер Гам, прекрасно «узнают самих себя» в силу их классовых диспозиций в «Примирительном совете», одном из многочисленных институтов, созданных в XIX веке по инициативе «просвещенной» части господствующего класса в надежде «примирить» хозяев и рабочих; этот типично патерналистский вид правосудия, обеспечиваемый «семейным трибуналом», в явной форме уполномоченный для отправления «отеческой» власти и урегулирования спорных вопросов путем совета и примирения на манер семейных советов и путем «десоциализации» конфликтов, встречает со стороны рабочих ожидание ясного и быстрого судопроизводства, а со стороны их профсоюзных представителей — «заботы о создании благопристойного образа рабочего класса». ⁴¹

Таким образом, овеществленная история играет на ложном соучастии, которое объединяет ее с инкорпорированной историей, чтобы завладеть самим носителем этой истории: то же происходит, когда руководители в Праге или в Софии воспроизводят мелкобуржуазный вариант буржуазной роскоши. В основе своей такие хитрости исторического разума⁴² основаны на эффекте *allodoxia*, возникающей из случайного и неосознаваемого столкновения независимых исторических рядов. Как видно, история также является наукой о бессознательном. Выводя на свет все, что скрывается как за доксой — непосредственным соучастием с собственно историей, так и за аллодоксией — ложным узнаванием, основанным на непознанном отношении между двумя историями, располагающим к тому, чтобы узнавать себя в другой истории — в истории другой нации или другого класса, — историческое исследование вооружает нас средствами истинного осознания или, более того, истинного самообладания. Мы без конца попадаем в ловушку смысла, который формируется вне нас, без нас, в неконтролируемом соучастии, объединяющем нас, историческую вещь с историей-вещью. Объективируя все, что есть социально-не-

мыслимого, т. е. забытую историю, в самых обычных или самых ученых идеях — в омертвевших проблематиках, лозунгах, общих местах, — научная полемика, вооруженная всем тем, что произвела наука в постоянной борьбе с самой собой и с помощью чего она превосходит самое себя, предоставляет тому, кто ее ведет, и тому, кто ее на себе испытывает, возможность узнать, что он говорит и что делает, возможность действительно стать субъектом своих слов и действий и покончить с тем, что еще остается необходимого в социальных вещах и в идее о социальном. Свобода заключается не в *магическом* отрицании этой необходимости, а в ее познании, что не обязывает и не предоставляет права ее признавать: научное познание необходимости включает в себе возможность деятельности, направленной на ее нейтрализацию, а следовательно, и *возможную* свободу. Тогда как непризнание необходимости предполагает самую абсолютную форму признания: пока закон игнорируется, результат свободы действия, этой соучастницы вероятного, проявляется как судьба; когда же он познан, этот результат проявляется как насилие.

Социология все еще полностью остается тем, что из нее часто делают, — наукой, стремящейся к развенчанию, по выражению Монтеня, «мыслей, родившихся на кухне», подозрительным и злым взглядом, лишаящим мир его очарования и уничтожающим не только ложь, но и иллюзии, предвзятостью «редукции», облаченной в добродетель непреклонной мысли, только в той мере, в которой она способна и себя самое подвергать такому же вопросу, какому она подвергает любую практику. Можно постигнуть истины интереса, лишь согласившись на постановку вопроса об интересе для истины и лишь проявив готовность рисковать наукой и ученой респектабельностью, превращая науку в орудие, служащее, чтобы ее самое подвергать сомнению. И все это — в надежде обрести свободу по отношению к той негативной и демистифицирующей свободе, какую дает наука.

Примечания

¹ Несомненно, именно в работе мобилизации, точнее, единения и универсализации и зарождается множество представлений (в их психологическом, а также правовом и театральном смысле), которые складываются у групп (и, в частности, у подчиненных классов) относительно их самих и их единства и которые затем конденсируются ими в целях борьбы (совершенно отличных от целей научного анализа) в «форс-идеи» или символы объединения («рабочий класс», «пролетариат», «кадры», «МСП» и т. д.) и в таком виде нередко используются в высказываниях, вплоть до самых «ученых», о мире социального. Так, когда в силу подобного рода склонности к социальному романтизму, столь часто одушевляющему социальную историю, говорят о «рабочем движении», превращая эту сущность в коллективного субъекта непосредственно политизированной культуры, то рискуют завуалировать социальный генезис и социальную функцию этого стенографического обозначения представления, посредством которого рабочий класс участвует в производстве себя как такового (пусть здесь вспомнят о таких сложных операциях социальной алхимии, как представительство и манифестация) и частью которого, в качестве его условия и продукта, является то, что иногда также называют «рабочим движением», т. е. совокупность синдикалистских или политических организаций, которые апеллируют к рабочему классу и функция которых заключается в том, чтобы представлять рабочий класс. Что же касается пессимистической мифологии и функционализма наихудшего толка, которым она направляется, то их успех, очевидно, определяется высокой эффективностью в полемике: они и в самом деле прекрасно применимы к противникам, которых необходимо дискредитировать, противопоставляя им извне принцип, лежащий в основе их высказываний, публикаций и действий (например, «бумагомарака из епископата», «лакей капитализма»). Они также хороши в борьбе с такими институтами, как Церковь, которую обычно антиклерикализм представляет как стоокое и сторукое учреждение, целиком ориентированное на реализацию своих объективных, т. е. временных и политических целей. В то время как именно в их внутренней борьбе — как мы постараемся это показать в одной из ближайших работ — и через внутреннюю борьбу, цели которой не являются и никогда не могут являться исключительно и имплицитно временными, духовными лицами, вовсе не обязательно мыслящими их как таковые, вырабатываются стратегии, способные содействовать обеспечению экономических и социальных условий их собственного социального воспроизводства.

Чтобы понять, например, то, что описывается как «сдвиг Церкви влево» или «католичество», нужно заполучить средства для объяснения бесчисленных случаев индивидуальных превращений, через которые должны были пройти светские (а также духовные) лица, чтобы включить политику в их определение религии: роль духовных лиц, также вовлеченных в эту работу превращения, заключалась в том, чтобы сопровождать и согласовывать это движение, — задача для них тем более легкая, что, будучи профессионалами религиозного слова, они хорошо подготовлены для словоизлияний, а структура их организации воспроизводила, следуя логике клерикального поля, опыт, трансформации и оппозиции светского мира.

² «Ученые и философы, весьма склонные к обобщениям, классификациям и очень плодотворные в создании новых слов и новых этикеток для обозначения воображаемых ими видов и классов, не являются теми, кто обеспечивает реальный прогресс в науках и философии. Нужно, следовательно, чтобы действительно активный принцип, принцип плодотворности и жизни — во всем, что способствует развитию разума и философского духа, — не усматривался лишь в способности абстрагировать, классифицировать и обобщать. Рассказывают, что великий геометр Жан Бернулли, с горечью обнаружив, что его современник Вариньон по всей видимости хотел присвоить себе его открытия под предлогом их обобщения, о чем не позаботился сам автор и для чего не требовалось больших творческих усилий, хитро заметил, заканчивая свое очередное выступление: «Вариньон нам все это обобщит» (*Coumot A. A. Oeuvres complètes. T. II. Édité par J. C. Portents, Paris: Vrin. P. 20*).

³ Одним из тысячи примеров этого может служить жанр автобиографии. Нельзя, представляя «Исповедь» Руссо, не задать вопрос: не положило ли это произведение начало автобиографическому жанру? А также не вспомнить тотчас о Монтене или Бенвенуто Челлини, или — все более удаляясь во времени и пространстве — о святом Августине и оказаться обойденным эрудитом (немцем), который в монументальной истории автобиографии (пример не выдуман) покажет, что истоки жанра следуют искать на Ближнем или Среднем Востоке, и отыщет его первые наметки в седьмом письме Платона или в «Бруте» Цицерона. И избавиться от этого *regressio ad infinitum* (движение назад до бесконечности — *lat.*) можно, только заменив вопрос об абсолютных истоках жанра вопросом о происхождении «современной» автобиографии. Но как начинать отсчет «современности» и «модернизма» с Руссо, не вспомнив сразу же, что на звание «первого из современных» авторов могут претендовать святой Августин и Петрарка, не говоря уже о Монтене, «модер-

низм» которого несколько отличен. А это обязывает задаться вопросом: когда начинается современная «современность»? И в этом — вся жизнь эрудита.

⁴ Такого рода подспудная проблематика затрагивается в исследовании Натали Хейниш о конституировании поля французской живописи в XVII веке, которое вскоре должно появиться в печати.

⁵ Один из позитивных аспектов объективации отношения к предмету, с которым, следуя строгому методу, считается историк, как и социолог, заключается в том, что она позволяет вооружиться против спонтанной формы философии истории (и практики), которая определяет самый элементарный научный выбор. Именно здесь социология и история социологии и истории (и, в частности, избираемая ими обязательная проблематика, понятия, которые в них используются, разрабатываемые ими методы, а также социальные условия, в которых они используют это наследство) играют определяющую роль. Если эта полемика научного разума может также применяться против оппонентов, давая повод для своеобразных недоразумений, когда «жертвы» защищаются, отождествляя себя с жертвами полемики и даже политического террора, эта полемика тем не менее направлена прежде всего против того, кто ее ведет, против всего, что у него есть общего с тем, что он описывает. И от чего тот имеет некоторый шанс освободиться только путем настойчивой критики предмета науки, т. е. границ, вписанных в социальные условия ее производства. (Такое исследование границ, лежащее в центре рационалистического проекта, каким он представлялся Канту, прямо противоположно релятивистскому прочтению, как то часто было с неокантианскими работами в области исторической науки — всеми этими общими местами об историчности историка.)

⁶ Следовало бы проанализировать, какой смысл имеется в самом факте написания слова Революция в единственном числе и с большой буквы и, в частности, в самой гипотезе, согласно которой была одна революция, единая и неделимая, там, где можно было бы увидеть целую совокупность революций (крестьянские жакерии, голодные бунты, заговоры нотаблей и т. д.), отчасти синхронизированных и грубо сочлененных друг с другом, что приводит к исчезновению вопроса о характере отношений между всеми этими революциями.

⁷ *Bois P. Paysans de l'Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l'époque révolutionnaire.* Paris: La Haye, Mouton and Co, 1960. (Замечательно, что эта книга историка вдохновлена эксплицитным стремлением исторически осознать определенный социальный факт настоящего и поэтому вынуждена объективировать и — в большей мере,

чем это обычно делается, — контролировать коррелирующие эффекты.)

⁸ *Panofsky E. Essais d'iconologie, les thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance. Paris: Gallimard, 1967. P. 15.*

⁹ *Hartmann N. Das Problem des geistigen Seins. Berlin: de Gruyter, 1933. S. 172.*

¹⁰ Это, мне кажется, то, что поздний Хайдеггер и Мерло-Понти (особенно в «Видимом и невидимом») стремились выразить на языке онтологии, т. е. нечто «дикое» и «варварское» — я бы сказал просто: практическое — находящееся по «эту сторону» интенционального отношения к объекту.

¹¹ *Elias N. La société de cour. Paris: Calmam-Levy, 1974. P. 75–76.*

¹² Единственная оставляемая игрой абсолютная свобода — это свобода выйти из игры посредством героического отказа, который, если только не основать новой игры, поддерживает атараксию (душевную невозмутимость. — *Прим. перев.*) лишь ценою того, что с точки зрения игры и *illusio* является социальной смертью.

¹³ «Король не удовлетворяется только иерархическим порядком, унаследованным от своих предшественников. Этикет ему предоставляет некоторую свободу маневра, которой он пользуется, определяя долю престижа каждого, даже в делах незначительной важности. Он извлекает выгоду из психологических ситуаций, являющихся отражением иерархических и аристократических структур общества, а также из соперничества придворных, постоянно борющихся за престиж и благосклонность, для того чтобы, умело дозируя знаки внимания, изменять значимость членов придворного общества и их ранг в зависимости от потребностей своей власти, тем самым создавая внутри общества напряженность и по желанию смещая центры равновесия» (*Elias N. Op. cit. P. 77–78*).

¹⁴ Несомненно, теория Аппаратов отчасти обязана своим успехом тому, что благодаря ей стало возможным абстрактное отвержение Государства и Школы, обеляющее бесчестье агентов и позволяющее им жить в раздвоении между профессиональной деятельностью и политическим выбором.

¹⁵ Вспомним Маркса, ссылающегося на революционеров 1789 г. и их римские образцы, и подумаем о том, что бы он сказал, увидев события 1968 г. и всех персонажей, прямо сошедших с экранов фильмов.

¹⁶ Функционер, напоминающий, что «регламент есть регламент», настаивает на требуемом регламентом отождествлении «личности» с регламентом в ответ на чьи-либо апелляции к его «личности», его чувствам, его «пониманию», его «снисходительности» и т. д.

¹⁷ Как это прекрасно показывает Карл Шорске в случае с Фрейдом (*Schorske C. Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture.* New York: A. Knopf, 1980. P. 181–203), возникающие на пути идентификации «психологические» и социальные препятствия неразрывно взаимопереплетены и должны были бы учитываться в комплексе в исследованиях, направленных на выявление причин отклонений от траектории, вписанной в социальную наследственность («неудачники», которые, правда, с другой точки зрения, могут оказаться удачниками, скажем, когда сын банкира становится артистом или художником).

¹⁸ Есть некоторая несправедливость в том, что мы используем в качестве объекта нашего анализа текст, чье достоинство состоит в исчерпывающем объяснении — отсюда и наш интерес к нему — самых скрытых и даже самых секретных сторон жизненного опыта социального мира, частичные или неявные проявления которого можно наблюдать каждый день.

¹⁹ *Sartre J.-P. L'Être et le néant.* Paris: Gallimard, 1942. P. 100.

²⁰ Сразу видна полезность замены лично-безличного «я», оставляющего широкий простор для фантазмагорических проекций, осуществляемых социально определенным субъектом (коммерческими служащими, руководящими кадрами частного сектора).

²¹ Как я уже пытался показать в другом месте, эта склонность придавать «интеллигентность» отношению к положению рабочего для отношения к этому положению самого рабочего не обязательно исчезает в связи с занятием места рабочего на какое-то время в качестве наблюдателя или актера. (Исключение составляет книга Николя Дюбоста «Флинс без конца...», что делает ее замечательным документом, вскрывающим, среди прочего, логику мифологизации и демифологизации рабочего класса.)

²² Всегда имеется спонтанная философия истории — и философия истории своей истории, т. е. своей позиции и своей траектории в социальном пространстве. Эта своего рода «центральная интуиция», которая позволяет сориентироваться в отношении великих «теоретических» или «политических» альтернатив [данного] момента (детерминизм — свобода, «структурализм» — спонтанность, ФКП — гошисты и т. д.) и в которой самым непосредственным образом выражается отношение к социальному миру, лежит в основе видения социального мира и принятия политических позиций, но также в основе внешне самых элементарных и безобидных решений в области научной практики. (Научность социальной науки измеряется ее способностью конституировать такого рода альтернативы в качестве объекта и воспринимать социальные детерминанты актов выбора, кото-

рые определяются по отношению к этим альтернативам. И одна из трудностей письма в случае общественных наук связана с тем, что оно должно попытаться не подтвердить заранее и разоблачить прочтение, обусловленное в ходе анализа шаблонами, которые оно стремится объективировать.)

²³ Надо было бы [и надо будет] под этим углом зрения проанализировать всю трансформацию в отношениях между господствующими и подчиненными фракциями внутри господствующего класса, которая имела место во Франции в течение последнего двадцатилетия, т. е. постепенное сокращение под влиянием различных факторов относительной автономии интеллектуального поля, — сокращение, самым значительным показателем которого является, несомненно, появление бюрократического мецената и в соответствии с этим — повышение веса (по крайней мере численно) интеллектуалов, непосредственно, а иногда и административно связанных с тем или иным бюрократическим заказом. Основным последствием прямого финансирования исследований, осуществляемого под контролем специализированных функционеров, могло бы стать приучение исследователей к признанию определенной формы прямой зависимости от властей и внешних по отношению к самому производственному полю требований. Такие последствия возможны только при соучастии самих научных работников, точнее, благодаря соучастию между научными работниками (или, по крайней мере, теми из них, кто был больше всего заинтересован в гетерономии — по отношению к какой бы то ни было внешней власти) и авангардом технократии от науки, которую ее противодействие (социально оправданного) доминирующим секторам бюрократии толкает на то, чтобы содействовать восстановлению (как выражается Жан-Клод Шамбордон) «технократического дискурса» перед лицом дискурса технократов. Для того чтобы это преодолеть и порвать с различными формами философии истории, которые путем возведения исторических процессов на большую высоту (или придания им глубины) тем самым ставят агентов с их часто неуловимой и едва ощутимой долей самостоятельности вне игры, следовало бы одновременно проанализировать структурные изменения (подобные изменениям, происшедшим в поле высших школ *grandes écoles* и в сфере воспроизводства размежеваний внутри господствующего класса) и бесконечную серию дифференцирующих социальных изменений, которые, незаметно накапливаясь, кладут начало совершенно новому состоянию интеллектуального поля и его отношений с полем экономической и политической власти. Следовало бы также проанализировать те неощутимые сдвиги, в результате которых менее чем за 30 лет интеллектуальное поле

из состояния, когда было столь необходимо числиться коммунистом, что для этого даже не нужно было быть марксистом, перешло сначала к состоянию, когда быть марксистом стало столь престижно, что было даже принято «читать» Маркса, и, наконец, к состоянию, когда последним криком моды стал отказ от всего и прежде всего от марксизма. (Сколько в этой истории историй отдельных жизней! Сколько необходимости в этих сменяющих друг друга индивидуальных свободах!)

²⁴ Это прекрасно показывает, например, Жан Таварес в исследовании (которое должно вскоре появиться в печати), посвященном анализу генезиса и деятельности Католического центра французских интеллектуалов.

²⁵ См.: *Bourdieu P., Passeron J. C. La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement.* Paris: Minuit, 1970. P. 227.

²⁶ См.: *Bourdieu P. La Distinction.* Paris: Ed. de Minuit, 1979. P. 159–165.

²⁷ См.: *Verdes-Leroux J. L'art de parti: le parti communiste français et ses peintres (1947–1954) // Actes de la recherche en sciences sociales,* 1979. № 28. P. 33–55 и ее же работы, которые посвящены отношениям между коммунистической партией и ее интеллектуалами.

²⁸ Принятие позиций различными партиями и их эволюция во времени становятся тем более понятными на основе только внутренней истории штата кадровых работников и закона, стремящегося подчинить успех в аппарате полной адекватности логике аппарата, чем — как в случае Французской коммунистической партии сегодня — значительно в них доля инертных доверителей, бездействующих в силу их приверженности *fides implicita* и самоотречения, или действующих, но лишь время от времени (ср.: *Bourdieu P. Op. cit.* P. 500 и далее): это «молчаливое большинство», одновременно реальное и отсутствующее, служит гарантом «увриеризма», являющегося излюбленным, особенно когда используется против критики со стороны интеллектуалов, оружием кадровых партийных работников, выходцев из рабочих или из мелкой буржуазии или же представителей интеллигенции, которые, согласно основополагающему закону, тем более охотно вступают первыми в процесс взаимной легитимации, чем меньшим интеллектуальным капиталом они располагают, и поэтому усматривают для себя в объективном и субъективном планах больше пользы в репрессиях относительно более склонных к независимости интеллигентов.

²⁹ *Bourdieu P. & al. Travail et travailleurs en Algérie.* Paris: La Haye, Mouton and C°, 1963; *Bourdieu P. Algérie 60.* Paris: Minuit, 1977.

³⁰ Маркс К. Капитал. Т. 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 1. С. 215.

³¹ Это соответствие между диспозициями и позициями не имеет, очевидно, ничего общего с «психологическим» подчинением, описываемым иногда как «наслаждение» («наслаждение фашизмом»), которое позволяет возлагать на подчиненных «ответственность» за испытываемое ими угнетение («власть исходит снизу»).

³² Логика мобилизации, согласно которой предпочтение отдается тому, что соединяет, в ущерб тому, что разъединяет, очевидно, не объясняет полностью тенденции рабочих организаций к игнорированию различий, связанных с жизненными траекториями. В этом вся логика политизации как усилия, направленного на «деприватизацию» опыта эксплуатации, а также привычка к механицистскому образу мысли, под влиянием которой даже наиболее тонкие и наиболее строгие попытки анализа условий труда (см., например: *CFDT. Les dégâts du progrès*. Paris: Seuil, 1977) имеют тенденцию сводить рабочего к его рабочему месту, игнорируя все, чем он обязан своему прошлому и что выходит за рамки его профессионального существования.

³³ «Каким образом специализирующийся рабочий-ремонтник, который обдумывает свою работу, который ее иногда любит, может упрекать капиталистический труд за то же самое, что и рабочий, в течение десяти лет прикованный к конвейеру?» (*Dubost N. Op.cit.* P. 65).

³⁴ Здесь также наблюдаются различия в степенях в зависимости от географического и социального происхождения и иммиграционного стажа. (См.: *Sayad A. Les trois «âges» de l'immigration algérienne en France // Actes de la recherche en sciences sociales*. 1977. № 15. P. 59–79).

³⁵ За внешними синдикалистскими размежеваниями часто скрываются размежевания, с которыми приходится иметь дело различным профсоюзам и которые по-разному воспринимаются и трактуются их руководителями в зависимости от собственной истории и особенно в зависимости от традиций их организаций. Нет сомнения, что восприятие и оценка как самых различных отрядов рабочего класса — в частности, пролетариата и полупролетариата, — так и их возможного вклада в революционную деятельность очень тесно зависят от позиций и социальных траекторий тех, кто, являясь интеллектуалами или активистами, обязан занимать позиции по этим проблемам, а также от их близости либо к «установившемуся» рабочему классу и его требованиям, либо к «нестойкому» рабочему классу с его бунтарством. Так что споры по поводу «обуржуазивания» рабочего класса и другие вопросы философии истории больше

говорят о тех, кто в них участвует, чем о предмете спора. (См.: *Bourdieu P. Le paradoxe du sociologue // Sociologie et sociétés. 1979. XI. № 1. P. 85–94.*)

³⁶ Руководствуясь подобной логикой, можно было бы описать отношения между рабочими и профсоюзными или политическими организациями: здесь также настоящее есть выявление двух видов прошлого, которые сами отчасти являются продуктом их прошлого взаимодействия (например, когда пытаются эмпирическим путем измерить степень осознания рабочими в каком-либо определенном обществе в данный момент времени его деления на классы или установить, какие представления они имеют относительно своего труда, своих прав, связанных с несчастными производственными случаями, увольнениями и т. д., то сталкиваются с эффектом прошлых действий профсоюзов и партий. И можно предположить, что будь история другой, она породила бы и другие представления, а в той области, где представления в огромной мере способствуют формированию реальности, и другие реальности). Иначе говоря, представления, которые они имеют об их позициях, зависят от отношения между традициями, свойственными организациям (например, их размежевания), и их диспозициями.

³⁷ Так, внезапное появление под влиянием студенческих волнений новых форм борьбы, в которых больше места отводится символическим манифестациям, ретроспективно выявило границы (даже цензурные ограничения), установленные рабочим движением, больше полагающимся на уже испытанные формы борьбы для своих отрядов.

³⁸ Здесь также следует остеречься прочтения этого процесса в чисто телеологической логике, как это делает определенная наивная, притворно-радикальная критика науки: наука не обслуживала бы так хорошо промышленность (и даже, при случае, военную промышленность), если бы все исследователи (особенно те из них, кому их высокая компетентность, т. е. их специфический капитал, позволяет и кого побуждает сохранять максимальную дистанцию в отношении внешних заказов) были непосредственно ориентированы на цели, достижению которых в конечном счете смогут служить их открытия (следует также избегать характерной для сторонников криптиократического взгляда переоценки способности руководителей рационально оценивать экономические и особенно социальные последствия взятых на вооружение открытий). Исследователи не знают и не признают других целей, кроме интереса (воспринимаемых как бескорыстные и, во всяком случае, предполагающих безразличное отношение к их возможному техническому использованию), который возникает в процессе конкуренции внутри относитель-

но автономного научно-исследовательского поля. И они могут с чистой совестью отвергать как недостойные те формы практического использования их открытий, которые становятся возможными благодаря невольному совпадению некоторых продуктов научного поля и запросов промышленности.

³⁹ Если верно, что история может пересоздать то, что историей и было создано, то все обстоит так, как если бы требовалось время для уничтожения результатов работы времени, как если бы искусственные ускорения истории, которых в лучшем случае политическая воля может добиться, добровольно усиливая те из имманентных тенденций, которые отвечают ее целям, или нейтрализуя путем насилия те из них, которые действуют в противоположном направлении, уравнивались за счет тех следов, которые ускорения оставляют в экономических и социальных структурах (тоталитарная бюрократизация) и в умах и которые, как это видно на примере СССР, оказываются тем более долговечными (и тем более зловещими даже с точки зрения декларируемых целей), чем большим было насилие. (См.: *Levin M. L'Etat et les classes sociales en URSS, 1929–1933 // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976. 1, P. 2–31.*)

⁴⁰ Эксплицитное навязывание нам истории другой страны — «наши предки — галлы» — является лишь крайним и потому карикатурным выражением куда более коварных форм навязывания чужой истории через язык, культуру, но также и через предметы, институты, моду (следовало бы проанализировать под этим углом зрения наиболее скрытые каналы распространения американского империализма).

⁴¹ *Cam P. Sociologie des Conseils de prud'hommes. Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales. Thèse de troisième cycle, 1980. Un tribunal familial, le conseil de prud'hommes.*

⁴² К ним следовало бы прибавить все те хитрости, которые производят структурные гомологии между различными полями и, в частности, всяческие двусмысленности, которым благоприятствует позиционная гомология между господствующими-подчиненными (в рамках поля господствующего класса) и подчиненными (в поле классов). Одной из наиболее показательных форм коммуникации в контексте недоразумения, которое делает возможной гомологию позиций при различии в положении, является та, что устанавливается между индивидами, хотя и принадлежащими к различным классам и тем самым глубоко разобщенными, но объединенными общностью неустойчивости их положения в своих классах, что предрасполагает их к восприимчивости и распространению трансклассовых дискурсов (например, дискурсов религиозных).

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕТИШИЗМ*¹

Аристократы интеллигенции полагают, что есть истины, о которых не следует говорить народу. Я же, социалист революционер, заклятый враг всяческой аристократии и опеки, думаю, напротив, что с народом нужно говорить обо всем. Другого средства дать ему полную свободу — нет.

М. Бакунин

Делегирование, посредством которого одно лицо, как говорят, дает власть другому лицу, перенос власти, когда доверитель разрешает доверенному лицу подписываться, действовать или говорить вместо себя, давая тому доверенность, т. е. *plena potentia agendi* (полную власть действовать за него), — это сложный акт, заслуживающий осмысления. Полновластный представитель, министр, доверенное лицо, делегат, депутат, парламентарий, официальное лицо — это те, кто имеет мандат, поручение или доверенность представлять (слово чрезвычайно полисемичное), т. е. заставлять видеть и ценить интересы какого-либо лица или группы. Но если верно, что делегировать — значит поручить кому-либо отвечать за некую функцию, миссию, передавая ему свою власть, то мы должны спросить себя: как же получается, что доверенное

* © Bourdieu P. La délégation et le fétichisme politique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1984. № 52–53. P. 49–55.

лицо может иметь власть над тем, кто ему эту власть дал? Когда действие делегирования осуществляется одним лицом в пользу другого, все более или менее ясно. Но когда одно-единственное лицо является носителем полномочий целой группы лиц, оно наделяется властью, которая может быть трансцендентной по отношению к каждому из этих доверителей. Тем самым оно становится как бы воплощением того, что последователи Дюркгейма нередко называли трансцендентностью социального.

Однако это не все. Отношение делегирования рискует скрыть суть отношения представительства и парадокс ситуации, когда некая группа может существовать только посредством делегирования частному лицу: генеральному директору, Папе и т. п., которое может действовать в качестве юридического лица, замещающего группу. Во всех этих случаях, в соответствии с формулой юристов канонического права «Церковь — это Папа», *кажется*, что группа производит человека, говорящего вместо нее и от ее имени, если мы думаем в терминах делегирования, но *в действительности* почти так же правильно будет сказать, что это официальный представитель производит группу. Представляемая и символизируемая группа существует именно потому, что существует *представитель* и обратно, именно существование группы дает возможность агенту существовать в качестве ее представителя. В этом круговом отношении можно видеть основание иллюзии, когда до определенного предела представитель может казаться другим и самому себе как *causa sui*, поскольку он является причиной того, что порождает его власть, и поскольку группа, сотворившая его как уполномоченное лицо, не существовала бы (по меньшей мере, не существовала бы в полном объеме как представительная группа), если бы не было лица, ее воплощающего.

Такой изначально круговой характер представительства не всегда понимался: его подменяли множеством вопросов, из которых самым распространенным *был* вопрос о сознательности. Неясным оставался также вопрос о политическом фетишизме и о том процессе, в ходе которого индивиды составляют группу (или составляют в группу) и при этом теряют контроль над группой, в которой

или с помощью которой они *сформировались*. Политическому присуща своего рода антиномия, состоящая в том, что индивиды не могут (причем тем в большей степени, чем более они обделены) конституироваться или быть конституированными в группу, т. е. в силу, способную заставить слушать себя, говорить и быть услышанной иначе, как отказавшись от своих прав в пользу официального представителя. Нужно постоянно идти на риск политического отчуждения для того, чтобы его избежать. (На самом деле, эта антиномия действительно существует только для тех, кто находится в подчиненном положении. Упрощая, можно было бы сказать, что господствующие существуют всегда, в то время как подчиненные — только мобилизуясь и получая инструменты представительства. Может быть, только за исключением периодов реставрации, наступающих после больших кризисов, господствующие заинтересованы в свободе действий, в независимых и изолированных стратегиях агентов, от которых требуется только быть разумными, чтобы оставаться рациональными и воспроизводить установленный порядок.)

Именно делегирование, забытое и игнорируемое, является началом политического отчуждения. Доверенные лица и министры, служители государства или культа, согласно формулировке Маркса по поводу фетишизма, есть «продукты человеческого мозга, которые представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью».² Политические фетиши суть люди, вещи, сущности, которые, кажется, обязаны своим существованием только самим себе, в то время как они получили его от социальных агентов. Доверители обожают собственные творения. Политическое идолопоклонничество заключается как раз в том, что ценность, придаваемая политическому персонажу, этому продукту человеческого мозга, кажется чудесным объективным свойством личности, ее шармом или харизмой. *Ministetium* проявляется как *mysterium*. Здесь можно было бы еще раз процитировать Маркса, конечно, *cum grano salis*³, поскольку очевидно, что

² С крупинкой соли (*lat.*), т. е. с солью остроумия, иронически или критически, с некоторой поправкой, с известной оговоркой. — *Прим. перев.*

его рассуждения о фетишизме не относились к политическому фетишизму. В том же знаменитом отрывке Маркс говорит: «У стоимости не написано на лбу, что она такое».³ Это и есть определение харизмы, в веберовском понимании, т. е. такая власть, которая имеет основание в себе самой, дар, манна и т. п.

Таким образом, делегирование — это акт, с помощью которого группа создает саму себя, обретая совокупность признаков, собственно делающих ее группой, а именно: постоянное помещение, освобожденных работников, бюро, понимаемое в самых различных смыслах и прежде всего в смысле бюрократической формы организации с печатью, штампами, подписями, передачей права подписи и т. д. Группа существует, когда располагает постоянным представительным органом, наделенным *plena potentia agendi* и *sigillum authenticum*ⁱⁱ, а следовательно, способным замещать (говорить за кого-то — значит говорить вместо) серийные группы, состоящие из разобренных и изолированных индивидов, постоянно обновляющихся, способных действовать и говорить только от своего имени. Другое действие делегирования, в значительно большей мере скрытое, к нему еще нужно будет вернуться, — это акт, посредством которого уже конституированная социальная реальность: партия, Церковь — дает мандат некоему индивиду. Я употребляю намеренно бюрократическое слово «мандат». Оно применимо и к секретарю («бюро» очень хорошо сочетается с «секретарем»), и к министру, и к генеральному секретарю, и к другим позициям. И уже не доверитель назначает своего делегата, а бюро вверяет мандат уполномоченному представителю. Я сейчас постараюсь объяснить суть этого «черного ящика»: во-первых, это означает переход от атомизированных субъектов к бюро, во-вторых, — переход от бюро к секретарю. При анализе этих двух механизмов воспользуемся моделью Церкви. Церковь, а через нее и каждый из ее членов, располагает «монополией на легитимное манипулирование средствами спасения». В этих условиях

ⁱⁱ Доказательство подлинности, аутентичности (лат.). — Прим. перев.

делегирование является актом, с помощью которого Церковь (а не просто верующие) наделяет священнослужителя полномочием действовать от своего имени.

В чем же состоит таинство богослужения? В том, что доверенное лицо оказывается способным действовать в качестве субститута группы своих доверителей, благодаря неосознанному делегированию (я говорил о нем, как о вполне осознанном, исключительно в целях ясности изложения, как принято говорить о таком артефакте, как идея общественного договора). Иначе говоря, доверенное лицо находится с группой в своего рода отношении метонимии: оно является частью группы, способной функционировать как знак вместо целой группы. Это доверенное лицо может действовать как пассивный, объективный знак, который в качестве представителя и в качестве группы *in effigie*ⁱⁱⁱ обозначает, показывает существование своих доверителей (сказать, что ВКТ^{iv} была принята в Елисейском дворце, значит сказать, что вместо означаемой вещи был принят знак). Более того, этот знак говорит и, будучи официальным представителем, может сказать, чем он является, что он делает и что представляет, и как он представляет себе, что такое представительство. И когда говорят, что «ВКТ была принята в Елисейском дворце», то хотят сказать, что все члены организации были представлены там двумя способами: самим фактом демонстрации и в виде присутствия представителя а, при необходимости — в речи представителя. Становится очевидным, что уже в самом акте делегирования заложена возможность для злоупотреблений. В той мере, в какой при делегировании доверители все чаще и чаще «подписывают незаполненный чек» на имя своего доверенного (т. к. часто не представляют, на какие вопросы тому придется отвечать), они сдают на его милость. В средневековой традиции такая вера доверителей, которые вверяли себя в руки институции, называлась *fides implicita*. Эта замечательная формулировка очень легко переносится на поли-

ⁱⁱⁱ В воображении (лат.). — Прим. перев.

^{iv} Всеобщая конфедерация труда Франции. — Прим. перев.

тику. Чем более люди обделены (особенно в культурном отношении), тем более они вынуждены и склонны верить себя доверенным лицам, чтобы получить возможность заявить о себе в политике. В самом деле, у индивидов в изолированном состоянии, молчащих и не имеющих слова, нет ни способности, ни возможности заставить слушать себя и быть услышанными. Они стоят перед выбором: либо умолкнуть, либо позволить говорить за себя.

В предельном случае групп, находящихся в подчиненном положении, акт символизации, благодаря которому определяются их официальные представители, т. е. конституируется «движение», совпадает с актом конституировать группы. Здесь знак создает означаемое явление, означающее идентифицируется с означаемым, которое не существовало бы без него, которое сводится к нему. Обозначающий — это не только тот, кто выражает и представляет означаемую группу, но и тот, благодаря кому группа *узнает*, что она существует и кто имеет возможность обеспечить ей видимое существование с помощью мобилизации. Это тот, кто при определенных условиях, благодаря власти, данной ему делегированием, может мобилизовать группу, например, на демонстрацию. Когда он говорит: «Я продемонстрирую свою способность представлять, представив людей, которых я представляю» (отсюда и вечные споры о числе манифестантов), то демонстрируя тех, кто его делегировал, официальный представитель доказывает свою легитимность. Однако он обладает властью демонстрировать демонстрантов, потому что он некоторым образом есть группа, которую демонстрирует.

Иначе говоря, можно показать, что и кадрам (как это сделал Люк Болтански), и пролетариату, и преподавателям для выхода из серийного, как говорил Сартр, существования и перехода к коллективному существованию необходимо — другого пути нет — прибегнуть к услугам представителя. Именно объективация в «движении», в «организации», посредством типичной для социальной магии *factio juris*⁷, позволяет простому *collectio personarum*

⁷ Юридической фикции (лат.). — Прим. перев.

plurium^{vi} существовать в качестве юридического лица, в качестве *социального агента*.

Я хочу привести пример, заимствованный из самой повседневной, самой обычной политической жизни, той, что ежедневно проходит у нас перед глазами. Сделаю это только, чтобы быть понятым, однако рискуя быть слишком легко понятым тем самым обычным полупониманием, что является основным препятствием на пути к истинному пониманию. Самое трудное в социологии — это научиться удивляться и недоумевать относительно вещей, которые давно считаются понятыми. Вот почему порой, чтобы действительно понять самое простое, начинать следует с самого трудного. Например, во время майских событий 1968 года неожиданно возник некий господин Бэйе, который на протяжении всех этих «дней» непрерывно выступал за интересы агреже, как президент «Общества агреже», хотя в то время это общество практически не имело социальной базы. Мы видим здесь типичный пример узурпаторства: некто пытается убедить (кого? — спросите вы. — По меньшей мере прессу, обычно признающую только представителей и только с ними имеющую дело, обрекая других на «свободный обмен мнениями»), что «за ним» стоит определенная группа, раз он может говорить от ее имени в качестве юридического лица, не будучи никем уличен во лжи. Здесь мы оказываемся перед парадоксом: узурпатор тем надежнее защищен от риска быть уличенным во лжи, чем меньше у него сторонников, а отсутствие разоблачений на деле может указывать на их полное отсутствие. Что можно противопоставить такому человеку? Можно публично протестовать, можно начать собирать подписи под петицией.

Так, когда члены коммунистической партии пытаются избавиться от бюро, они возвращаются к серийному состоянию, т. е. к положению изолированных индивидов, и вынуждены заново обзаводиться своим официальным представителем, бюро, группой для того, чтобы избавиться от представителя, бюро, группы, т. е. они обращаются к тому, против чего постоянно выступает большинство

^{vi} Собранию многих лиц (лат.). — Прим. перев.

движений, особенно социалистических, — к «фракционизму». Иначе говоря, как можно бороться против узурпации власти уполномоченными представителями? Конечно же, существуют индивидуальные ответы на любые формы подавления коллективом — *exit and voice*, как выражается Альбер Хершман: либо уход, либо протест. А можно еще создать новое общество, И если вы обратитесь к газетам того времени, то узнаете, что к 20 мая 1968 года возникло еще одно «Общество агреже» со своим генеральным секретарем, печатью, бюро и т. д. И так без конца.

Следовательно, основополагающий, в философском и политическом смысле, акт конструирования, каким представляется делегирование, есть магический акт, который позволяет простому собранию множества лиц, рядоположенным индивидам, существовать в форме фиктивного лица, *corporatio*, корпуса, мистического тела, ставшего социальным телом, которое само трансцендентно по отношению к составляющим его отдельным биологическим телам (*«corpus corporarum in corpore corporato»*).

Самоосвящение доверенных лиц

Показав, как узурпация потенциально содержится в делегировании, а факт говорить за кого-то, т. е. в его пользу и от его имени, влечет естественную склонность говорить вместо него, я хотел бы теперь остановиться на тех распространенных стратегиях, с помощью которых доверенное лицо стремится к самоосвящению. Чтобы иметь возможность отождествить себя с группой и сказать: «Я есть группа», «Я существую, следовательно, группа существует», доверенное лицо должно в некотором роде раствориться в группе, отказаться от своей личности в пользу группы, громогласно и торжественно заявить о себе: «Я существую только благодаря группе». Узурпация, осуществляемая доверенным лицом, по необходимости скромна и предполагает скромность. Без сомнения, именно поэтому все аппаратчики имеют фамильное сходство. Можно говорить о своего рода лицемерии, структурно присущем доверенному лицу, которое, чтобы

присвоить себе авторитет группы, должно идентифицировать себя с ней, свести себя к группе, дающей ему свой авторитет. Мне хотелось бы процитировать Канта, отмечавшего в «Религии в пределах только разума», что если бы Церковь основывалась на безусловной, а не на рациональной вере, то у нее были бы не «служители» (*ministri*), а «высокопоставленные функционеры» (*officiales*), которые посвящают в сан и которые, даже когда они не выступают во всем «иерархическом блеске», как, например, в протестантской церкви, и «на словах восстают против подобных претензий, тем не менее желают, чтобы их рассматривали как единственных уполномоченных толкователей Священного Писания». Они превращают тем самым «служение» (*ministerium*) Церкви в господство (*imperium*) над ее членами, хотя, для того чтобы скрыть факт узурпации, пользуются скромным званием «служителей». Таинство служения возможно только при условии, что служитель скрывает свою узурпацию и *imperium* (господство), которое она ему обеспечивает, представляясь простым и смиренным служителем. Ибо использование в личных интересах преимуществ своего положения возможно лишь в той мере, в какой агент от себя это скрывает. Это входит в само определение символической власти. Символическая власть есть власть, которая предполагает признание, т. е. не знание о факте творимого ею насилия. Следовательно, символическое насилие служителя может осуществляться лишь при условии некоторого соучастия со стороны тех, кто испытывает на себе это насилие.

Ницше очень хорошо говорит об этом в «Антихристе», в котором следует видеть критику не столько христианства, сколько доверенных лиц и делегатов, поскольку служители католического культа суть воплощение доверенного лица. Вот почему он яростно нападает на священников и их святейшее лицемерие, а также на стратегии, с помощью которых доверенные лица возводят себя в абсолют и самоосвящаются. Первый прием, которым может воспользоваться священнослужитель, состоит в том, чтобы показать свою необходимость. Кант уже упоминал о ссылках на необходимость толкования текстов и их законного прочтения. Под этим полностью подписы-

вается и Ницше: «При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным: за каждым словом встречается затруднение». ⁴ Этим Ницше хочет сказать, что для самоосвящения в качестве необходимого толкователя посредник должен создать потребность в своем продукте, а для этого ему нужно указать на трудности, с которыми только он один в состоянии справиться. Доверенное лицо производит, таким образом, — я снова цитирую Ницше — «обращение самого себя в святого». Для доказательства своей необходимости доверенное лицо прибегает также к стратегии «безличного долга». «Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий “безличный долг”, всякая жертва молоху абстракции». ⁵ Доверенное лицо — это тот, кто ставит перед собой священные задачи: «Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его жульничеству перед самим собой, этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества... сам, освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!..» ⁶

Все эти стратегии священнослужителей имеют в своей основе лицемерие (*mauvaise foi*^{vii}) в сартровском смысле слова, т. е. самообман, «святую ложь», с помощью которой священнослужитель, определяя ценность вещей, объявляет абсолютно хорошими именно те вещи, которые хороши для него. Священнослужитель, считает Ницше, — это тот, кто осмеливается «назвать “Богом” свою собственную волю». ⁷ (Мы могли бы также сказать: политик называет народом, общественным мнением, нацией свою волю.) Я вновь ссылаюсь на Ницше: «“Закон”, “воля Божья”, “священная книга”, “боговдохновение” — все это только слова для обозначения условий, при которых жрец идет к власти, которыми он поддерживает свою власть, — эти понятия лежат в основе всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства». ⁸ Этим Ницше хочет сказать, что выборные

^{vii} У Ж.-П. Сартра — это установка сознания, скрывающего от самого себя истину, самообман. — *Прим. перев.*

представители приспосабливают к своим нуждам всеобщие ценности, присваивают их, «конфискуют мораль»⁹ и завладевают таким образом понятиями Бог, Истина, Мудрость, Народ, Свобода и т. д., превращая их в синонимы... В синонимы чего? — Самих себя: «Я есть Истина». Они выдают себя за святых, освящают себя и одновременно проводят границу между собой и простыми смертными, становясь тем самым, по словам Ницше, «мерой всех вещей».

Лучше всего функция священнического смирения проявляется в том, что я назвал бы *эффектом оракула*, благодаря которому официальный представитель заставляет говорить группу, от чьего имени он выступает, говоря со всем авторитетом этого неуловимого отсутствующего: самоуничтожаясь полностью во благо Бога или Народа, священнослужитель превращает себя в Бога и Народ. Именно тогда, когда Я становлюсь Ничем, — потому что Я способен превратиться в Ничто, раствориться, забыть себя, пожертвовать собой, посвятить себя, — Я становлюсь Всем. Я только доверенное лицо Бога или Народа, но то, от имени чего Я выступаю, является Всем, и потому Я — Все. Эффект оракула — это, по существу, раздвоение личности: индивидуальная личность, «Я» самоуничтожается в пользу трансцендентного юридического лица («Я жертвую собой ради Франции»). Условием доступа к духовной власти является настоящая метанойя (*metanoia*), или превращение: обычный индивид должен умереть, чтобы вновь явиться в виде юридического лица. Умри — и стань институтом (именно это происходит при обрядах посвящения). Парадоксальным образом те, кто сделался Ничем, чтобы стать Всем, могут перевернуть это отношение и начать упрекать тех, кто остаются самими собой и выступают только от своего имени, в том, что они и фактически, и юридически являются Ничем (поскольку неспособны на Самоотречение и т. п.). Именно такое право выносить выговора и обвинять других является одной из привилегий положения активистов.

Короче говоря, эффект оракула есть один из феноменов, которые нам кажутся очень понятными — все мы слышали о Пифии, о жрецах, трактующих высказывания

оракула, — но мы не научились распознавать этот эффект в ряде ситуаций, когда кто-то говорит от имени чего-то такого, что он вызывает к жизни самим фактом своей речи. Целая серия символических эффектов, обычных для политической жизни, покоится на такого рода узурпаторском чревовещании, состоящем в том, чтобы заставить говорить тех, от чьего имени говоришь и имеешь право говорить, заставить говорить народ, от чьего имени тебе позволено говорить. Очень редко политик, произносящий слова «народ, классы, народные массы», не прибегает к эффекту оракула, т. е. к приему, смысл которого заключается в том, чтобы производить сообщение и одновременно расшифровывать его, чтобы заставить поверить, что «я — это другой», что официальный представитель, этот простой символический субститут народа, есть действительно народ, в том смысле, что все сказанное им — это правда и жизнь народа.

Узурпация, заключающаяся в факте самоутверждения своей способности говорить «от имени кого-то», — это то, что позволяет перейти от изъявительного наклонения к повелительному. Если я, Пьер Бурдьё, единственный социальный атом, находящийся в изолированном состоянии и выступающий только от своего имени, говорю: «Нужно сделать то-то и то-то... свергнуть правительство... отказаться от ракет типа “Першинг”», то вряд ли меня станут слушать. Но если я в ситуации, определенной моим официальным положением, могу выступать «от имени народных масс» или тем более «от имени народных масс, науки и научного социализма», то все меняется. Переход от изъявительного наклонения к повелительному (и последователи Дюркгейма, пытавшиеся основать мораль на науке о нравах, хорошо это чувствовали) предполагает переход от индивидуального к коллективному как основанию всякого признанного или могущего быть признанным принуждения.

Эффект оракула, являя собой крайнюю форму успешности, есть то, что позволяет уполномоченному представителю, опираясь на авторитет уполномочившей его группы, применять по отношению к каждому из ее членов легитимное принуждение, символическое насилие. Если я — человек, ставший коллективом, человек, ставший груп-

пой, и если эта группа есть группа, частью которой вы являетесь и которая вас определяет и дает вам идентичность, что, собственно, и делает вас преподавателем, протестантом, католиком и т. п., то остается только повиноваться. Эффект оракула — это эксплуатация трансцендентности группы по отношению к индивиду, осуществляемая одним из индивидов, действительно являющимся в определенном смысле группой. Возможно, это происходит потому, что никто не может встать и сказать: «Ты — не группа», иначе, как создав другую группу и добившись признания себя в качестве ее доверенного лица.

Такой парадокс монополизации коллективной истины лежит в основе любого эффекта символического принуждения: я являюсь группой, т. е. коллективным принуждением, принуждением коллектива по отношению к каждому его члену, я — человек, ставший коллективом, и одновременно я тот, кто манипулирует группой от имени самой этой группы; я ссылаюсь на группу, которая разрешает мне осуществлять по отношению к ней принуждение. (Насилие, заключенное в эффекте оракула, нигде так сильно не ощущается, как в ситуациях собраний — в ситуациях типично еkkлeзиастических, когда уполномоченные в обычном порядке представители, а в кризисных ситуациях сами себя уполномочившие профессиональные представители, — получают возможность говорить от имени всей собравшейся группы. Это насилие проявляется в почти физической невозможности диссидентских, расходящихся с другими выступлений против принудительного единодушия, обеспечиваемого монополией на выступления, и такими техническими приемами достижения единогласия, как голосование поднятием руки или манипулирование резолюциями.)

Следовало бы провести лингвистический анализ такой двойной игры и риторических стратегий, с помощью которых находит свое выражение структурное лицемерие официальных представителей, в частности, постоянный переход от «мы» к «я». В области символического силовые приемы переводятся в *формальные приемы*. При условии, что мы знаем это, лингвистический анализ может стать инструментом политической критики, а ритори-

ка — наукой о символической власти. Когда аппаратчик хочет применить символический силовой прием, то он с «я» переходит на «мы». Он не говорит: «Я считаю, что вы, социологи, должны изучать рабочих», но: «Мы считаем, что вы должны...» или: «Социальный заказ диктует...». Следовательно, «я» доверенного лица, его частный интерес должен прятаться за интересом, исповедуемым группой, и доверенное лицо должно «универсализировать свой частный интерес», как говорил Маркс, для того чтобы представить его как групповой. В более общем виде, использование *абстрактного* языка, характерных для политической риторики громких абстрактных слов, пустословие абстрактной доблести, которые, как это хорошо подметил еще Гегель, порождают фанатизм и терроризм якобинского толка (достаточно почитать переписку Робеспьера с ее ужасной фразеологией), — все это характерно для логики двойной игры, лежащей в основе — с субъективной и объективной точек зрения — легитимной узурпации, совершаемой доверенными лицами.

Возьмем в качестве примера споры вокруг народного творчества. (Меня немного беспокоит, насколько понятно то, о чем я говорю, что, очевидно, отражается на изложении.) Вы знаете о бесконечных спорах о народном и пролетарском искусстве, о социалистическом реализме, народной культуре и т. д. — спорах типично теологических, в которые социология не может включиться, не попав в ловушку. Почему? Да потому, что это исключительно благодатная почва для только что описанного мной эффекта оракула. Например, то, что называют социалистическим реализмом, в действительности является продуктом типичной подмены, когда частное «я» политических доверенных лиц, «я» второразрядного мелкобуржуазного интеллигента, добивающегося порядка во всем и прежде всего в том, что касается высоких интеллектуалов, универсализирует себя, «самоучреждаясь» в народ.

Простейший анализ социалистического реализма мог бы показать: нет ничего народного в том, что в действительности является лишь формализмом или даже академизмом, основанным на весьма абстрактных аллегорических иллюстрациях, например, «трудящегося» и т. д.

(даже если это искусство, по-видимому, и отвечало — хотя и очень поверхностно — потребности народа в реализме). Если это формалистское и мелкобуржуазное искусство, будучи весьма далеким от народа и содержащим *его отрицание* (изображая его обнаженным по пояс, мускулистым, загорелым, устремленным в будущее и т. д.), и выражало что-либо, то это была социальная философия и бессознательный мелкобуржуазный идеал аппаратчиков, скрывавший их реальный страх перед реальным народом, идентифицируя его с идеализированным народом с факелом в руке, светочем человечества... То же самое можно было бы продемонстрировать на примере «народной культуры». Все это — типичные случаи *подмены субъекта*. Духовная власть — именно это хотел показать Ницше — священнослужители, Церковь, а также аппаратчики всех стран подменяют видение мира той группы, выразителями которой они себя считают, собственным мировоззрением (деформированным под воздействием их *libido dominandi*). Сегодня народом пользуются так же, как в былые времена пользовались Богом для сведения счетов между духовными лицами.

Гомология и эффекты непризнания

Однако необходимо также задаться вопросом, почему несмотря ни на что удаются все эти стратегии двойной игры? Как получается, что эта игра доверенных лиц остается незамеченной? Здесь необходимо понять то, что составляет суть таинства служения, т. е. «легитимное самозванство». Речь идет не о том, чтобы, отказавшись от наивного представления о преданном доверенном лице, бескорыстном деятеле, преисполненном чувства самоотречения руководителе, впасть в другую крайность — принять представление о доверенном лице как о сознательном и целеустремленном узурпаторе. Такое видение священнослужителя, характерное для XVIII века (Гельвеция и Гольбаха, например), весьма наивно при всей его кажущейся ясности. Ибо легитимное самозванство только потому и оказывается успешным, что узурпатор — не расчетливый циник, сознательно обманывающий народ,

а человек, совершенно искренне принимающий себя за нечто другое, чем он есть.

Один из механизмов, с помощью которого узурпация и двойная игра осуществляются в полной невинности, если можно так выразиться, и совершенно искренне, заключается в том, что интересы доверителей и доверенного лица в большинстве случаев в существенной мере совпадают. В силу этого доверенное лицо может верить и убеждать других, что у него нет иных интересов, кроме интересов своих доверителей. Чтобы это объяснить, я вынужден несколько отклониться в сторону и заняться более сложным анализом. Существует политическое поле (так же, как существуют, например, пространство религии, искусства и др.), т. е. автономный универсум, пространство игры, в котором играют по своим особым правилам, и люди, включенные в эту игру, имеют, соответственно, специфические интересы, определенные не самими доверителями, а логикой игры. Такое политическое пространство имеет, так сказать, правую и левую стороны, доминирующих и доминируемых. Более общее социальное пространство также имеет своих доминирующих и доминируемых, т. е. богатых и бедных. Оба эти пространства соотносятся друг с другом. Между ними существует гомология. Это означает, что *grosso modo* тот, кто занимает в одной игре позицию слева — «а», находится по отношению к тому, кто занимает позицию справа «b», в таком же положении, в каком тот, кто занимает в другой игре позицию слева «А», находится по отношению к тому, кто занимает позицию справа — «В». Когда у «а» появляется желание напасть на «b», чтобы свести с ним специфические счета, он действует в своих интересах, определенных особой логикой конкуренции внутри политического поля, но вместе с тем он оказывает услугу «А». Это структурное совпадение специфических интересов доверенных лиц и доверителей лежит в самой основе таинства искреннего и успешного служения. Люди, которые хорошо служат интересам своих доверителей, тем самым хорошо служат и себе.

Если я говорю об интересах, то потому, что данное понятие выполняет функцию разрыва: оно позволяет раз-

рушить идеологию незаинтересованности — эту профессиональную идеологию служителей всякого рода. У людей, участвующих в религиозных, интеллектуальных или политических играх, есть свои специфические интересы, которые являются общезначимыми (как бы ни отличались, например, интересы генеральных директоров, ведущих свою игру в экономическом поле, от интересов других агентов). Все эти интересы символического характера — не потерять лица, не лишиться избирательного округа, заставить замолчать соперника, одержать верх над враждебным «течением», получить пост председателя и т. д. — таковы, что, служа и подчиняясь им, исполнителям, как нередко оказывается, служат и своим доверителям (разумеется, бывают и исключения, когда интересы доверенных лиц вступают в конфликт с интересами доверителей). Тем не менее гораздо чаще, чем можно было бы ожидать, будь все случайным или зависящим от чисто статистических законов агрегации индивидуальных интересов, случается так, что в силу гомологии исполнители, подчиняясь тому, что от них требует их позиция в игре, служат и людям, которым они призваны служить. Эффект метонимии позволяет универсализировать частные интересы аппаратчиков и отождествить интересы доверенных лиц с интересами доверителей, которых первые призваны представлять. Главная заслуга этой модели состоит в показе того, что доверенные лица не являются циниками (или, во всяком случае, в гораздо меньшей степени и значительно реже, чем можно было бы ожидать), а сами искренне вовлечены в игру и действительно верят в то, что делают.

Часто доверители и доверенные лица, клиенты и производители находятся в отношениях структурной гомологии. Это относится и к интеллектуальному полю, и к полю журналистики. Так, например, в силу того, что журналист из «Нувель обсерватер» находится в таком же отношении к журналисту из «Фигаро», в каком читатель «Нувель обсерватер» находится по отношению к читателю «Фигаро», то когда этот журналист не отказывает себе в удовольствии свести счеты с журналистом из «Фигаро», он доставляет удовольствие и читателю «Нувель

обсерватер», не стремясь при этом ему угодить. Это очень простой механизм, но им опровергается обычное представление об идеологической деятельности как о заинтересованном служении и раболепии, как о корыстном подчинении одной функции: журналист из «Фигаро» не является платным писакой на службе у епископата или лакеем капитализма и т. д. Он прежде всего журналист, который, в зависимости от конкретного момента, отдает предпочтение то «Нувель обсерватер», то «Либерасьон».

Уполномоченные лица аппарата

До сих пор я делал упор на отношениях между доверителями и доверенными лицами. Теперь мне необходимо рассмотреть отношения между корпусом доверенных лиц, или аппаратом, имеющим собственные интересы и, как говорил Вебер, «собственные тенденции», в частности, тенденцию к самовоспроизводству, и отдельными доверенными лицами. Когда корпус доверенных лиц, корпус священнослужителей, партия и т. д. отстаивают собственные тенденции, то интересы аппарата превалируют над интересами отдельных доверенных лиц, которые в силу этого перестают быть ответственными перед лицом своих доверителей и становятся ответственными перед аппаратом. С этого момента без знания аппарата уже невозможно понять особенности доверенных лиц и их практику.

Основополагающий закон деятельности бюрократического аппарата гласит: аппарат дает все (в том числе и власть над самим аппаратом) тем, кто также отдает ему все и ждет от него всего, потому что вне аппарата такие люди не имеют ничего или почти ничего. Выражаясь более грубым языком, аппарат дорожит больше всего теми, кто больше всего дорожит им, потому что именно они больше всего от него зависят. Зиновьев, хорошо понявший это, что неудивительно, но все же остававшийся в плену ценностных суждений, писал: «Основа успеха Сталина заключается в том, что он был исключительной посредственностью». Здесь он едва не сформулировал закон. Имея в виду аппаратчиков, он в другом месте говорит об

их «исключительно незначительной, но оттого и непобедимой силе». Все это — очень красивые, но отчасти ошибочные формулировки, потому что политический настрой, составляющий их прелесть, мешает рассматривать действительность такой, какая она есть (что вовсе не означает принятие ее). Именно моральное возмущение мешает понять, почему успехов в аппарате добиваются те, кто, с точки зрения харизматической интуиции, воспринимаются как наиболее глупые и заурядные, не представляющие сами по себе никакой ценности. На самом деле они добиваются успеха вовсе не потому, что заурядны, а потому, что у них вне аппарата нет ничего, что им позволило бы решиться на какие-либо вольности в отношении этого аппарата, пойти на какие-либо уловки.

Таким образом, существует определенная и отнюдь не случайная структурная общность между аппаратом и некоторой категорией людей, характеризующихся главным образом негативно, как совершенно лишенные особенностей, обладание которыми могло бы вызвать интерес в какой-то момент времени в определенном поле. Выражаясь более нейтрально, аппарат обычно признает людей надежных. Почему? Потому что у них нет ничего, что они могли бы противопоставить аппарату.

Так, во французской компартии в 50-е годы и в Китае времен «культурной революции» молодежь часто служила символическими церберами или сторожевыми псами. Следовательно, молодые — это не только энтузиазм, наивность, убежденность, — все то, что обычно связывают с молодостью. С моей точки зрения, молодежь — это прежде всего те, у кого ничего нет. Это — новички, которые входят в поле, не имея капитала. И в глазах аппарата они являются пушечным мясом в борьбе со старыми кадрами, которые, постепенно обзаведясь капиталом, — либо с помощью партии, либо самостоятельно, используют его против партии. Тот же, у кого ничего нет, беспрекословен. Он тем меньше склонен к оппозиции, чем больше дает ему аппарат, в зависимости от его сговорчивости и безвестности. Именно благодаря этому в 50-е годы какой-нибудь двадцатипятилетний интеллигент, являясь уполномоченным аппарата, мог иметь *ex officio* такую чита-

тельскую аудиторию, на какую смели рассчитывать разве только самые именитые интеллектуалы, да и то, так сказать, за авторский счет.

Такого рода железный закон аппаратной жизни тесно связан с другим важным процессом, о котором я хотел бы упомянуть. Это так называемый эффект бюро. Сошлюсь на анализ процесса большевизации, проведенный Марком Ферро. В начале русской революции в местных советах, заводских комитетах, т. е. в спонтанно складывавшихся группах, могли участвовать все, и все могли свободно говорить и т. д. Но потом, с назначением освобожденных работников, люди стали приходить все реже. Институционализация (советов), воплощенная в таких работниках и в бюро, все перевернула: бюро стали стремиться монополизировать власть, число участников собраний стало сокращаться. Бюро *созывали* собрания, а участвующие использовались, во-первых, для того чтобы продемонстрировать представительность своих представителей и, во-вторых, чтобы *утвердить* их решения. Освобожденные работники начали упрекать рядовых членов за то, что они недостаточно часто посещали собрания, где им отводилась такая роль.

Такой процесс концентрации власти в руках доверенных лиц есть в некотором роде историческое осуществление того, что описывается теоретической моделью процесса делегирования. Люди собираются, разговаривают. Потом появляются освобожденные работники, и люди начинают приходить реже. Потом появляется бюро, с их особой компетенцией и специфическим языком. (Здесь можно указать на бюрократизацию научно-исследовательской деятельности: есть научные сотрудники и есть научные администраторы, призванные обслуживать научных сотрудников. Исследователи не понимают бюрократического языка: «исследовательский пакет», «приоритет», так же как им непонятен современный технократически-демократический язык «социального заказа». В один прекрасный момент исследователи перестают приходить на разного рода встречи, и тогда администраторы возмущаются их отсутствием. Остаются лишь те, у кого есть свободное время. И последствия этого можно наблю-

дать. Постоянный (или освобожденный) работник, как видно из самого названия, — это тот, кто посвящает все свое время тому, что для других является побочной или, по крайней мере, временной деятельностью. А у него есть время, ему некуда спешить. Он способен растворить в медленно текущем бюрократическом времени, в повторах, пожирающих время и энергию, любые пророческие, т. е. прерывные устремления. Именно так доверенные лица накапливают власть, развивают специфическую идеологию, основанную на парадоксальном переворачивании отношений с доверителями, которые обвиняются в абсентизме, некомпетентности, безразличии к коллективным интересам, не видя, что все это является продуктом концентрации власти в руках постоянных работников. Мечтой всех освобожденных работников является аппарат без социальной базы, без верных сторонников, без активистов... У них есть постоянство, противостоящее сбоем непрерывности, у них есть специфическая компетентность, собственный язык, свойственная им особая культура — культура аппаратчиков, основанная на собственной истории, истории их «малых дел». (Грамши говорил об этом как-то: «Мы ведем византийские споры, у нас конфликты тенденций, течений, в которых никто ничего не понимает».) Наряду с этим существует специфическая социальная технология: эти люди становятся профессионалами манипулирования одной-единственной ситуацией, которая может доставить им неприятности, а именно ситуацией конфронтации со своими доверителями. Они умеют манипулировать генеральными ассамблеями, трансформировать голосование в бурные овации и т. п. При этом в их пользу работает сама социальная логика, поскольку (нужно много времени, чтобы объяснить все это) им достаточно ничего не делать, чтобы все шло в соответствии с их интересами, и власть их часто заключается в произвольном выборе ничего не предпринимать и ничего не выбирать.

Становится понятным, что главное здесь — это такая переоценка ценностей, которая, в пределе, позволяет превратить оппортунизм в самоотверженность активиста. Существуют посты, привилегии, люди, получающие

их. Совершенно не чувствуя себя виноватыми за преследование собственных интересов, они говорят, что заняли эти посты не для себя, а для Партии или Дела. Желая сохранить эти посты за собой, они ссылаются на общее правило, согласно которому завоеванные должности не покидают. Они называют капитулянством и преступным диссидентством любые проявления этической щепетильности в вопросе о власти.

Итак, можно говорить о своего рода самоосвящении, или теодицее, аппарата. Он всегда прав (и самокритика индивидов является последним средством против постановки под вопрос самого аппарата). Переоценка ценностей с якобинской экзальтацией как всего политического, так и политического служения, приводит к тому, что политическое отчуждение, о котором я говорил вначале, перестает восприниматься и, наоборот, священническое видение политики навязывается до такой степени, что начинает вызывать ощущение вины у тех, кто не занимается политическими играми. Иначе говоря, нас заставили так глубоко усвоить представление, согласно которому не быть активистом, не участвовать в политике — значит быть несколько ущербным, что нам остается только вечно искупать свою вину. Поэтому последнюю политическую революцию — революцию против сословия политиков и против потенциально содержащейся в акте делегирования узурпации — еще только предстоит совершить.

Примечания

¹ Выступление в Ассоциации студентов-протестантов (Париж, 7 июня 1983 г.).

² Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Собр. соч. Т. 23. С. 82.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Там же. С. 84.

⁴ Ницше Ф. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 668.

⁵ Там же. С. 639.

⁶ Там же. С. 639–640.

⁷ Там же. С. 673.

⁸ Там же. С. 682–683.

⁹ Там же. С. 669.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Элементы теории политического поля*

Памяти Жоржа Опта¹

Замалчивание условий, ставящих граждан тем жестче, чем более они обделены экономически и культурно, перед альтернативой либо отказываться от своих прав, прибегая к абсентеизму, либо лишаться прав посредством их делегирования, для «политической науки» означает то же, что для экономической науки замалчивание экономических и культурных условий «рационального» экономического поведения. Чтобы избежать натурализации социальных механизмов, которые производят и воспроизводят разрыв между «политически активными» и «политически пассивными агентами»,¹ и превращения в вечные законы исторических закономерностей, действительных лишь в пределах определенного состояния структуры распределения капитала и, в частности, культурного капитала, необходимо помещать в основу всякого анализа

* © Bourdieu P. La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1981. № 36–37. P. 3–24.

¹ Жорж Опт (Haupt, Georges), 1928–1978. Историк, социолог, учился в Ленинграде и Париже, преподавал в США, был руководителем семинара в Высшей школе социальных наук в Париже; основатель и директор Социалистической библиотеки, руководитель ее коллекции. — *Прим. перев.*

политической борьбы экономические и социальные детерминанты разделения политического труда.

Политическое поле, понимаемое одновременно как поле сил и поле борьбы, направленной на изменение соотношения этих сил, которое определяет структуру поля в каждый данный момент, не есть государство в государстве: влияние на поле внешней необходимости дает о себе знать посредством той связи, которую доверители, в силу своей дифференцированной отдаленности от средств политического производства, поддерживают со своими доверенными лицамиⁱⁱ, а также посредством связи, которую эти последние в силу их диспозиций поддерживают со своими организациями. Из-за неравного распределения средств производства того или иного четко сформулированного представления о социальном мире политическая жизнь может быть описана в логике спроса и предложения: политическое поле — это место, где в конкурентной борьбе между агентами, которые оказываются в нее втянутыми, рождается политическая продукция, проблемы, программы, анализы, комментарии, концепции, события, из которых и должны выбирать обычные граждане, низведенные до положения «потребителей» и тем более рискующие попасть в впросак, чем более удалены они от места производства.

Монополия профессионалов

Не возвращаясь здесь к анализу социальных условий конституирования социальной и технической компетентности, необходимой для активного участия в «политике»,² следует напомнить тем не менее, что эффект от препят-

ⁱⁱ Доверитель — доверенное лицо (*mandant — mandataire*), лица, связанные друг с другом посредством мандата (от *mandatum* (лат.) — поручение), т. е. контракта, с помощью которого человек, называемый доверителем, дает другому человеку, называемому доверенным лицом, полномочия действовать от его имени. В статье эти юридические термины используются применительно к политически пассивным (доверители) и политически активным (доверенные лица) агентам. — Прим. перев.

ствий морфологического характера (размер политических объединений и численность граждан противодействуют всякой форме прямого управления) в определенной степени усиливается эффектом от невладения экономическим и культурным капиталом. Концентрация политического капитала в руках малого числа людей встречает тем меньшее сопротивление и, следовательно, тем более возможна, чем чаще простые члены партий лишены материальных и культурных инструментов, необходимых для активного участия в политике, а именно *свободного времени и культурного капитала*.³

В силу того, что продуктами, предлагаемыми политическим полем, являются инструменты восприятия и выражения социального мира (или, если угодно, принципов дифференцированного видения деления), распределение мнений среди определенного населения зависит от состояния наличных инструментов восприятия и выражения и от доступа, который имеют к этим инструментам различные группы. Это означает, что политическое поле выполняет функцию своего рода цензуры, ограничивая универсум политического выступления — и тем самым универсум политически мыслимого — конечным пространством выступлений, способных быть произведенными и воспроизведенными в пределах политической *проблематики* как пространства принятия позиций, фактически реализуемых в поле, т. е. социологически возможных, исходя из законов, регулирующих вхождение в поле. Граница между тем, что является политически выразимым или невыразимым, мыслимым или немыслимым для какого-либо класса непосвященных определяется через отношение между выраженными интересами этого класса и способностью выразить эти интересы, которую ему обеспечивает его позиция в отношениях культурного и тем самым политического производства. «Намерение, — замечает Витгенштейн, — воплощается в самой ситуации, в обычаях и человеческих институтах. Если бы не существовало техники игры в шахматы, не могло бы сформироваться мое *намерение* играть в шахматы. Если я могу заранее замышлять конструкцию какой-либо фразы, то это потому, что я могу разговаривать на соответствующем язы-

ке».⁴ Политическая интенция конституируется лишь в соответствии с определенным состоянием политической игры, точнее, универсума методов действия и выражения, им предоставляемых в определенный момент времени. В этом случае, как и в других, переход от имплицитности к эксплицитности, от субъективного впечатления к объективному выражению, к публичному проявлению в ходе выступления или коллективной акции конституирует собой акт *институционализации* и тем самым представляет собой форму официального признания, легитимации: неслучайно, как отмечает Бенвенист, все слова, связанные с правом, имеют корень, который означает «говорить». И институция, понимаемая как то, что уже институировано, эксплицировано, производит одновременно эффект содействия и подтверждения законности и в то же время — ограничения и лишения прав. Принимая во внимание, что, по крайней мере, за исключением кризисных периодов, производство политически действенных и легитимных форм восприятия и выражения является монополией профессионалов и, соответственно, подчиняется требованиям и ограничениям, свойственным функционированию политического поля, мы видим, что последствия цензовой логики, которая фактически управляет доступом к выбору предлагаемых политических продуктов, усиливаются эффектом олигополитической логики, которая управляет их предложением. Монополия производства, предоставленная корпусу профессионалов, т. е. малому числу производственных объединений, в свою очередь контролируемыми профессионалами; принуждение, довлеющее над выбором потребителей, которые тем полнее подвержены безусловной *преданности* известным ярлыкам и безоговорочному делегированию прав своим представителям, чем более они лишены социальной компетентности в политике и инструментов, необходимых для производства политических выступлений и акций, — все это делает рынок политики несомненно одним из наименее свободных рынков.

Пути рынка тяготеют прежде всего над членами подчиненных классов, у которых нет иного выбора, кроме отказа от прав или самоотречения в пользу партии, этой перманентной организации, которая должна создавать

представление о непрерывности класса, всегда стоящего перед опасностью впасть в прерывность атомизированного существования (с уходом в частную жизнь и поиском путей личного спасения) или в ограниченность борьбы за сугубо частные цели.⁵ Это приводит к тому, что они в значительно большей степени, чем члены доминирующих классов, которые могут удовлетворяться ассоциациями, группами давления или партиями-ассоциациями, испытывают необходимость в партиях как *перманентных* организациях, ориентированных на завоевание власти и предлагающих своим активистам и избирателям не только доктрину, но и *программу* идей и действий и требующих, как следствие, глобальной и предвосхищающей приверженности. Как отмечает Маркс в «Нищете философии», зарождение социальной группы можно отсчитывать с того момента, когда члены ее представительных групп начинают бороться не только в защиту экономических интересов доверителей, но и в защиту и за развитие самой организации. Но как не видеть, что если существование какой-либо перманентной организации, относительно независимой от корпоративистских и конъюнктурных интересов, является условием перманентного и чисто политического *представления* о классе, то она же содержит в себе угрозу лишения прав для «любых» рядовых членов класса? Антиномия «установленного революционного порядка», как говорил Бакунин, совершенно совпадает с антиномией реформаторской церкви, как ее описывает Трельч. *Fides implicita*, полное и глобальное делегирование полномочий, посредством которого самые обездоленные массово предоставляют выбранной ими партии своего рода неограниченный кредит, позволяет свободно развиваться механизмам, стремящимся лишить их всякого контроля над аппаратом. В результате это приводит к тому, что, по странной иронии, концентрация политического капитала нигде не бывает столь высокой, за исключением противоположного случая намеренного (и маловероятного) вмешательства, как в партиях, которые ставят своей целью борьбу против концентрации экономического капитала.

Доминирующие лица в партии, чьи интересы так или иначе связаны с существованием и устойчивостью этой

институции и со специфическими прибылями, которые она обеспечивает, находят в свободе, предоставляемой им монополией на производство и навязывание *институционализированных политических интересов*, возможность под видом интересов своих доверителей выставить интересы своих доверенных лиц. При этом ничто не может служить полным доказательством, что таким образом универсализированные и облеченные в плебисцитную форму интересы доверенных лиц не совпадают с невыраженными интересами доверителей, поскольку первые обладают монополией на инструменты производства политических (т. е. политически выраженных и признанных) интересов вторых. В бунте против двойного бессилия — перед политикой, всеми предлагаемыми ею чисто серийными мероприятиями, и перед политическим аппаратом — коренится не что иное, как форма активного абсентеизма, иначе говоря, аполитичность, которая зачастую принимает форму антипарламентаризма и может обернуться любыми формами бонапартизма, буланжизма и голлизма, в основе своей являясь неприятием монополии политиков и политическим эквивалентом тому, чем в прежние времена было религиозное восстание против монополии священнослужителей.

Компетентность, ставки и специфические интересы

В политике, как и в искусстве, экспроприация прав большинства соотносится и даже является следствием концентрации собственно политических средств производства в руках профессионалов, которые могут рассчитывать на успех в собственно политической игре лишь при условии, что обладают специфической компетентностью. Действительно, нет ничего менее естественного, чем способ мышления и действия, требуемый для участия в политическом поле: так же, как и религиозный, художественный или научный габитус, габитус политический предполагает специальную подготовку.

Прежде всего это, конечно, все необходимое обучение для получения целого блока специфических знаний (те-

орий, проблематики, понятий, исторических традиций, экономических данных и т. д.), созданных и накопленных в ходе политической работы профессионалов настоящего и прошлого, а также более общие способности, такие как владение определенным языком и определенной политической риторикой, риторикой *трибуна*, необходимой в отношениях с непосвященными, или риторикой *debater*ⁱⁱⁱ, необходимой в отношениях с профессионалами. Но, прежде всего, это также и своего рода *инициация* с ее испытаниями и обрядами посвящения, которые стремятся привить *практическое владение* логикой, имманентной политическому полю, и внушить действительное *подчинение* ценностям, иерархиям и цензурам, свойственным данному полю, и специфической форме, в которую его давление и контроль облакаются внутри каждой партии. Это значит, что для того, чтобы полностью понять политические выступления, которые предлагаются на рынке в данный момент и совокупность которых определяет универсум того, что может мыслиться или выражаться политически в противоположность тому, что отбрасывается как немислимое или невыразимое, следовало бы проанализировать весь процесс производства профессионалов идеологического производства, начиная с маркировки, производимой в зависимости от зачастую имплицитного определения желательной компетентности, которая предназначает их для этих функций, а также общего и специального образования, которое готовит профессионалов к их исполнению, и кончая непрерывным нормирующим воздействием. Последнее на них оказывают старшие члены группы, действуя сообща, в частности, когда вновь избранные включаются в какую-либо политическую инстанцию, куда они могли бы привнести искренность речей и свободу поведения, губительные для правил игры.

Лишение прав, коррелируемое с концентрацией средств производства, выступлений или действий, общественно признанных в качестве политических, непрерывно возрастало по мере того, как поле идеологического производства завоевывало свою автономию в результате появле-

ⁱⁱⁱ участник дебатов, спорщик (англ.).

ния крупных политических бюрократий освобожденных профессионалов, а также институций (во Франции, например, Высшая школа политических наук и Национальная школа администрации), в чьи обязанности входят селекция и подготовка профессиональных создателей схем осмысления и выражения социального мира, политических деятелей, политических журналистов, высокопоставленных чиновников и т. д. и одновременно кодификация *правил* функционирования поля идеологического производства, а также набора знаний и умений, необходимых для того, чтобы им следовать. «Политическая наука», которая преподается в специально предназначенных для этой цели институциях, есть *рационализация* компетентности, которой требует универсум политики и которой профессионалы владеют на практике: она имеет целью повысить эффективность этого практического мастерства, предоставляет в его распоряжение рациональные техники, такие, как опросы общественного мнения, наука по связям с общественностью или политический маркетинг, в то же время она стремится легитимировать это мастерство, сообщая ему внешние признаки научности и институлируя политические вопросы в специализированные проблемы, браться за которые во имя знания, а отнюдь не классового интереса, надлежит специалистам.

Автономизация поля идеологического производства сопровождается, конечно, установлением права на вход в это поле и, в частности, ужесточением требований в отношении общей и даже специальной компетентности (что позволяет объяснить увеличение — за счет простых активистов — веса профессионалов, подготовленных в системе образования и даже в специализированных вузах — Высшей школе политических наук и Национальной школе администрации).⁶ Совершенно очевидно, что автономизация сопровождается также усилением влияния внутренних законов политического поля и, в частности, конкуренции между профессионалами по сравнению с воздействием прямых или косвенных соглашений, между профессионалами и непосвященными.⁷ Это означает, что для понимания какой-либо политической позиции, программы, заявления, предвыборного выступления и т. д.,

по крайней мере столь же важно знать универсум конкурирующих политических позиций, предлагаемых полем, как и требования мирян, за выбор позиции которых отвечают назначенные доверенные лица («база»). Выработка позиции — выражение говорит само за себя — это акт, который приобретает смысл лишь соотносительно, с помощью и через различие, *отличительный разрыв*. Искушенный политик — это тот, кто сумел практически овладеть объективным смыслом и социальным эффектом выработки своих позиций, благодаря достигнутому им овладению пространством выработки существующих и потенциальных позиций или, точнее, принципом выработки этих позиций, а именно пространства объективных позиций в поле и диспозиций тех, кто их занимает: это «практическое чутье» возможных и невозможных, вероятных и невероятных позиций, выработанных различными держателями различных позиций, и позволяет опытному политику «выбирать» среди принятых приемлемых и заранее оговоренных позиций и избегать «компрометирующих» позиций, которые столкнули бы его с теми, кто занимает противоположные позиции в пространстве политического поля. Это же чутье политической игры, позволяющее политикам предвидеть позиции других политиков, делает также и их самих предвидимыми для коллег. Предвидимыми и, следовательно, ответственными в значении английского *responsible*, т. е. компетентными, серьезными, надежными, одним словом, готовыми с постоянством, без сюрпризов и шулерства, играть ту роль, которая им предписана структурой игрового пространства.

Именно эта основополагающая приверженность самой игре, *illusio, involvement^{iv}, commitment^v* представляется абсолютным требованием политической игры, инвестированием в игру, которое является результатом и в то же время условием функционирования игры. Перед угрозой исключения из игры и потери прибылей, которые из нее извлекаются, идет ли речь о простом удовольствии, по-

^{iv} вовлеченность (англ.).

^v обязательство (англ.).

лучаемом от игры, или о всех материальных и символических преимуществах, связанных с владением символическим капиталом, все те, кто имеет *привилегию* осуществлять инвестиции в игру (а не быть низведенным до индифферентности и апатии, аполитичности), вступают в негласный договор, который предполагается в самом факте участия в игре, в признании ее тем самым *стоящей того*, чтобы в нее играли, и которая объединяет всех участников с помощью своего рода *изначального сговора* значительно сильнее, чем все официальные или секретные соглашения. Эта солидарность всех посвященных, связанных между собой одинаковой основополагающей приверженностью игре и ставкам, одинаковым уважением (*obsequium*) к самой игре и к неписаным правилам, ее определяющим, и одинаковым основополагающим инвестированием в игру, монополией на которую они обладают и которую им необходимо продлевать, чтобы обеспечить рентабельность своих вложений, наиболее очевидным образом проявляется, когда игра как таковая оказывается под угрозой.

Двойная игра

Борьба, которая противопоставляет профессионалов, является, конечно, формой *par excellence* символической борьбы за сохранение или трансформацию социального мира посредством сохранения или трансформации видения социального мира и принципов видения деления этого мира, точнее, борьбы за сохранение и трансформацию установившегося деления на классы путем трансформации или сохранения систем классификации, которые являются его инкорпорированной формой, и институций, способствующих продлению действующей классификации путем ее легитимации.⁸ Социальные условия для возможности борьбы обнаруживаются в специфической логике, согласно которой в каждой социальной формации организуется собственно политическая игра, в которой разыгрываются, с одной стороны — монополия разработки и распространения принципа легитимного разделения социального мира и тем самым мобилизации групп, а с

другой — монополия применения объективированных инструментов власти (объективированный политический капитал). Таким образом, она принимает форму борьбы за чисто символическую власть направлять взгляды и веру, предсказывать и предписывать, внушать знание и признание, что неотделимо от борьбы за власть над «органами государственной власти» (государственной администрацией). В парламентских демократиях борьба за завоевание расположения граждан (за их голоса, их взносы и т. п.) является также борьбой за поддержание или переустройство *распределения власти над органами государственной власти* (или, если угодно, за монополию легитимного использования объективированных политических ресурсов, права, армии, полиции, государственных финансов и т. п.). Агентами *par excellence* этой борьбы выступают партии — боевые организации, специально предназначенные вести эту *сублимированную форму гражданской войны, постоянно мобилизуя* посредством предписывающих прогнозов максимально возможное число агентов, обладающих единым видением социального мира и его будущего. Для того чтобы обеспечить эту продолжительную мобилизацию, партии должны, с одной стороны, разработать и навязать представление о социальном мире, способное завоевать приверженность как можно большего числа граждан, и, с другой стороны, завоевать посты (властные или нет), обеспечивающие власть над теми, кому эти посты предоставлены.

Таким образом, производство идей о социальном мире в действительности всегда оказывается подчиненным логике завоевания власти, которая является властью мобилизации наибольшей численности. Отсюда, без сомнения, то исключительное значение, которое придается при выработке легитимного представления религиозно-культовому способу производства, согласно которому предложения (резолуции, платформы, программы и т. п.) подлежат немедленной апробации определенной группой и, следовательно, могут быть навязаны лишь профессионалами, умеющими манипулировать одновременно идеями и группами, вырабатывать идеи, способные создавать группы, манипулируя этими идеями так, чтобы обеспе-

чить приверженность им группы (с помощью, например, митинговой риторики или владения всей совокупностью техники выступлений, изложения, манипулирования собранием, что позволяет «протолкнуть» постановление, не говоря уже о владении процедурами и способами, которые, как, например, игра с количеством *мандатов*, непосредственно контролируют само создание группы).

Было бы ошибочно недооценивать автономию и специфическую эффективность всего того, что входит в политическое поле, и сводить собственно политическую историю к некоему эпифеноменальному проявлению экономических и социальных сил, своего рода марионетками которых якобы являются политические деятели. Это значило бы не только игнорировать чисто символическую эффективность представления и ту мобилизующую веру, которую оно вызывает благодаря своему свойству объективации, но и упустить из виду чисто политическую власть *правительства*, которое, как бы оно ни зависело от экономических и политических сил, может само оказывать реальное влияние на эти силы, воздействуя на инструменты управления вещами и людьми.

Сравнивать политическую жизнь с театром возможно лишь при условии, что отношение между партией и классом, между борьбой политических организаций и борьбой классов мыслится как чисто символическое отношение между обозначающим и обозначенным, точнее, между *представителями*, дающими представление, и представляемыми агентами, действиями, ситуациями. Согласованность между обозначающим и обозначенным, между представителем и представляемым достигается не столько в результате сознательного поиска приспособления к запросам сторонников или механического принуждения, оказываемого внешними воздействиями, сколько за счет гомологии между структурой политического театра и структурой представляемого мира, между межклассовой борьбой и сублимированной формой этой борьбы, которая разыгрывается в политическом поле.⁹ Именно эта гомология способствует тому, что, стремясь к удовлетворению специфических интересов, которые навязывает им конкуренция внутри поля, профессионалы удов-

летворяют сверх того интересы своих доверителей, и тому, что борьба представителей может быть описана как политический *мимезис* борьбы групп или классов, лидерами которых они становятся. Или, наоборот, выбирая позиции, наиболее тождественные интересам их доверителей, профессионалы преследуют также — не обязательно признаваясь себе в этом — цель удовлетворить собственные интересы, предписываемые им структурой позиций и оппозиций, составляющих внутреннее пространство политического поля.

Обязательная преданность интересам доверителей заслоняет интересы доверенных лиц. Иначе говоря, видимая связь между представителями и представляемыми, понимаемая как решающая причина («группы давления» и т. п.) или конечная цель (защита «дела», «служение» интересам и т. п.), скрывает отношения конкуренции между представителями и одновременно отношения оркестрирования (или предустановленную гармонию) между представителями и представляемыми. Несомненно, Макс Вебер был прав, когда напоминал со святой материалистической грубоватостью, что «можно жить “для” политики и “с” политики».¹⁰ Если подходить совсем строго, скорее, надо было бы сказать, что можно жить «с политикой» при условии, что живешь «для политики». Действительно, именно связь между профессионалами определяет особый вид интереса к политике, который заставляет каждую категорию доверенных лиц, посвящающих себя политике, посвящать себя тем самым своим доверителям. Точнее, связь, которую профессиональные продавцы политических услуг (политические деятели, политические журналисты и т. п.) поддерживают со своими сторонниками, всегда опосредована и более или менее полно определена той связью, которую они поддерживают со своими конкурентами. Профессионалы служат интересам своих сторонников в той (и только в той) мере, в какой они, служа им, служат также и себе, т. е. *тем более пунктуально, чем точнее их позиция в структуре политического поля совпадает с позицией их доверителей в структуре социального поля*. (Строгость соответствия между двумя пространствами зависит, безусловно, в большой степени

от интенсивности конкуренции, т. е. прежде всего от *количества* партий или фракций, которое детерминирует разнообразие и обновление предлагаемых продуктов, вынуждая, например, различные партии видоизменять их программы для завоевания новых сторонников.) В результате политические выступления, осуществляемые профессионалами, всегда двойственно детерминированы и заражены двуличием, которое не является преднамеренным, поскольку вытекает из дуалистичности указанных полей и необходимости служить одновременно эзотерическим целям внутренней борьбы и экзотерическим целям внешней борьбы.¹¹

Система отклонений

Итак, именно структура политического поля, субъективно находящаяся в неразрывной, прямой и всегда декларируемой связи с доверителями, определяет выработку позиций посредством принуждений и интересов, связанных с определенным положением в этом поле. Более конкретно вырабатывание позиций зависит от системы принятий позиций, конкурентно предлагаемых всей совокупностью антагонистических партий, т. е. *политической проблематикой*, полем стратегических возможностей, объективно предлагаемых на выбор агентам в форме позиций, в действительности занятых, и выработанных позиций, в действительности предлагаемых в поле. Партии, как и течения внутри партий, имеют относительный характер, и напрасны старания определить, чем они являются, что они проповедают, без учета того, чем является и что проповедают внутри одного и того же поля их конкуренты.¹²

Наиболее очевидным следствием этой особенности поля является своего рода эзотерическая культура, состоящая из проблем, совершенно чуждых или недоступных для большинства, из концепций и выступлений, не имеющих никакого отношения к опыту обычного гражданина и, в особенности, из различений, нюансов, тонкостей, ухищрений, которые проходят незамеченными для взгляда непосвященных и сам смысл существования которых как раз и заключен в отношениях, носящих конфликтный

или конкурентный характер между различными организациями, между «тенденциями» или «течениями» внутри одной организации. Можно привести еще одно свидетельство Грамши: «Мы удаляемся от масс: между нами и массой вырастает преграда из разных квипрокво, недоразумений, сложных словесных игр. Это приведет к тому, что мы станем похожи на тех людей, которые хотят любой ценой сохранить свое место».¹³ В действительности недопустимость собственно политической культуры для большинства определяется не столько сложностью ее языка, сколько сложностью социальных отношений, составляющих политическое поле и в нем находящихся свое выражение: это искусственное творение борьбы в Курии представляется не столько непостижимым, сколько лишенным жизненного смысла для тех, кто, не будучи включен в игру, «не видит в ней никакого интереса» и кто не может понять, почему то или иное различие между двумя словами или двумя оборотами в основном докладе, программе, платформе, резолюции или постановлении может вызывать такие дискуссии, поскольку они не приобщены к принципу оппозиций, которые вызвали дискуссии, порождающие эти различия.¹⁴

Тот факт, что всякое политическое поле стремится организоваться вокруг оппозиции между двумя полюсами (которые, как партии в американской системе, могут быть в свою очередь созданы настоящими полями, организованными в соответствии с аналогичными делениями), не должен заслонять того, что обратимые свойства доктрин или групп, занимающих полярные позиции, «партии движения» и «партии порядка», «прогрессистов» и «консерваторов», «левой» и «правой» — суть *инварианты*, которые полностью раскрываются лишь в связи и через отношения с определенным полем. Именно таким образом свойства партий, регистрируемые реалистически типологиями, немедленно уясняются, если их соотносить с относительной силой двух полюсов, с расстоянием, которое их разделяет и которое определяет особенности занимающих эти полюса партий и политических деятелей (и в частности, их предрасположенность к дивергенции у крайних точек или конвергенции вблизи центра), а также

неразрывно связанную с этим вероятность того, что будет занято центральное, промежуточное положение, нейтральная позиция. Поле в своей совокупности определяется как система отклонений различных уровней, и все в нем — в институциях, в агентах, в действиях или выступлениях, ими производимых, — обретает смысл лишь в соотношении, в результате игры противопоставлений и различий. Например, противопоставление «правая» — «левая» может сохраняться и в трансформированной структуре ценой частичного обмена ролями между теми, кто занимал эти позиции в два разных момента времени (или в двух разных местах). Так, рационализм, вера в прогресс и в науку в период между двумя войнами во Франции, как и в Германии, были свойственны левым силам, тогда как националистические и консервативные правые превозносили, скорее, иррационализм и культ природы. Сегодня в этих странах на вере в прогресс, технику и технократию строятся основы нового консервативного кредо, тогда как левые обратились к идеологическим темам или практике, ранее свойственной противоположному полюсу — культу (экологическому) природы, регионализму и некоторому национализму, развенчанию мифа неограниченного прогресса, защите «личности» — при этом все отмечено иррационализмом.

Та же диадическая или триадическая структура, организующая поле в его совокупности, может воспроизводиться в каждой из его точек, т. е. внутри партии или группировки в соответствии с той же двойственной, одновременно внутренней и внешней логикой, устанавливающей зависимость между специфическими интересами профессионалов и реальными или предполагаемыми интересами их реальных или предполагаемых доверителей. Несомненно, эта логика внутренних оппозиций может проявляться более очевидным образом внутри тех партий, доверители которых наиболее обездолены и вследствие этого факта более склонны к самопожертвованию в пользу партии. Таким образом, лучший способ уяснить выработку позиций представляет *топологию* позиций, исходя из которых те выражаются: «Что касается России, то я всегда знал, что в топографии фракций и течений

Радек, Троцкий и Бухарин занимали левую позицию, Зиновьев, Каменев и Сталин правую, тогда как Ленин был *в центре* и исполнял функции арбитра во всей много-сложности ситуации, выражаясь, естественно, на современном политическом языке. Ядро, называемое ленинским, утверждает, как известно, что эти топологические позиции абсолютно иллюзорны и ложны». ¹⁵ Действительно, все происходит так, как если бы распределение позиций в поле включало в себя распределение ролей; как если бы не только *конкурентная борьба* с теми, кто занимает самые отдаленные и также самые близкие позиции, очень по-разному угрожающие его существованию, но и *логическое противоречие* между выработкой позиций подводило или отсылало каждого участника к занятой им позиции. ¹⁶

Так, некоторые обратимые противоположности, типа установившейся между анархистской и авторитарной традициями, есть не что иное, как перенос в плоскость идеологической борьбы основного противоречия революционного движения, вынужденного прибегать к дисциплине, авторитету и даже насилию для того, чтобы победить авторитет и насилие. Будучи еретическим отрицанием еретической церкви, революцией против «установленного революционного порядка», «левацкая» критика в ее «спонтанеистской» форме стремится использовать против тех, кто занял господствующее положение в партии, противоречие между «авторитарными» стратегиями внутри партии и «анти-авторитарными» стратегиями партии внутри политического поля в его совокупности. Та же форма противопоставления прослеживается вплоть до анархистского движения, упрекающего марксизм в авторитаризме ¹⁷: противопоставление между «платформистской» мыслью, которая в стремлении заложить основы мощной анархистской организации отбрасывает на второй план требование неограниченной свободы индивидов и мелких групп, и «синтезистской» мыслью, которая хочет предоставить индивидам полную независимость. ¹⁸

Но и здесь внутренние и внешние конфликты накладываются друг на друга. К примеру, реальные разделения и противоречия рабочего класса могут найти свое соответствие в противоречиях и разделениях рабочих партий

только в такой мере, в какой каждое течение склонно апеллировать к соответствующей части своих сторонников посредством гомологии между позициями лидеров в политическом поле и позициями реальных или предполагаемых доверителей в поле народных классов. Так, интересы неорганизованного люмпен-пролетариата имеют шанс быть представленными политически (особенно в случае иностранцев, лишенных права голоса, или стигматизированных этнических групп) только в той мере, в какой эти интересы становятся оружием и ставкой в борьбе, которая при определенных состояниях политического поля сталкивает спонтанеизм или, в крайнем случае, ультраревolutionонный волюнтаризм, всегда склонных отдавать предпочтение наименее организованным фракциям пролетариата, спонтанная деятельность которых предшествует организации и захлестывает ее, и централизм (определяемый противниками как «бюрократически-механистический»), согласно которому организация, т. е. партия, предшествует классу и борьбе и их обуславливает.¹⁹

Лозунги и форс-идеи^{vi}

Тенденция к автономизации и бесконечному членению на мельчайшие антагонистические секты, заложенная в виде объективной потенции в самой структуре корпуса специалистов, имеющих специфические интересы и конкурирующих в борьбе за власть в политическом поле (или в том или ином секторе этого поля, например, в аппарате партии), в различной степени уравнивается тем, что исход внутренней борьбы зависит от тех сил, которые агенты и институты, вовлеченные в борьбу, могут мобилизовать вне поля. Иными словами, тенденция к расколу ограничивается тем фактом, что сила выступления зависит не столько от его самооценностных достоинств, сколько от оказываемого им мобилизующего воздей-

^{vi} Форс-идея — *idée-force* (филос.) — идея-сила. Термин, используемый Альфредом Фуйе для обозначения психологических феноменов в их двойном аспекте интеллектуального и активного. — *Прим. перев.*

ствия, т. е. по крайней мере частично — от степени признания этого выступления многочисленной и мощной группой, которая узнает себя в нем и чьи интересы оно отражает (в более или менее преобразованной и плохо узнаваемой форме).

Простое «идейное течение» становится политическим движением лишь тогда, когда предлагаемые идеи получают признание вне круга профессионалов. Стратегии, которые логика внутренней борьбы навязывает профессионалам и которые могут иметь в качестве объективного обоснования, кроме отстаиваемых различий, различия габитусов и интересов (или, точнее, экономического и образовательного капитала, а также социальной траектории), связанные с различными позициями в поле, могут оказаться успешными лишь в той мере, в какой они сходятся со стратегиями (иногда бессознательными) групп, внешних по отношению к полю (и в этом заключается все различие между утопизмом и реализмом). Таким образом, тенденции к сектантскому расколу постоянно уравниваются необходимостью конкурентной борьбы. Это приводит к тому, что для победы во внутренней борьбе профессионалы должны взывать к силам, которые не целиком и не полностью находятся внутри поля (в отличие от того, что происходит в научном или художественном поле, где обращение к непосвященным дискредитирует).

Группировки авангарда не могут привносить в политическое поле логику, характерную для интеллектуального поля лишь потому, что они лишены базы и, следовательно, принуждений, но также и силы. Эти группировки функционируют в качестве *сект*, рожденных в результате расщепления и обреченных на размножение делением, следовательно, основанных на отказе от универсальности. За утверждение своего совершенного технического и этического качества, которое определяет *ecclesia pura* (пуритан), универсум «чистых» и «пуристов», способных продемонстрировать собственное превосходство как виртуозных политиков в своей верности самым чистым и самым радикальным традициям («перманентная революция», «диктатура пролетариата» и т. д.), они платят потерей власти и эффективности. И напротив, партия не может

позволить себе следовать столь исключительным добродетелям под страхом быть исключенной из политической игры и из-за стремления если не участвовать во власти, то по крайней мере быть способной влиять на ее распределение. Так же, как Церковь, которая берет на себя миссию распространять благодать институции на всех верных, истинных и неистинных и подчинять всех грешников без разбора дисциплине божественных заповедей, партия ставит своей целью привлечь к своей платформе возможно большее число непокорных (как в случае, когда коммунистическая партия в периоды избирательных кампаний обращается ко «всем прогрессивным республиканцам») и для того, чтобы расширить базу и привлечь сторонников конкурирующих партий, не колеблясь, поступает «чистотой» своей линии, играя более или менее сознательно на двусмысленностях своей программы. Из этого следует, что среди форм борьбы, местом которой является всякая партия, одна из наиболее постоянных наблюдается там, где сталкиваются те, кто, призывая к возвращению к истокам, отрицает компромисс, необходимый для укрепления *силы* партии, т. е. тех, кто в ней доминирует, но нарушающий ее *самобытность*, т. е. достигаемый ценой отказа от отличительных, оригинальных, исходных позиций, и, с другой стороны — теми, кто склоняется к поискам путей усиления партии, расширению сторонников, будь то ценой сделок и уступок или же методичного глушения всего того, что в оригинальных позициях партии может быть слишком «исключительным». Первые подталкивают партию к логике интеллектуального поля, которая, доведенная до крайности, может лишить партию всякой ее мирской силы, вторые придерживаются логики *Realpolitik*, являющейся условием приближения к политической реальности.

Таким образом, политическое поле является местом конкурентной борьбы за власть, которая осуществляется посредством конкуренции за непосвященных или, лучше сказать, за монополию на право говорить и действовать от имени какой-либо части или всей совокупности непосвященных. Официальный представитель присваивает себе не только голос группы непосвященных, т. е. чаще все-

го — ее молчание, но и саму силу этой группы, производству которой он способствует, наделяя ее голосом, признаваемым в качестве легитимного в политическом поле. В отличие от сферы науки, сила выдвигаемых им идей измеряется не ценностью истины (даже если какой-то частью собственной силы эти идеи обязаны своей способностью убеждать, что он обладатель истины), но заключенной в них мобилизующей силой, т. е. силой группы, признающей эти идеи, будь то молчанием или отсутствием опровержения, и которую он может продемонстрировать, получая их голоса или собрав группу в пространстве. Вот в силу чего поле политики — где было бы напрасно искать инстанцию, способную легитимировать инстанции легитимности, и иное основание компетентности, чем хорошо понятый классовый интерес, — постоянно колеблется между двумя критериями оценки — наукой и плебисцитом.²⁰

В политике «говорить» значит «делать», т. е. убеждать, что можно сделать то, о чем говоришь, и, в частности, внушать знание и признание принципов видения деления социального мира: *лозунги*, которые производят собственную верификацию, создавая группы, создают тем самым некий социальный порядок. Политическое слово — и это определяет его сущность — полностью ангажирует своего автора, потому что оно представляет собой обязательство, которое надо выполнять и которое становится истинно политическим только в случае, если исходит от агента или группы агентов *политически ответственных*, способных ангажировать группу, причем могущую его выполнить. Только при таком условии слово эквивалентно действию. Достоверность обещания или прогноза зависит от правдивости, а также авторитета того, кто их произносит, т. е. от его способности заставить поверить в его правдивость и авторитет. Если допустить, что будущее, о котором спорят, зависит от коллективной воли и действий, то форс-идеи официального представителя, способного вызвать эти действия, неподдельны, поскольку обладают властью делать так, чтобы будущее, о котором они возвещают, стало правдой. (Вот почему для всякой революционной традиции вопрос

правды неразрывно связан с вопросом свободы или исторической необходимости: если предположить, что будущее, т. е. политическая правда, зависит от действий политических руководителей и масс — и надо бы еще уточнить, в какой степени, — то тогда права была Роза Люксембург, упрекая Каутского в том, что он, не делая того, что надо было делать, по мнению Розы Люксембург, способствовал наступлению того, что было возможным, и того, что он предсказывал; в противном случае неправой оказывается сама Роза Люксембург, поскольку не смогла предвидеть наиболее вероятное будущее.)

То, что в устах одного звучало бы «безответственным выступлением», в устах другого — обоснованное предвидение. Политические предложения, программы, обещания, предсказания или прогнозы («Мы победим на выборах») никогда не могут быть проверены или опровергнуты логически. Они достоверны лишь в той мере, в какой высказывающий их (от своего имени или от имени группы) способен сделать их исторически справедливыми, обеспечив их осуществление в истории. Это непосредственно зависит от его природного таланта реально оценить шансы на успех мер по их приведению в действие и его способности мобилизовать силы, необходимые, чтобы в этом преуспеть, сумев внушить веру в свою собственную правдивость и, следовательно, в свои шансы на успех. Иначе говоря, слово *официального выразителя* частью своей «собирательной» силы обязано силе (численности) группы, в чьем создании как таковой он участвует через акт символизации, представления; это слово находит свою сущность в том толчке, которым говорящий придает своему высказыванию всю ту силу, производству которой способствует его высказывание, мобилизуя группу, к которой он обращается. Это хорошо видно на примере той столь типично политической логики, по которой строится обещание или, лучше, предсказание: слово, этот настоящий *self-fulfilling prophecy*^{vii}, посредством которого официальный выразитель придает группе волю, сообщает

^{vii} самоосуществляющееся пророчество (англ.).

планы, внушает надежды, короче, оговаривает ее будущее, делает то, о чем говорит, в той мере, в какой адресаты себя в этом слове узнают, сообщая ему символическую, а также материальную силу (в виде отданных голосов, субсидий, взносов, рабочей или военной силы и т. д.), которая и позволяет этому слову исполниться. Для того чтобы идеи могли стать форс-идеями, способными превращаться в веру или даже в лозунги, способные мобилизовать или демобилизовать, достаточно того, чтобы они были провозглашены политически ответственными лицами. И тогда заблуждения превращаются в *ошибки* или на профессиональном наречии — в «предательство».²¹

Кредит доверия и вера

Политический капитал является формой символического капитала, кредитом, основанным на *вере* и *признании*, точнее, на бесчисленных кредитных операциях, с помощью которых агенты наделяют человека (или предмет) той самой властью, которую они за ним признают. Это двойственность *fides*^{viii}, проанализированная Бенвенистом²²: объективная власть, которая может быть объективирована в предметах (в частности, во всем том, что составляет символику власти: троны, скипетры и короны), сама является результатом субъективных актов признания и, в качестве кредита доверия и кредитоспособности, существует лишь в виде и посредством представления, в виде и посредством верования, послушания. Символическая власть есть власть, которую тот, кто ей подчиняется, *дает* тому, кто ее осуществляет, своего рода кредит, которым один наделяет другого, *fides*, *auctoritas*, которые один другому вверяет, вкладывая в него свое доверие. Это власть, которая существует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, верит, что она существует. *Credere*^{ix}, говорит Бенвенист, «означает буквально вложить *kred*, т. е. волшебное могущество в какое-либо существо, покровительства которого ожидают, так как верят в него».²³ *Kred*,

^{viii} вера (лат.).

^{ix} верить (лат.).

кредит, харизма — это нечто такое, с помощью чего держат тех, от кого это нечто получили, является тем продуктом *credo*, верования, послушания, который кажется производителем *credo*, верования, послушания.

Подобно божественному или человеческому защитнику, который, согласно Бенвенисту, «нуждаясь в том, чтобы в него верили, чтобы ему вверили *kred*, берет на себя обязательство распространять свои благодеяния на тех, кто его таким образом поддерживает»²⁴, политический деятель черпает свою политическую силу в том доверии, которое группа доверителей в него вкладывает. Его поистине магическое могущество над группой зиждется на представлении, которое он сообщает группе и которое является представлением о самой группе и ее отношениях с другими группами. Будучи доверенным лицом, связанным со своими доверителями своего рода рациональным контрактом (программой), он является также защитником, связанным магической связью идентификации с теми, кто, как говорится, «возлагает на него всю свою надежду». И именно потому, что его специфический капитал является в чистом виде *доверительной ценностью*, которая зависит от представления, мнения, верования, *fides*, политический деятель, как человек чести, особенно уязвим перед подозрениями, клеветой, скандалом, короче, перед всем тем, что угрожает верованию, доверию, делая явными тайные, скрываемые акты и высказывания прошлого и настоящего, могущие войти в противоречие с нынешними актами и высказываниями и дискредитировать их автора (тем более полно, чем менее, как мы увидим, капитал политического деятеля обязан делегированию).²⁵ Этот до крайности *неустойчивый* капитал может быть сохранен лишь ценой непрерывного труда, который необходим как для накопления кредита, так и для того, чтобы избежать его утраты. Отсюда все предосторожности, умалчивания, утаивания, к которым обязывает общественных деятелей, вечно стоящих перед судом общественного мнения, постоянная забота не сделать и не сказать ничего такого, что могло бы при случае всплыть в памяти противников, и в силу безжалостного принципа необратимости не обнаружить ничего из того,

что противоречило бы вчерашним и сегодняшним публичным заявлениям или опровергло бы их постоянство во времени. Особое внимание политических деятелей ко всему тому, что создает представление об их *искренности* или бескорыстии, объяснимо, если подумать о том, что эти качества предстают как высшая гарантия того представления о социальном мире, которое они стремятся навязать, тех «идеалов» и «идей», внушение которых есть миссия политических деятелей.

Виды политического капитала

Человек политики, этот «банкир людей в режиме монополии», как Грамши называл профсоюзных функционеров, своим специфическим авторитетом в политическом поле, на профессиональном языке называемом «политическим весом», обязан мобилизующей силе, которой он обладает либо благодаря личным качествам, либо благодаря делегированию ему как доверенному лицу организации (партии, профсоюза), обладающей политическим капиталом, накопленным в ходе прежней борьбы в виде, прежде всего, должностных постов внутри аппарата или вне его, и активистов, приписанных к этим постам. Личный капитал «известности» и «популярности», основанный на факте «быть известным» и «лично признанным» (иметь «имя», «реноме» и т. п.), а также на владении определенным набором специфических качеств, которые являются условием приобретения и сохранения «хорошей репутации», часто бывает результатом реконверсии капитала известности, накопленного в других областях, в частности, в профессиональных, которые, наподобие свободных профессий, предоставляют свободное время и предполагают наличие определенного культурного капитала и — как в случае с адвокатами — профессиональное владение искусством красноречия. В то время как этот личный капитал нотабля^х является результатом длительного и непрерывного накопления, продолжающегося

^х знатное, влиятельное лицо, именитый житель, гражданин (фр.).

обычно всю жизнь, личный капитал, который можно назвать героическим или профетическим и который имеет в виду Макс Вебер, когда говорит о харизме, представляет собой результат акции инаугурации, осуществленной в ситуации кризиса, в пустоте и молчании институций и аппаратов: профетическая акция дарования значимости, которая самообосновывается и самолегитимируется ретроспективно, посредством подтверждения, которое ее собственный успех обеспечивает языку кризиса и начальному накоплению мобилизующей силы, которую этот язык осуществил.

В отличие от личного капитала, который исчезает вместе с человеком — его носителем (впрочем, могущего вызвать споры о наследстве), делегированный капитал политического авторитета является, наподобие капитала священника, преподавателя и шире — *функционера*, результатом ограниченного и временного переноса (хотя и обновляемого, иногда всю жизнь) капитала, принадлежащего институции и контролируемого ею, и ею одной.²⁶ В качестве такой институции и выступает партия, которая в процессе развития, благодаря работе своих кадров и активистов, накопила символический капитал *признания* и *преданности* и обзавелась в целях и в ходе политической борьбы постоянно действующей организацией с освобожденными работниками, способными мобилизовать активистов, постоянных членов и симпатизирующих, организовать пропаганду, необходимую для получения голосов и тем самым — постов, позволяющих в течение длительного времени поддерживать и содержать освобожденных работников. Этот мобилизационный аппарат, который отличает партию или профсоюз как от аристократического клуба, так и от группы интеллектуалов, держится *одновременно* на объективных структурах, таких как собственно бюрократическая организация, посты со всеми соответствующими привилегиями внутри нее самой или в государственной администрации, традиции рекрутирования, подготовки, селекции и т. д., которые ее характеризуют, и на диспозициях, будь то верность партии или усвоенные принципы видения разделения социального мира, которыми руководители, освобожденные работники или

активисты руководствуются в своей повседневной практике, в собственно политической деятельности.

Приобретение делегированного капитала подчиняется очень специфической логике: *инвеститура*, этот магический акт институирования, посредством которого партия официально выдвигает кандидатуру на выборы и который означает передачу политического капитала (наподобие того, как средневековая *инвеститура* торжественно отмечала «традицию» — наследование лена или какой-либо недвижимости), может быть лишь компенсацией длительного инвестирования времени, работы, преданности, самоотверженности во имя институции. Неслучайно так часто церкви, как и партии, выдвигают в свое руководство облатов.^{xi}

Закон, который регулирует обмен между агентами и институциями, может быть выражен следующим образом: институция дает все, начиная с власти над институцией, тем, кто отдал ей все. Но поскольку эти последние ничего из себя не представляли без институции или вне ее, они не могут отречься от институции, не отрекаясь и от самих себя, ибо полностью лишаются всего того, чем являются благодаря институции и для нее, которой они обязаны всем. Одним словом, институция инвестирует тех, кто инвестировал ее: инвестирование выражается не только в оказываемых услугах, зачастую тем более дефицитных и ценных, чем дороже они обходятся психологически (как все «испытания» инициации), и не только в повиновении указаниям или полном соответствии требованиям институции, но и в виде психологических вложений. Это приводит к тому, что факт исключения, будучи отлучением от властного капитала институции, часто превращается в настоящий *крах, банкротство*, социально и психологически одновременно (оно тем более сокрушительно, что сопровождается, так же, как предание анафеме или отлучение от священного жертвоприношения, «суровым общественным бойкотом» «в виде отказа поддерживать

^{xi} Облат — мирянин, пожертвовавший свое имущество монастырю и живущий в нем, не принимая монашеского обета. Здесь — пришлые люди, изгон, парии. — *Прим. перев.*

всяческие отношения с исключенным»²⁷). Тот, в кого инвестирован функциональный капитал, эквивалентный «институциональной благодати» или «функциональной харизме» священнослужителя, может не иметь никакой другой «квалификации», кроме той, которая присуждается ему институцией посредством самого акта инвеституры. Институция же держит под контролем приобретение *личной популярности*, регулируя, например, доступ к наиболее *видным* позициям (позиция генерального секретаря или официального представителя), или к рекламе, чем являются сегодня телевидение или пресс-конференция), хотя держатель делегированного капитала всегда может приобрести личный капитал путем тонкой стратегии, заняв по отношению к институции позицию максимального дистанцирования, совместимую с поддержанием принадлежности и сохранением соответствующих преимуществ. Из этого следует, что избранник аппарата зависит от аппарата по меньшей мере в той же степени, что и от своих избирателей, которыми он обязан аппарату и которых он теряет в случае разрыва с ним. Из этого вытекает также, что по мере того как политика «профессионализируется» и партии «бюрократизируются», борьба за политическую мобилизационную власть все более превращается в двухступенчатое соревнование: от исхода конкурентной борьбы за власть над аппаратом, которая разворачивается внутри аппарата *исключительно между профессионалами*, зависит выбор тех, кто сможет вступить в борьбу за завоевание простых мирян; это подтверждает еще раз, что борьба за монополию на выработку и распространение принципов видения деления социального мира все более отдается на откуп профессионалам и большим объединениям по производству и распространению, фактически исключая мелких независимых производителей («свободных интеллектуалов» в первую очередь).

Институционализация политического капитала

Делегирование политического капитала предполагает объективацию этого типа капитала в постоянных институциях, его материализацию в политических «маши-

нах», постах и средствах мобилизации, а также его беспрерывное воспроизводство посредством механизмов и стратегий. Таким образом, делегирование является фактом политических предприятий, уже имеющих свою историю, в ходе которой был накоплен значительный объективированный политический капитал в виде постов внутри самой партии, во всех организациях, более или менее подчиненных партии, а также во всех учреждениях местной или центральной власти и во всей сети промышленных и торговых предприятий, существующей в симбиозе с этими учреждениями. Объективация политического капитала обеспечивает относительную независимость по отношению к электоральному санкционированию, заменяя прямое доминирование над людьми и стратегию личного инвестирования («платить за себя») опосредованным доминированием, которое позволяет длительное время содержать держателей постов, удерживая посты.²⁸ Понятно, что новому определению позиций соответствуют новые характеристики в установках тех, кто их занимает: действительно, чем больше политический капитал институционализируется в виде наличных постов, тем выгоднее стать членом аппарата, в отличие от того, что происходит на начальных этапах или во времена кризиса, например, в революционный период, когда риск велик, а выгоды урезаны. Этот процесс, который часто называют расплывчатым словом «бюрократизация», легче понять, если видеть, как по мере развития жизненного цикла политического предприятия воздействие, которое предложение стабильных должностей партийных функционеров оказывает на рекрутирование, начинает усиливать часто наблюдаемый эффект, производимый доступностью позиций функционеров (и относительных привилегий, которые они обеспечивают для активистов — выходцев из рабочего класса). Чем дальше развивается процесс институционализации политического капитала, тем больше борьба за «умы» уступает место борьбе за «посты» и все больше активисты, объединенные единственно верностью «делу», отступают перед «держателями доходных должностей», «прихлебателями», как Вебер называл тип *сторонников*, в течение длительного времени связанных с ап-

паратом доходами и привилегиями, которые тот им предоставлял, и приверженных аппарату постольку, поскольку тот их удерживает, перераспределяя в их пользу часть материальных и символических трофеев, благодаря им завоеванных (например, *spoils*^{xii} американских партий). Иными словами, по мере того как развивается процесс институционализации и возрастает мобилизационный аппарат, на практике и в настроениях беспрерывно усиливается весомость императивов, связанных с воспроизводством аппарата и предлагаемых им постов, привязывающая к себе тех, кто их занимает, всякого рода материальными и символическими интересами, в ущерб императивам стремления к достижению целей, провозглашенных аппаратом. Становится понятно, что партии могут таким образом подводиться к тому, чтобы жертвовать своей программой ради удержания власти или просто выживания.

Поля и аппараты

Если не существует такого политического предприятия, которое, каким монолитным оно бы ни казалось, не было бы местом столкновений различных тенденций и противоречивых интересов, то все же партии тем сильнее проявляют склонность функционировать в соответствии с логикой аппарата, способного незамедлительно отвечать на стратегические требования, вписанные в логику политического поля, чем больше их доверители обделены культурно и привержены ценностям преданности и, следовательно, более склонны к безусловному и долгосрочному делегированию: чем дольше они существуют и чем они богаче объективированным политическим капиталом и, следовательно, чем жестче их стратегии определяются заботой о «защите завоеваний», чем более тщательно они подготовлены к борьбе, т. е. организованы по военной модели мобилизационного аппарата, чем более их

^{xii} распределение государственных должностей среди сторонников победившей партии (англ.).

кадры и постоянные члены обделены культурным и экономическим капиталом и, следовательно, находятся в более полной зависимости от партии.

Сочетание меж- и внутр поколенной преданности, обеспечиваемой партиями относительно стабильной клиентурой, лишаящей электоральное санкционирование большей части его эффективности, с принципом *fides implicita*, выводящим руководителя из-под контроля непосвященных, парадоксальным образом приводит к тому, что нет политических предприятий, которые были бы более независимыми от давления и от контроля спросом, более свободными в следовании исключительно логике конкурентной борьбы между профессионалами (иногда ценю самых неожиданных и парадоксальных поворотов на сто восемьдесят градусов), чем партии, которые громче других выступают в защиту народных масс.²⁹ И это тем сильнее, чем более они склонны следовать большевистской догме, согласно которой вовлечение непосвященных во внутрпартийную борьбу, обращение к ним или просто огласка внутренних разногласий считается чем-то противозаконным.

Точно так же сильнее всего зависят от партии те освобожденные работники, чья профессия не позволяет участвовать в политической жизни иначе, как жертвуя временем или деньгами. В этом случае только от партии они могут получить то *свободное время*, которое нотаблям дают их доходы, или тот способ, благодаря которому они это свободное время имеют, т. е. не работая или работая время от времени.³⁰ Их зависимость тем полнее, чем меньше был объем культурного и экономического капитала, которым они обладали до вступления в партию. Понятно, что освобожденные работники — выходцы из рабочего класса, чувствуют себя полностью обязанными партии не только своим положением, которое освободило их от рабской зависимости, характерной для их прежнего статуса, но и культурой, одним словом, всем тем, что составляет их нынешнее существование: «Тот, кто живет жизнью такой партии, как наша, все время повышает свой уровень. Я начал свой путь, имея за плечами начальное

образование, а партия заставила меня учиться. Нужно работать, рыться в книгах, читать, нужно влезать в это дело... Обязательно! Иначе... я так бы и остался ослом, каким был 50 лет назад! Я говорю: «“Активист всем обязан своей партии”».³¹ Понятно также, что, как установил Дэни Лакорн, «дух партии», «партийная гордость» сильнее выражены среди освобожденных работников коммунистической партии, чем среди освобожденных работников социалистической партии, которые, будучи чаще всего, выходцами из средних и высших классов и, в частности, из преподавательской среды, в меньшей степени зависят от партии.

Очевидно, что дисциплина и выучка, так часто переоцениваемые аналитиками, не имели бы никакой силы, если бы не находили подкрепления в диспозициях вынужденного или избирательного подчинения, которые приносят в аппарат агенты и которые сами постоянно укрепляются в результате встречи со сходными диспозициями и интересами, вписанными в аппаратные должности. Не вдаваясь в различия, можно сказать, что некоторые габитусы находят в логике аппарата условия для своего осуществления и даже расцвета, и наоборот, логика аппарата «использует» в свою пользу тенденции, вписанные в габитус. С одной стороны, можно было бы указать на общие для всех тотальных институций методы, посредством которых аппарат или те, кто доминирует в нем, навязывают дисциплину и способствуют появлению еретиков и диссидентов, или механизмов, которые вкуче с теми, интересы которых они обслуживают, стремятся обеспечить воспроизводство институций и их иерархии. С другой стороны, невозможно перечислить и проанализировать всевозможные предрасположенности, которые служат пружинами и колесами милитаристской механизации. Это может быть отношение зависимости от культуры, которое предрасполагает освобожденных работников — выходцев из рабочего класса к своего рода антиинтеллектуализму, служащему оправданием или алиби своеобразному спонтанному ждановизму и пролетарскому корпоративизму, или озлобление, которое находит

свой выход в сталинистском (в историческом смысле), т. е. полицейском восприятии «фракций» и в склонности осмысливать историю в логике заговора; это может быть также чувство вины, которое, будучи вписанным в шаткое положение интеллектуала, достигает своей максимальной интенсивности у интеллектуала — выходца из подчиненных классов, перебежчика, часто сына перебежчика, замечательно описанного Сартром в предисловии к *«Aden Arabie»*. Невозможно понять некоторые экстраординарные «успехи» аппаратного манипулирования, если не видеть, до какой степени эти предрасположенности объективно дирижируются, когда, допустим, различные формы «мизерабилизма», предрасполагающего интеллектуалов к «увриеризму», приспособляющемуся, например, к спонтанному ждановизму, способствуют установлению таких социальных отношений, в которых преследуемый становится сообщником преследователя.

В результате организационная модель большевистского типа, утвердившаяся в большинстве коммунистических партий, позволяет осуществить вплоть до самых отдаленных последствий тенденции, заложенные в отношения между народными классами и партиями. Являясь аппаратом (или тотальной институцией), обустроенным для реальной или воображаемой борьбы и базирующимся на дисциплине, которая позволяет приводить в действие всю совокупность агентов (здесь — активистов) «как одного человека» во имя общей цели, коммунистическая партия находит условия для своего функционирования в перманентной борьбе, местом которой является политическое поле и которую можно ускорять или интенсифицировать волевым порядком. Действительно, поскольку дисциплина, которая, как замечает Вебер, «обеспечивает рациональное единообразие подчинения множества людей»³², находит свое оправдание, если не обоснование, в борьбе, достаточно призвать к реальной или потенциальной борьбе и даже более или менее искусственно ее оживить для того, чтобы восстановить легитимность дисциплины.³³ В результате, если не совсем буквально цитировать Вебера, ситуация борьбы укрепляет позиции до-

минирующих внутри аппарата борьбы и, отстраняя активистов от роли трибунов, уполномоченных выражать волю базы, как они могут, порой того требовать, ссылаясь на официальное определение своих функций, низводит их к функции простых «кадров», которым вменяется обеспечивать, исполнение приказов и призывов центрального руководства и которых «компетентные товарищи» обрекают на «ратификационную демократию». ³⁴ Лучше всего логику этой боевой организации иллюстрирует прием, выраженный в вопросе «Кто против?», как его описал Бухарин: созываются члены организации, объясняет Бухарин, и им задается вопрос: «Кто против?» Поскольку все более или менее боятся быть против, апробированный товарищ назначается секретарем, предлагаемая резолюция принимается — и всегда единогласно. Процесс, называемый «милитаризацией», заключается в факте своего фундирования «военной» ситуацией, с которой столкнулась организация и которая может быть произведена посредством работы над *представлением* этой ситуации с тем, чтобы постоянно производить и воспроизводить *страх быть против*, это высшее обоснование всякой дисциплины, воинствующей или воинской. Если бы антикоммунизм не существовал, «военный коммунизм» не преминул бы его выдумать. Всякая внутренняя оппозиция обречена представать как сговор с врагом, она усиливает милитаризацию, с которой сражается, укрепляя единство осажденных «наших», которое предрасполагает к воинской подчиненности: историческая динамика поля борьбы между правоверными и еретиками, теми, кто «за», и теми, кто «против», уступает место механизму аппарата, который ликвидирует всякую практическую возможность быть против, полусознательно используя психосоматические эффекты экзальтации, единодушия в одобрении или в осуждении или, наоборот, страха перед исключением и отлучением, что превращает «дух партии» в настоящий *дух корпорации*.

Таким образом, двойственность политической борьбы, этого сражения за «идеи» и «идеалы», которое неизбежно является и борьбой за власть, и — хотим мы этого

или нет — за привилегии, заложена в самой основе противоречия, которое пронизывает все политические учреждения, нацеленные на ниспровержение установленного порядка: все потребности, довлеющие над социальным миром, способствуют тому, что функция мобилизации, апеллирующая к механической логике аппарата, стремится опередить функцию выражения и представления, за которую ратуют все профессиональные идеологии аппаратчиков (будь то идеология «органического интеллектуала» или концепция партии как «повивальной бабки» класса...) и которая может быть реально обеспечена лишь диалектической логикой поля. Результатом «революции сверху» — плана, разрабатываемого и осуществляемого аппаратом, становится разрыв этой диалектики, которая есть сама история. Вначале этот разрыв происходит в политическом поле — поле борьбы за поле борьбы и за легитимное представление этой борьбы, а затем — внутри самого политического предприятия, партии, профсоюза, ассоциации, которые могут функционировать как «один человек», лишь жертвуя интересами какой-либо части, если не всей совокупности своих доверителей.

Примечания

¹ Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. II. Berlin, Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1956. S. 1067.

² См., в частности: Bourdieu P. *La distinction*. Paris: Minuit, 1979. P. 466–542.

³ Это предполагает, что разделение политического труда меняется в зависимости от общего объема экономического и культурного капитала, накопленного определенной социальной формацией (от ее «уровня развития»), а также от более или менее асимметричной структуры распределения этого капитала, культурного, в частности. Так, в основе распространения всеобщего среднего образования лежит целый комплекс изменений отношений между партиями и их активистами или их избирателями.

⁴ Wittgenstein L. *Philosophical Investigations*. New York: Macmillan, 1953. § 337. P. 108.

⁵ Отношение между профессионалами и непосвященными у доминирующих принимает совершенно другие формы: в боль-

шинстве случаев они способны самостоятельно производить свои акции и вырабатывать политические взгляды и поэтому не без сопротивления и с двойственным чувством примиряются с делегированием (навязываемым специфической логикой легитимности, которая, будучи основанной на незнании, осуждает попытки к самоосвящению).

⁶ Конечно, этой эволюции в определенной степени противостоит общее повышение уровня образования, которое (учитывая решающую роль школьного капитала в системе факторов, объясняющих различия в отношении к политике) по своей природе безусловно вступает в противоречие с данной тенденцией и усиливает, на различных уровнях в зависимости от аппаратов, давление базы, менее склонной к безусловному делегированию.

⁷ Телевизионные дебаты, которые сталкивают профессионалов, отобранных в зависимости от специфики их компетентности, а также от знания ими правил политического приличия и респектабельного поведения в присутствии публики, сведенной до положения зрителя, представляют борьбу классов в форме театрализованного и ритуализированного столкновения двух поверенных лиц, что прекрасно иллюстрирует результат процесса автономизации чисто политической игры, более чем когда-либо замкнутой на своих приемах, иерархиях и внутренних правилах.

⁸ О логике борьбы за власть над принципом разделения см.: *Bourdieu P. L'identité et la représentation // Actes de la recherche en sciences sociales. 1980. № 35. P. 63–72.*

⁹ Доказательством служат различия, связанные с историей и логикой, присущей каждому национальному политическому полю. Такие различия обнаруживаются между представлениями, которые дают организации, «представляющие» социальные классы, находящиеся в сходном положении (например, рабочие классы европейских стран), об интересах этих классов, невзирая на все эффекты гомогенизации (типа «большевизации» коммунистических партий).

¹⁰ *Weber M. Op. cit. P. 1052.*

¹¹ Парадигматическую форму этой структурной двусмысленности представляет, без сомнения, то, что в революционной традиции СССР называется «эзопов язык», т. е. секретный, закодированный, условный язык, к которому прибегали революционеры, чтобы обойти царскую цензуру, и который появляется вновь в большевистской партии в связи с конфликтом, возникшим между сторонниками Сталина и сторонниками Бу-

харина, т. е. когда встает вопрос о том, чтобы во имя «партийного патриотизма» конфликты внутри Политбюро и Центрального комитета не просочились наружу. Этот язык при его внешней безобидности маскирует скрытую правду, которую «всякий, достаточно грамотный активист» умеет расшифровать, и дает возможность двух различных прочтений в зависимости от адресата. (Cohen S. Nicolas Boukharine, la vie d' un bolchevik. Paris: Maspero, 1979. P. 330, 435. В русском переводе: Коэн. С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938. М: Прогресс, 1988. С. 338.)

¹² Отсюда — неудача всех тех, кто, как многие историки Германии вслед за Розенбергом, пытался дать абсолютное определение консерватизму, не видя, что это понятие должно непрерывно менять свое субстанциональное значение для сохранения своей относительной ценности.

¹³ Gramsci A. Ecrits politiques. Т. II. P. 225.

¹⁴ Среди факторов этого эффекта закрытости и очень специфической формы эзотеризма, которую он вызывает, следует учитывать часто наблюдаемую склонность освобожденных работников политических аппаратов общаться лишь с другими освобожденными работниками.

¹⁵ Gramsci A. Op. cit. P. 258. Выделено П. Бурдьё.

¹⁶ Не учитывая того, чем понятия обязаны истории, мы лишаемся единственной реальной возможности вычленив их из истории. Являясь орудием анализа и одновременно анафемы, инструментами познания и одновременно инструментами власти, все эти «измы», которые марксистская традиция увековечивает, интерпретируя их как чисто концептуальные конструкции, свободные от всякого контекста и лишённые всякой стратегической функции, «нередко бывают связаны с определенными обстоятельствами, искажены преждевременными обобщениями, на них лежит печать жесткой полемики» и они рождаются в «разногласиях, в резких столкновениях представителей различных течений». (Haupt G. Les marxistes face à la question nationale: l'histoire du problème // Haupt G., Lawy M., Weill C. Les marxistes et la question nationale, 1848–1914. Paris: Maspero, 1974. P. II).

¹⁷ Известно, что Бакунин, требовавший полного подчинения руководящим органам в созданных им движениях (например, «Национальное братство») и бывший в глубине души сторонником «бланкистской» идеи «активных меньшинств», ходом полемики с Марксом был приведен к отрицанию авторитаризма, экзальтации спонтанности масс и автономии федераций.

¹⁸ Maitron J. Le mouvement anarchiste en France. Paris: Maspero, 1975. P. 82–83.

¹⁹ Более или менее центральная и господствующая позиция в аппарате партии и наличествующий культурный капитал в принципе представляют собой два различных и даже противоположных взгляда на революционную практику, на будущее капитализма, на связь партии и масс и т. д., которые сталкиваются между собой в рабочем движении. Очевидно, например, что экономизм и склонность подчеркивать детерминистскую, объективную и научную стороны марксизма свойственны больше «ученым» и «теоретикам» (таким, как, например, Туган-Барановский или «экономисты» в социал-демократической партии), чем «активистам» или «агитаторам», особенно если в области теории или экономики они самоучки (несомненно, это является одним из оснований разногласий между Марксом и Бакуниным). Схожим образом варьируется противоположность между централизмом и спонтанеизмом или, если угодно, авторитарным социализмом и анархистским социализмом, т. к. естественная тяга к сциентизму и экономизму способствует тому, что право на авторитарное определение ориентации вверяется держателям знания (эти оппозиции, пронизывающие всю биографию Маркса, по мере его старения резко сдвигаются в пользу «учености»).

²⁰ Неслучайно опрос общественного мнения выявляет противоречия между двумя антагонистическими принципами легитимации — технократической наукой и демократической волей, чередуя вопросы, которые апеллируют то к экспертной оценке, то к мнению активиста.

²¹ Неистовость политической полемики и постоянное обращение к этике, которая пользуется чаще всего аргументами *ad hominem*» (применительно к человеку (*lat.*)), объясняется также и тем, что форс-идеи частью своего кредита обязаны доверию, которым владеет человек, их проповедующий. Поэтому речь идет не только о том, чтобы опровергнуть эти идеи чисто логическими и научными аргументами, но и о том, чтобы *дискредитировать* их, дискредитируя автора. Выдавая лицензию поражать не только идеи, но и саму личность противника, логика политического поля чрезвычайно благоприятствует стратегии озлобленности: она предоставляет в распоряжение первого встречного возможность постичь, чаще всего в рудиментарной форме социологии знания, теории и идеи, которые он не способен подвергнуть научной критике.

²² Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. T. 1. Paris: Minuit, 1969. P. 115–121.

²³ Ibid. P. 121

²⁴ Ibid. P. 177.

²⁵ Крайняя осторожность, характеризующая состоявшегося политика и выражающаяся, в частности, в высокой степени эвфемизации его языка, объясняется, без сомнения, чрезвычайной уязвимостью политического капитала, который превращает ремесло политического деятеля в профессию с высокой степенью риска, особенно в кризисные периоды, когда, как в случаях с Де Голлем и Петеном, незначительные различия в использованных диспозициях и ценностях могут стать основой совершенно исключительного выбора (поскольку свойство экстраординарной ситуации навязывать систему классификации, организованной вокруг одного критерия, исключает возможность компромисса, двусмысленности, двойной игры, множественности позиций и т. п., тогда как в обычной ситуации знания и одновременно инструментами власти все эти «измы», которые марксистская традиция увековечивает, интерпретируя их как чисто концептуальные конструкции, свободные от всякого контекста и лишённые всякой стратегической функции, «нередко бывают связаны с определенными обстоятельствами, искажены преждевременными обобщениями, на них лежит печать жесткой полемики» и они рождаются в «разногласиях, в резких столкновениях представителей различных течений». (*Haupt G. Les marxistes face à la question nationale: l'histoire du problème // Haupt G., Lowy M., Weill C. Les marxistes et la question nationale, 1848–1914. Paris: Maspero, 1974. P. 17.*)

²⁶ При всем том, политическая миссия даже здесь отличается от простой бюрократической функции тем, что она всегда остается, как мы видели, личной миссией, которая захватывает человека целиком.

²⁷ Weber M. Op. cit. P. 880, а также P. 916.

²⁸ Этот анализ применим также и к Церкви: по мере того как политический капитал Церкви объективируется в институтах и, как это происходит в последнее время, в постах, контролируемых Церковью (в образовании, прессе, молодежном движении и т. п.), власть ее все менее и менее опирается на внушение ее догматов и «спасение душ»; гораздо лучше власть Церкви измеряется числом должностей и агентов, опосредованно ею контролируемых.

²⁹ Следует помнить, какое значительное место народная система ценностей отводит таким добродетелям, как целостность («отдаться полностью», «отдать всего себя целиком» и т. п.), верность данному слову, лояльность по отношению к своим, верность самому себе («я таков, каков есть», «ничто меня не из-

менит» и т. п.) и другим диспозициям, которые в иных универсумах могут выглядеть как негибкость или даже глупость. С учетом этого можно понять, что приверженность первоначальному выбору, которая превращает политическую принадлежность в почти наследуемое свойство, способное выстоять даже несмотря на меж- и внутритропколевые изменения в социальном положении, с особой силой проявляется в народных классах, чем и пользуются левые партии.

³⁰ Несмотря на наличие инвариантных черт, противоречие между освобожденными работниками и простыми членами партии (или, тем более, теми, кто голосует за нее периодически) в разных партиях приобретает различный смысл. Это зависит от распределения капитала и, особенно, свободного времени между классами. (Известно, что если прямая демократия допускает экономическую и социальную дифференциацию, то потому, что благодаря ей, в результате неравного распределения свободного времени, административные нагрузки концентрируются преимущественно в руках тех, кто располагает временем, необходимым для выполнения этих функций бесплатно или за небольшую плату.) Этот простой принцип может также служить объяснением дифференцированного участия различных профессий (или даже различных статусов внутри одной профессии) в политической или профсоюзной жизни и — шире — во всякой полуполитической ответственной работе. Так, Макс Вебер отмечает, что директор крупных медицинских или естественнонаучных учреждений не испытывают особой склонности к ректорской работе и плохо с ней справляются (*Weber M. Op. cit. II. P. 698*), а Роберт Михельс указывает, что ученые, которые принимали активное участие в политической жизни, обнаруживали, что их научные способности медленно, но неуклонно снижались (*Michels R. Les partis politiques. Paris: Flammarion, 1971. P. 155*). К этому следует добавить, что аристократическое или профетическое презрение к временным выгодам, которые обеспечивают или обеспечивают эти виды деятельности, очень часто подкрепляется социальным положением, подтверждающим и мотивирующим нежелание отдавать свое время политической или административной работе. Все это позволяет лучше понять некоторые структурные инварианты отношений между интеллектуалами аппарата (политического, административного и др.) и «свободными» интеллектуалами, между теологами и епископами или между исследователями и деканами, ректорами и научными руководителями и т. д.

³¹ *Lacorne D. Op. cit. P. 114.*

³² Weber M. Op. cit. P. 867.

³³ Роберт Михельс, который отмечает тесную связь между организацией «боевой демократической партии», военной организацией и многочисленными заимствованиями социалистической терминологией (особенно в работах Энгельса и Бебеля) военной лексики, подчеркивает, что руководители, которые, как напоминает Р. Михельс, тесно связаны с дисциплиной и централизацией (*Michels R. Op. cit. P. 129, 144*), не упускают возможности обращаться к магической формуле общего интереса и к «аргументам военного характера» всякий раз, когда их положение оказывается под угрозой: «Подчеркивается, в частности, что члены партии ни при каких обстоятельствах не должны отказывать в доверии руководителям, которых они сами свободно поставили над собой, даже если это диктуется причинами тактического порядка или необходимостью сохранить единство перед лицом врага» (*Michels R. Op. cit. P. 163*). Но только при Сталине стратегия милитаризации, которая, как отмечает Стивен Коэн, является единственным оригинальным вкладом Сталина в большевистскую мысль и, следовательно, основной характеристикой сталинизма, находит свое полное воплощение: сферы, куда вторгается партия, получают название «фронтов» (фронт уборки урожая, фронт философии, фронт литературы и т. д.); цели и проблемы — это «крепости», которые «теоретические отряды» должны «взять штурмом», и т. д. Эта «военная» доктрина носит безусловно манихейский характер, поскольку восхваляет одну группу, одно идейное направление или концепцию, ставшую ортодоксальной, для того, чтобы полнее уничтожить все другие (см.: *Cohen S. Op. cit. P. 367–368, 388*. В русском переводе: Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938. М: Прогресс, 1988. С. 378–379, 399).

³⁴ Таким образом, борьба внутри коммунистической партии против авторитаризма руководителей и их приоритетного внимания к интересам аппарата в ущерб интересам доверителей лишь усиливает тенденции, против которых ведется. Действительно, руководителям достаточно призвать к политической борьбе, в частности, против самых непосредственных конкурентов, чтобы оправдать призыв к дисциплине, т. е. к подчинению руководителям, обязательному в период борьбы. В этом смысле разоблачение антикоммунизма является абсолютным оружием в руках тех, кто командует в аппарате, поскольку оно дисквалифицирует всякую критику и даже объективацию и навязывает единство в борьбе против внешнего окружения.

ДУХ ГОСУДАРСТВА:

Генезис и структура бюрократического поля*

Пытаться осмыслить, что есть государство, значит пытаться со своей стороны думать за государство, применяя к нему мыслительные категории, произведенные и гарантированные государством, а следовательно, не признавая самую фундаментальную истину государства. Такое утверждение может показаться одновременно абстрактным и категоричным, но оно будет восприниматься более естественно, если мы допустим, говоря языком доказательства, необходимость возвратиться к исходной точке задачи, но уже вооруженными знаниями об одном из важнейших видов власти государства — власти производить и навязывать (в частности, через школу) категории мышления, которые мы спонтанно применяем ко всему, что есть в мире, а также к самому государству.

Чтобы передать первоначальное, скорее интуитивное, представление о таком анализе и дать почувствовать опасность, которой мы подвергаемся всякий раз, когда думаем посредством государства, считая, что мы сами так думаем, я хотел бы процитировать отрывок из «Старых мастеров» Томаса Бернхарда.

* © Bourdieu P. Esprits d'Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1993. № 96–97. P. 49–62.

«Школа является школой Государства, в которой из молодых людей делают креатуры Государства, т. е. не что иное, как подпорки Государства. Когда я входил в школу, я входил в государство, и раз государство разрушает все живое, то я входил в учреждение по разрушению живых существ. <...> Государство силой заставило меня — впрочем, как и всех других, — войти в него и сделало меня послушным ему, оно сделало из меня этатизированного человека; человека, подчиняющегося правилам и зарегистрированного, вымуштрованного и дипломированного, испорченного и подавленного, как и все другие. Когда мы видим людей, мы видим только этатизированных людей — слуг государства; на протяжении всей своей жизни они служат государству, а следовательно, они посвятили всю свою жизнь чему-то противоестественному».¹

Очень своеобразная риторика Томаса Бернхарда, риторика чрезмерного, гиперболы в анафеме, хорошо подходит для моего намерения применить некоторого рода гиперболическое сомнение в отношении государства и государственного мышления. Сомнение никогда не бывает чрезмерным, когда сомневаешься в государстве. Но литературное преувеличение всегда подвержено опасности самоуничтожения, лишая себя жизни из-за собственного переизбытка. Вместе с тем, нужно принимать слова Бернхарда всерьез: если мы хотим осмыслить государство, — которое все еще мыслит себя через тех, кто силится осмыслить его (например, Гегеля или Дюркгейма), — то нужно стремиться поставить под вопрос все предположения и предварительные построения, вписанные в действительность, которую мы хотим анализировать, и в само мышление анализирующего.

Чтобы показать, в какой степени необходимо, но и трудно порвать с мышлением государства, которое присутствует даже в самых сокровенных наших мыслях, можно было бы рассмотреть разразившуюся недавно, во время войны в Персидском заливе, битву за такой кажущийся на первый взгляд незначительным предмет, как орфография. Правописание, заданное и гарантированное государством как нормальное по праву (т. е. согласно госу-

дарству), является социальным артефактом, лишь слегка обоснованным логическими и просто языковыми причинами, которые сами являются результатом процесса нормализации и кодификации, вполне аналогичного тому, что государство осуществляет во многих других областях. Но когда в определенный момент времени государство (или кто-то из его представителей) пытается реформировать орфографию (как это уже было и с тем же результатом сто лет назад), т. е. разрушить с помощью декрета то, что ранее государство декретом же и установило, как это тут же вызывает негодующий протест значительной части тех, кто неразрывно связан с письмом в самом общепринятом смысле слова и том смысле, который ему любят придавать писатели. И что интересно, все эти защитники орфографической ортодоксии объединяются от имени естественности действующего написания и удовлетворения, переживаемого как подлинно эстетическое, доставляемого полным согласием между мыслительными и объективными структурами, между мыслительными формами, сконструированными в головах социально — при помощи обучения правописанию — и самой действительностью вещей, обозначенных умело написанными словами. Для тех, кто владеет орфографией в той же степени, что и она владеет ими, звук «*f*», совершенно произвольно передаваемый как «*ph*» в слове «*néuphar*» (кувшинка), становится настолько очевидным и неразрывно связанным с цветком, что они начинают с чистой совестью ссылаться на природу и естественность, чтобы обличить вмешательство государства, направленное на сокращение произвольности орфографии, которая, совершенно очевидно, является плодом самовольного вмешательства государства.

Можно было бы привести множество подобных примеров, когда результаты выбора государства оказываются полностью навязанными — в действительной жизни и в представлениях, — когда отброшенные прежде возможности кажутся абсолютно невыносимыми. Так, например, если малейшая попытка изменить учебные программы и особенно количество часов, выделенных на ту или иную дисциплину, встречает практически всегда и повсюду бешеное сопротивление, то происходит это не только из-за

мощных корпоративных интересов, связанных с установленным социальным порядком (в частности, затронутых этой реформой профессоров). Дело еще и в том, что культура и в особенности ассоциирующиеся с ней социальные деления и иерархии сформированы естественным образом при содействии государства, которое, учреждая их одновременно в вещах и умах, придает культурному производству видимость полной естественности.

Радикальное сомнение

Таким образом, мы можем получить какие-то шансы действительно осмыслить государство, которое все еще мыслится через тех, кто пытается его осмыслить, только при условии, что прибегнем к некоторого рода радикальному сомнению, направленному на пересмотр всех предположений, вписанных в анализируемую реальность и в саму мысль аналитика.

Особенно сильно влияние государства ощущается в области символического производства: государственные службы и их представители являются крупными производителями «социальных проблем», которые социальные науки часто только «ратифицируют», воспринимая их со своей стороны как проблемы социологические (чтобы доказать это, достаточно измерить долю исследований — конечно же изменяемую в зависимости от страны и периода времени, — направленных на проблемы государства: бедность, эмиграция, неуспеваемость в школе и т. п., и приведенных к более или менее наукообразному виду).

Но самым лучшим подтверждением того, что сознание мыслителя-функционера (состоящего на службе государства) от начала до конца пронизано официальным представлением об официальном, является несомненно то искушение, в которое ввергают представления о государстве, которые, как у Гегеля, делают из бюрократии «всеобщую группу», наделенную интуицией и волей универсального интереса или, как у Дюркгейма, остающегося в остальном очень осторожным, — «мыслительный орган» и рациональный инструмент, ответственный за осуществление всеобщего интереса.

Особая трудность вопроса о государстве состоит в том, что большая часть текстов, посвященных этому предмету, хотя и имеет внешние признаки анализа проблемы, на самом деле участвует более или менее непосредственно и продуктивно в его строительстве, а следовательно, — в самом его опыте. Это относится, в частности, к юридическим текстам, которые, особенно на стадии формирования и укрепления, обретают свой истинный смысл только тогда, когда в них видят не один лишь теоретический вклад в познание государства, но также и политические стратегии, имеющие целью внушить специфическое видение государства, отвечающее интересам и ценностям, связанным с частной позицией их производителей в становящемся бюрократическом мире. (Об этом часто забывают даже в самых хороших исторических работах, например, принадлежащих кембриджской школе.)

Общественная наука с самого начала была неотъемлемой частью этого усилия по построению представлений о государстве, являющихся частью самой реальности государства. Все проблемы, которые ставились в связи с бюрократией, как, например, вопрос о нейтральности и бескорыстии, ставились также и по поводу социологов, задающих эти вопросы. Но здесь степень сложности возрастает, поскольку далее можно задаться вопросом о ее собственной автономии от государства.

Вот почему следует просить у социальной истории общественных наук внести ясность относительно всех бессознательных спаек с социальным миром, которыми общественные науки обязаны истории, чьим завершением они являются и откуда черпают свою проблематику, теории, методы, понятия и т. д. Можно также видеть, что общественные науки в современном понимании этого термина (в противоположность политической философии советников государя) хотя неразрывно связаны с социальной борьбой и социализмом, все же не являются непосредственными выразителями этих движений и их теоретическими продолжателями, а только отвечают на проблемы, которые они формулируют и поднимают своим существованием. Общественные науки находят своих главных защитников среди филантропов и реформаторов —

род просвещенного авангарда доминирующих, — которые ждут от «социальной экономии» (науки, вспомогательной к политической) решения «социальных проблем» и в особенности тех, что стоят перед «проблемными» индивидами и группами.

Сравнение развития общественных наук позволяет предположить, что модель, нацеленная на учет различных состояний этих дисциплин в зависимости от страны и от исторического периода, должна принимать в расчет два фундаментальных фактора. С одной стороны, форма, которую принимает социальный запрос на познание социального мира, зависит от господствующей в государственной бюрократии философии (например, либерализм или кейсианство): большой государственный запрос может обеспечить благоприятные условия для развития социальной науки, достаточно независимой от экономической расстановки сил (и от прямого запроса господствующих), но в большой мере зависимой от государства. С другой стороны, пространство автономии системы образования и поля науки перед лицом экономических и политических сил господствующих, несомненно, предполагает значительное развитие общественных движений и социальной критики властей и в то же время большую независимость исследователей от этих движений.

История показывает, что общественные науки могут достичь своей независимости от пресса социального заказа, — что является главным условием их прогресса в сторону научности, — только если они будут опираться на государство. Однако в этом случае они рискуют утратить свою независимость, если не будут готовы использовать против государства свою свободу (относительную), которую оно им гарантировало.

Происхождение: процесс концентрации

Опережая результаты исследования, я мог бы сказать, перефразируя знаменитую формулу Макса Вебера («...Государство есть человеческое сообщество, которое внутри

определенной области — «область» включается в признак! — претендует (и с успехом) на монополию легитимного физического насилия».²⁾), что государство есть X (подставить нужное), который с успехом претендует на монополию легитимного использования физического и символического насилия на определенной территории и над населяющим эту территорию народом. Если государство в состоянии осуществлять символическое насилие, то оно воплощается одновременно объективно в виде специфических структур и механизмов и «субъективно» или, если хотите, в головах людей, в виде мыслительных структур, категорий восприятия и мышления. Реализуясь в социальных структурах и в адаптированных к ним ментальных структурах, учрежденный институт заставляет забыть, что он является результатом долгого ряда действий по институционализации и представляется со всеми его внешними признаками естественности.

Вот почему нет более мощного инструмента разрыва, чем реконструкция формирования: заново раскрывая конфликты и конфронтации, существовавшие в самом начале, и в то же время показывая упущенные возможности, такая реконструкция актуализирует существовавшую (или которая могла бы существовать) возможность другого пути и с помощью такой практической утопии еще раз ставит под вопрос одну из тех многих возможностей, которая оказалась реализованной. Порывая с искушением углубляться далее в анализ, но не отказываясь от намерения показать инварианты, я хотел бы предложить модель возникновения государства, имеющую целью показать последовательным образом чисто историческую логику процессов, в рамках которых формировалось то, что теперь мы называем государством. Это трудная и почти нерешаемая задача, поскольку она предполагает примирить строгость и логичность теоретического построения с представлением практически неисчерпаемых данных, накопленных историческими исследованиями.

Чтобы дать некоторое представление о трудности дела, я процитирую только одного историка, который упоминает о ней очень неполно, в силу того, что остается в рамках своей специальности:

«Наиболее малоизученными зонами истории являются ее пограничные зоны. Например, границы между специальностями: так, изучение правления (т. е. история политической мысли) требует знания теории управления, практики управления (т. е. истории институтов) и в конце концов самих управляющих (т. е. социальной истории). Однако мало кто из историков способен одинаково успешно владеть этими разными специальностями. <...> Существуют другие пограничные зоны истории, требующие отдельного изучения. Например, техника ведения войны на начальном этапе современности. Без полного владения этими проблемами трудно оценить значение расчета, применяемого тем или иным правительством в конкретной кампании. Но эти технические проблемы не должны рассматриваться только с точки зрения военного историка в привычном смысле этого термина: военный историк должен стать еще и историком управления. Остается много неясного в сфере государственных финансов и налогообложения. Здесь специалист также должен стать чем-то большим, чем узкий историк финансов в прежнем смысле слова; он должен быть к тому же историком управления и хотя бы немножко экономистом. К сожалению, разбиение истории на подразделы, монополии специалистов и ощущение того, что некоторые аспекты истории являются модными, а другие вышли из моды, весьма мало способствовали решению нашей задачи».³

Государство есть завершение процесса концентрации различных видов капитала: физического принуждения или средств насилия (армия, полиция), экономического, культурного или, точнее, информационного, символического — концентрации, которая сама по себе делает из государства владельца определенного рода метакapи-тала, дающего власть над другими видами капитала и над их владельцами. Концентрация различных видов капитала (которая идет вместе с формированием соответствующих им полей) в действительности приводит к возникновению некоего специфического капитала, собственно го-

сударственного, позволяющего государству властвовать над различными полями и частными видами капитала, а главное — над обменным курсом между ними (и тем самым над силовыми отношениями между их владельцами). Из этого следует, что формирование государства идет вместе с формированием поля власти, понимаемого как пространство игры, внутри которого владельцы капитала (разных его видов) борются именно за власть над государством, т. е. над государственным капиталом, дающим власть над различными видами капитала и над их воспроизводством (главным образом, через систему образования).

Хотя различные измерения этого процесса концентрации (вооруженные силы, налоговая система, право и т. п.) взаимозависимы, в целях лучшего изложения и дальнейшего анализа следует рассмотреть их последовательно один за другим.

Капитал физического принуждения

Именно концентрации капитала физического принуждения придавалось главное значение в большинстве моделей происхождения государства: от марксистов, склонных рассматривать государство как простой орган насилия, до Макса Вебера и его классического определения или от Норберта Элиаса до Шарля Тилли. Сказать, что силы принуждения (армия, полиция) концентрируются, значит сказать, что институты, предназначенные обеспечивать порядок, постепенно отделяются от обыденного социального мира; что физическое насилие может быть применено только особой группировкой, специально облеченной правами на это, четко идентифицирующейся внутри общества, централизованной и дисциплинированной. То же и в отношении армии: профессиональная армия последовательно вытеснила феодальные дружины, прямо угрожая узаконенной монополии дворянства на военные действия. (Нужно признать, что Норберту Элиасу часто ошибочно приписывают — особенно историки — идеи и положения, идущие от общих основ социологии, тогда как его заслуга состоит в умении раскрыть все возможные применения веберовского анализа, показывая,

что государство не смогло бы прогрессивно обеспечить себе монополию на насилие, если бы не лишило своих внутренних конкурентов средств физического насилия и права его применять, внося, таким образом, свой вклад в одно из важнейших измерений процесса «цивилизации».)

Рождающееся государство должно укрепить свою физическую силу в двух различных контекстах: с внешней стороны, — по отношению к другим государствам, имеющимся или возможным (соперничающие князья), и посредством войны за землю, которая требует создания сильной армии; с внутренней стороны, — по отношению к оспаривающим власть друг друга князьям и сопротивляющимся подчиненным классам. Вооруженные силы все более разделяются, с одной стороны, на армию, чьей задачей является межгосударственное соперничество, и, с другой стороны, на полицию, предназначенную для поддержания внутреннего порядка.⁴

Экономический капитал

Концентрация капитала физического принуждения проходит через установление действенной налоговой системы, которая, в свою очередь, сопровождается унификацией экономического пространства (создание национального рынка). Сбор налогов, осуществляемый династическим государством, относится непосредственно ко всем подданным, а не как в феодальном обществе — только к вассалам, которые сами могли облагать податями своих людей. Государственный налог, появившийся в последнем десятилетии XII века, развивается в связи с ростом затрат на ведение войн. Необходимость защиты территории, упоминавшаяся прежде время от времени, постепенно становится постоянным оправданием «обязательного» и «регулярного» характера сбора налогов, изымаемых «без иных ограничений по времени, кроме периодов, обозначенных лично королем», и относящихся прямо или косвенно «ко всем группам общества».

Именно таким образом постепенно устанавливалась экономическая логика, совершенно особенная и базирующаяся на безвозмездном изъятии и перераспределении,

функционирующем как основа трансформации экономического капитала в символический, ранее сосредоточенный в личности князя.⁵

Учреждение налогов (несмотря на сопротивление их плательщиков) связано отношением круговой причинности с развитием вооруженных сил, необходимых для расширения или сохранения контролируемой территории, а следовательно, с возможным сбором податей и налогов, но также и с введением принуждения, чтобы заставить их платить. Институционализация налоговой системы явилась результатом, по сути дела, внутренней войны, ведущейся агентами государства, с целью сломить сопротивление подданных, которые как таковые обнаруживаются главным образом, если не исключительно, как те, кого следует облагать налогом, как налогоплательщики. Королевскими ордонансами предусматривалось четыре степени наказания за задержку уплаты налогов: арест на имущество, заключение в долговую тюрьму, совокупное наказание, постой [размещение в доме гарнизона]. Отсюда с неизбежностью следует вопрос о законности налогообложения (прав был Норберт Элиас, заметив, что в самом начале сбор налогов виделся как некоего рода рэкет). Лишь со временем в налогах постепенно стали видеть дань, необходимую для удовлетворения потребностей получателя, высшего по отношению к персоне короля, т. е. потребностей «воображаемого корпуса», каким является государство.

Налоговые нарушения еще и сегодня служат подтверждением того, что законность налогов не есть нечто само собой разумеющееся. Известно, что сначала вооруженное сопротивление рассматривалось не как неподчинение королевским ордонансам, а лишь как морально законная защита фамильного достояния от обложения налогом там, где монарха не признавали справедливым и отеческим.⁶ Между договорами об откупе налогов, заключенных в правильной и должной форме с Королевской казной, и последним помощником откупщика, отвечающего за сбор местных налогов, помещается целый каскад договоров откупа и подоткупа, который непрерывно вызывал подозрения в отчуждении налогов и узурпации

власти; длинная цепочка мелких сборщиков, часто плохо оплачиваемых, которых подозревали в коррупции как их жертвы, так и официальные защитники самого высокого ранга.⁷ Признание инстанции, высшей по отношению к агентам, отвечающим за ее деятельность, — королевской власти или государства — защищает, таким образом, от критики непосвященными. Оно находит свое практическое обоснование в отделении короля от несправедливых и коррумпированных исполнителей, которые обманывали не только народ, но и самого короля.⁸

Концентрация вооруженных сил и финансовых ресурсов, необходимая для их содержания, сопровождается концентрацией символического капитала признания, легитимности. Важно, чтобы не только корпорация агентов, ответственных за сбор налогов и способных делать это, не злоупотребляя для собственной выгоды, но и применяемые ими методы правления и управления, учета и регистрации, решения спорных дел, судопроизводства, контроля исполнения и т. п. были в состоянии заставить узнавать и признавать себя как законные. Важно, чтобы они были «широко отождествляемы с персоной, с достоинством власти», чтобы судебные исполнители носили мундир, имели собственные эмблемы и одним своим именем обозначали свое начальствование, а также чтобы простые налогоплательщики были в состоянии «узнавать мундиры стражников, гербовые щиты часовых будок» и различать «стражников налоговых откупщиков — ненавидимых и презираемых финансовых агентов, от королевских кавалеристов, лучников жандармерии или резиденции прево Ратуши, а также от гвардейцев, признававшихся безупречными из-за королевских цветов их казака*».⁹

Все авторы соглашались с тем, что постепенное распространение признания законности официального взимания дани связано с возникновением определенного рода национализма. Действительно, можно допустить, что всеобщий сбор налогов вносил вклад в объединение территории или, точнее, в формирование — в действи-

* Верхней куртки с широкими рукавами, как у мушкетеров. — *Прим. перев.*

тельности и в представлениях — государства как целостной территории, как реальности, объединенной подчинением одним и тем же обязанностям, чье существование вызвано той же необходимостью защиты. Вполне возможно и то, что «национальное» сознание сначала развивалось среди членов представительных институтов, появившихся в связи с налоговыми спорами. В самом деле, известно, что эти инстанции тем более склонны соглашаться с налогами, чем более они кажутся им оправданными не личными интересами правителя, но интересами страны и в первую очередь необходимостью защиты территории. Государство постепенно вписывается в пространство, которое еще не является тем национальным пространством, которым оно станет впоследствии, но уже представляет собой компетенцию верховной власти, например, с монопольным правом чеканить монеты (мечта феодальных князей, а позднее и королей Франции, чтобы на подвластных им территориях доминиона имели хождение только их монеты, — стремление это осуществилось только при Людовике XIV); в нем видят основу высшей символической ценности.

Информационный капитал

Концентрация экономического капитала, связанная с установлением единой налоговой системы, идет в паре с концентрацией информационного капитала (одним из измерений которого является культурный капитал), сопровождающейся унификацией культурного рынка. Так, очень рано государственные власти начинают проводить изучение состояния ресурсов (например, начиная с 1194 года, «учет сержантов» — оценку численности обозов и вооруженных людей, которых должны поставить королю, объединившему свои восточные территории, 83 города и королевских аббатства; в 1221 году появляется зародыш бюджета — учет доходов и расходов). Государство накапливает информацию, обрабатывает ее и перераспределяет. А самое главное — совершает теоретическое объединение. Ставя себя на точку зрения Целого, общества в целом, оно несет ответственность за все действия по тотал-

лизации, в частности через перепись и статистику или через национальный учет, и объективации — посредством картографирования, целостного, обзорного представления пространства или просто через письменность как средство накопления знания (например, архивы), а также кодификации как когнитивной унификации, включающей централизацию и монополизацию в пользу духовных лиц или ученых.

Культура объединяет. Государство участвует в объединении культурного рынка, унифицируя все коды: правовой, языковой, и проводя гомогенизацию форм коммуникации, особенно бюрократической (например, введение бланков, формуляров и т. п.). С помощью систем классификации (по возрасту и полу, в частности), вписанных в право, бюрократические процедуры, образовательные структуры, а также посредством общественных ритуалов, особенно замечательных в Англии или Японии, государство формирует ментальные структуры и навязывает общие принципы видения и деления, т. е. формы мышления, которые в образованном обществе выполняют ту же роль, что и формы примитивной классификации, описанные Дюркгеймом и Моссом по отношению к «первобытному мышлению». Тем самым они принимают участие в построении того, что обычно называют национальной идентичностью (или более традиционным языком — национальным характером).¹⁰

Предписывая и внушая повсеместно (в пределах своих сил) господствующую культуру, преобразованную таким образом в легитимную национальную культуру, система школьного образования, особенно через преподавание истории и, в частности, истории литературы, вбивает в головы учеников основы настоящей «светской религии», а точнее — фундаментальные предположения в отношении образа себя (национального). Как это показали Филипп Корриган и Дерек Сэйер, англичане очень широко (гораздо шире, чем границы правящего класса) разделяют культ вдвойне своеобразной культуры — как буржуазной, так и национальной. Так, существует миф об *Englishness*, которому свойственны все неподдающиеся определению и имитации (для не-англичан) качества: *reasonable*, *reasonable*,

*moderation, pragmatism, hostility to ideologi, quirkiness, eccentricity.*¹¹ Национальный план культуры, весьма явный в случае Англии, увековечивающей с чрезвычайной последовательностью очень старую традицию (в отношении судебного ритуала или культа королевской семьи), или в случае Японии, где образование национальной культуры прямо связано с образованием государства, в случае Франции маскируется под видимость универсальности: естественная склонность ощущать причастность к национальной культуре как продвижение в сторону универсального одинаково фундирует как четко интегративное видение республиканской традиции (подпитываемой, в частности, от базового мифа о Всемирной революции), так и весьма изощренные формы универсалистского империализма и интернационального национализма.¹²

Культурное и языковое объединение сопровождается навязыванием доминирующих языка и культуры в качестве законных и отказом от всех других как лишенных прав на существование (местные наречия). Доступ какого-то одного языка или своеобразной культуры к универсальному сразу же делает остальные особенными, частными. Кроме того, поскольку установленная таким образом универсализация требований не сопровождается универсализацией доступа к средствам их выполнения, то она в то же время способствует монополизации универсального единицами и лишению всех остальных их «человечности».

Символический капитал

Все указывает на сосредоточение символического капитала признанной власти, который (не замеченный, кстати, всеми теориями происхождения государства) появляется как условие или, по меньшей мере, сопровождает все другие формы концентрации, если те хотят просуществовать хотя бы какое-то время. Символическим капиталом может быть любое свойство (любой вид капитала: физический, экономический, культурный, социальный), когда оно воспринимается социальными агентами, чьи категории восприятия таковы, что они в состоянии узнать (заметить) и признать, придать ценность этому свойству.

(Пример: честь в средиземноморских странах является типичной формой символического капитала, который существует только через репутацию, т. е. представление о ней, составленное другими в той мере, в какой они разделяют совокупность верований, способных заставить их заметить и оценить качества и определенные поступки как достойные или бесчестящие.) Говоря точнее, это форма, которую принимает любой вид капитала, когда он воспринимается через категории восприятия, являющиеся результатом инкорпорации делений и оппозиций, вписанных в структуру распределения этого вида капитала. Из этого следует, что государство, располагающее средствами навязывания и внушения устойчивых принципов видения и деления, соответствующих его собственным структурам, является исключительным местом концентрации и осуществления символической власти.

Частный случай юридического капитала

Процесс концентрации юридического капитала — объективированной и кодифицированной формы символического капитала — следует собственной логике, которая отлична от логики сосредоточения военного или финансового капитала. В XII и XIII веках в Европе сосуществовали множество правовых систем: церковная юрисдикция, христианские суды и светская юрисдикция, королевский суд, суды сеньоров, суды общин (городов), корпораций, торговые суды.¹³ Юрисдикция сеньора распространялась только на его вассалов и тех, кто проживал на его землях (вассалы дворянского происхождения, свободные люди неблагородного звания и крепостные судились по разным законам). Вначале в юрисдикции короля был только королевский домен и рассматривались только процессы между его прямыми вассалами и жителями его собственных сеньорий; но, как это отмечал Марк Блок, королевский суд понемногу «просочился» во все общество.¹⁴ Несмотря на то что движение концентрации не является результатом одного намерения и еще меньше одного плана и не составляет предмет какого-либо согласования между теми, кто ими пользуется (королем и

юристами, в частности), оно движется всегда в одну сторону. Так создается юридический аппарат. Вначале возникают прево, о которых говорится в «завете Филиппа Августа» (1190 г.), затем бальи — высшие королевские чиновники, проводившие торжественные заседания и контролировавшие прево, потом при Людовике Святом различные чиновничьи корпуса, Государственный совет, Счетная палата, Судебная палата (собственно говоря, *Curia regis*), которые приняли на себя название Парламент и которые, оставаясь всегда на одном и том же месте и состоя исключительно из легистов, стали одним из важнейших инструментов концентрации судебной власти в руках короля благодаря процедуре апелляции.

Королевское правосудие понемногу перетягивает на себя все большую часть уголовных процессов, которые прежде решались судами сеньоров или церкви; «королевские дела», которые посягают на права королевской власти, переходят в ведение королевских бальи (например, преступление против монарха: изготовление фальшивых монет, подделка печати). Но, главное, юристы разрабатывают теорию апелляции, по которой королю подчиняются все юрисдикции королевства. В то время как феодальные суды были суверенными, стало допустимым, что любое судебное решение, вынесенное сеньором-судьей, может быть передано на суд короля стороной, на которую наложено наказание, если это решение противоречит обычаям страны. Такая процедура, называемая мольбой, мало-помалу преобразуется в апелляцию. Судящие постепенно исчезают из феодальных судов, уступая место профессиональным юристам, судебным чиновникам. Апелляция подчиняется правилу компетенции: жалобу подают от более низко стоящего сеньора к более высокостоящему и от герцога или графа к королю (не перепрыгивая через ступени и не обращаясь непосредственно к королю).

Именно таким образом королевская власть при опоре на специфические интересы юристов (типичный пример интереса к всеобщему), которые, как мы еще увидим, создают разного рода легитимирующие теории, согласно которым король представляет общественные интересы и имеет право на полную безопасность и справедливость,

ограничивает компетенцию феодальной юрисдикции (то же самое королевская власть делает и с церковной юрисдикцией, например, ограничивая право церкви предоставлять убежище).

Процесс *концентрации* юридического капитала сопровождается процессом дифференциации, который завершается становлением автономного юридического поля. *Юридический корпус* как чиновничье сословие организуется и иерархизируется: прево становятся рядовыми судьями, рассматривающими рядовые дела; бальи и сенешали из разъездных становятся оседлыми; все больше лейтенантов [помощников судей] становятся безотзывными судебными чиновниками и мало-помалу берут на себя функции штатных чиновников — бальи, оставляя последним только почетные функции. В XIV веке появляется государственное министерство, отвечающее за официальное судебное преследование. Король получает, таким образом, действующих от его имени штатных прокуроров, которые постепенно становятся государственными чиновниками.

Ордонанс 1670 года завершает процесс концентрации, который поступательно лишал церковь и сеньоров их юрисдикции в пользу королевской юрисдикции. Им подтверждены постепенные завоевания юристов. Ответственность по месту преступления (*competence du lieu de delit*) становится правилом; ордонанс утверждает верховенство королевских судей над сеньорами; он перечисляет дела, относящиеся к королевской юрисдикции; он лишает привилегий церковников и общины, подтверждая, что в апелляционном суде всегда заседают королевские судьи. Короче говоря, делегированная компетенция в отношении некоторых ведомств занимает место старшинства или власти, непосредственно осуществляющейся над индивидами.

Как следствие, формирование юридическо-административных структур, являющихся составными частями государства, идет вместе с формированием сословия юристов и того, что Сара Хэнли называет «*Family-State Contract*», соглашение между юридическим корпусом, конституировавшимся как таковой посредством строгого контроля собственного воспроизводства, и государством.

«The Family-State compact provided a formidable family model of socioeconomic authority which influenced the state model of political power in the making at the same time».¹⁵

От чести к почестям

Концентрация юридического капитала является центральным аспектом более широкого процесса концентрации символического капитала в различных его формах. Этот капитал служит основой специфического авторитета обладателей государственной власти и, в частности, такой ее разновидности, как власти наименования. Так, например, король стремится контролировать в целом всю циркуляцию почестей, на которые могут претендовать дворяне: он пытается стать хозяином больших церковных бенефициев, кавалерских орденов, распределения военных и дворцовых должностей и, наконец, главное — дворянских званий. Так понемногу сформировалась центральная инстанция номинации.

Можно вспомнить об арагонских дворянах, о которых писал В. Ж. Кернан и которые называли себя *ricosshombres de natura* — природные дворяне или дворяне от рождения в противоположность дворянству, созданному королем. Это различие, конечно же, играло важную роль в борьбе как внутри дворянского сословия, так и между дворянами и королевскими чиновниками. Здесь противопоставлялись два пути доступа к дворянскому званию: первый, так называемый «природный», был результатом наследования и общественного признания со стороны других дворян и разночинцев; второй — законный — получения дворянского звания, дарованного королем. Обе формы посвящения сосуществовали долгие годы.

Арлетт Жуанна хорошо показала,¹⁶ что вместе с концентрацией в руках короля власти возводить в дворянство, сословная честь, основанная на признании среди равных, а также и другими, и утверждавшаяся и защищавшаяся в состязаниях и подвигах, понемногу уступает место чести (достоинствам), присвоенной государством, которая, сродни бумажным деньгам, имеет ценность на всех рынках, контролируемых государством.

Король сосредоточивает в своих руках все больше и больше символического капитала (Мунье называет это «преданностью»¹⁷), и его власть распределять символический капитал в виде должностей или почестей, воспринимаемых как вознаграждение, не перестает возрастать. Символический капитал дворянства (честь, репутация), основанный на общественном почете, оказываемом негласно при более или менее сознательном общественном консенсусе, находит свою статусную, квазибюрократическую объективацию (в виде эдиктов и приказов, которыми всего лишь признается консенсус).

Показатель этого можно видеть в «больших исследованиях дворянства», которые заставили провести Людовик XIV и Кольбер. Приказом от 22 марта 1666 года повелевалось создание «каталога, содержащего фамилии, имена, проживание и гербы настоящих дворян». Интенданты подвергали строгой проверке документы, подтверждающие дворянские звания (составители генеалогий Королевских родов и судьи по гербам часто спорили между собой по вопросу об истинных дворянах). Дворянство мантии, обязанное своим положением своему культурному капиталу, очень близко логике государственной номинации и логике *cursus honorum*, базирующейся на дипломе об образовании.

Итак, происходит переход от диффузного символического капитала, основанного на одном только коллективном признании, к *объективированному символическому капиталу*, кодифицированному, делегированному и гарантированному государством, короче — бюрократизированному.

Очень точную иллюстрацию этого процесса можно видеть в *законах против роскоши*, которые были призваны упорядочить очень строго иерархизированное распределение символических проявлений (особенно в отношении одежды) между дворянами и разночинцами, а главное — между различными рангами дворян.¹⁸ Государство регламентирует использование тканей и украшений из золота, серебра и шелка и таким образом защищает дворянство от вторжения

разночинцев, но в то же время расширяет и усиливает свой контроль над внутренней иерархией дворянства.

Упадок власти грандов самостоятельно раздавать звания должен был обеспечить королю монополию на возведение в дворянство и — через постепенное изменение должностей, понимаемых как вознаграждение в виде ответственного поста, требующего компетентности и входящего в *cursus honorum*, представляющего бюрократическую карьеру, — монополию номинации. Так постепенно устанавливается эта в высшей мере таинственная власть, являющаяся *power of appointing and dismissing the high officers of state*. Преобразованное таким образом, по выражению Блэкстоуна, в *fountain of honour, of office and of privilege*, государство раздает почести (*honours*), производя *knights* и *baronets*, вводя новые кавалерские ордена (*knighthood*), жалуя преимущественные права на церемониях, назначая пэров (*peers*) и всех обладателей важных государственных постов.¹⁹

Номинация или назначение в конечном итоге представляет собой очень таинственное действие, логика которого очень близка логике магии, описанной Марселем Моссом. Так же как колдун призывает весь капитал веры, накопленный деятельностью магического мира, президент республики, подписывающий приказ о назначении, или врач, подписывающий медицинский сертификат (больничный лист, справку об инвалидности или что-то еще), мобилизует символический капитал, накопленный в и посредством всей сети отношений признания, неразрывно связанной с функционированием бюрократического мира. Кто подтверждает законность сертификата? Тот, кто подписывает документ, дающий право сертифицировать (лицензию). Но кто подписывает этот документ? Мы втягиваемся в бесконечный ряд, в конце которого «нужно остановиться», и мы можем в теологической манере выбрать последнее или первое звено в этой длинной цепи официальных актов подтверждения, для того чтобы дать ему имя «Государство».²⁰ Действуя наподобие банка символического капитала, оно гарантирует все документы, акты одновременно произвольные и незамечаемые в

таком их качестве, т. е. «законный обман». Как говорит Остин: президент республики это тот, кто считает себя президентом республики, но в отличие от сумасшедшего, принимающего себя за Наполеона, за ним признается основание так считать.

Номинация или сертификат принадлежат к классу официальных действий или высказываний, оказывающих символическое воздействие, поскольку они выполнены в санкционированной ситуации уполномоченными, «официальными» лицами, действующими *ex officio*, как обладатели *officium (publicum)*, функции или должности, назначенной государством. Приговор судьи или заключение профессора, процедуры официальной регистрации, постановления или протоколы; акты, предназначенные осуществлять действие закона, как, например, акты гражданского состояния (свидетельства о рождении, браке или смерти или договоры купли-продажи) — все они устанавливают посредством магии официальной номинации, публичного заявления, выполненного по положенной форме, официально назначенными лицами (судьей, нотариусом, приставом, служащим загса) и должным образом зарегистрированного в официальном регистре, социально гарантированные социальные идентичности (например, идентичность гражданина, избирателя, налогоплательщика, родителя, владельца и т. д.) или законные союзы и группы (семьи, ассоциации, профсоюзы, партии и проч.). Авторитетно утверждая то, чем является некто или нечто на самом деле в соответствии с законным социальным определением — т. е. указывая, чем ему позволено быть, чем он (оно) имеет право быть, на какое социальное существование он вправе претендовать и чем заниматься (по противоположности нелегальной активности), — государство поистине осуществляет власть создателя, почти божественную власть, и достаточно вспомнить о бессмертии, которым оно наделяет с помощью таких актов посвящения, как ознаменование памяти кого-либо или «канонизация» в школьных программах, чтобы с полным основанием сказать, перефразируя Гегеля, что суд государства есть окончательный суд.²¹

Дух государства

Чтобы действительно понять власть государства во всей ее специфике, т. е. ту особую форму символической эффективности, в которой она осуществляется, нужно (как я уже советовал в моей теперь уже старой статье²²) соединить в одной объяснительной модели интеллектуальные традиции, обычно воспринимаемые как несовместимые. Прежде всего нужно преодолеть противоположность физикалистского видения социального мира, понимающего социальные отношения как отношения физических сил, и «кибернетическое» или семиологическое видение, которое превращает все отношения в символические, коммуникативные, в отношения смыслов. Самые грубые отношения силы в то же время всегда являются символическими, а действия подчинения, повиновения — когнитивными актами, которые в таком своем качестве приводят в действие когнитивные структуры, формы и категории перцепции, принципы видения и деления. Социальные агенты конструируют социальный мир посредством когнитивных структур («символических форм» по Кассиреру или форм классификации по Дюркгейму, т. е. принципов видения и деления, систем классификаций — существует много способов сказать одно и то же в разных теоретических традициях), которые они могут применить ко всем вещам в мире и в особенности к социальным структурам.

Такие структурирующие структуры являются исторически сложившимися, а следовательно, произвольными (в сосюрсовском смысле этого слова) формами; они конвенциональны *ex instituto*, как говорил Лейбниц, их социальное становление можно проследить. Если распространить далее дюркгеймовскую гипотезу, согласно которой «формы классификации» применяемые «примитивными» народами к миру, являются продуктами инкорпорации структур групп, в которые они входят, то можно увидеть, что эти когнитивные структуры берут начало в деятельности государства. В самом деле, можно предположить, что в дифференцированных обществах государство в состоянии навязать и внушить универсаль-

ным образом — в масштабах одной административно-территориальной единицы — некий номос (*nomos, nemo*: разделить, отделить, сформировать отдельные части), т. е. общий принцип видения и деления, когнитивные и оценочные структуры тождественные или сходные, которые в силу этого служат основанием не только логического, но и нравственного конформизма, — негласного соглашения, дорефлексивного и непосредственного, — в отношении мировосприятия, являющегося началом опыта о мире как «мире здравого смысла». (Феноменологи, которые открыли этот опыт, и этнометодологи, задавшиеся целью описать его, не заботятся о том, чтобы обосновать и осмыслить этот опыт: они не ставят перед собой вопросов о социальном формировании принципов конструирования социальной действительности, которую они пытаются объяснить, и не рассматривают вмешательство государства в формирование тех принципов, которые агенты применяют к социальному порядку.)

В слабо дифференцированных обществах общепринятые принципы видения и деления (парадигмой которых является оппозиция мужского и женского) устанавливаются именно через всю пространственную и временную организацию общественной жизни и, точнее говоря, через ритуалы институционализации, учреждающие решительные различия между посвященными и непосвященными, в умах (и телах) [агентов]. В развитых обществах государство вносит определяющий вклад в производство и воспроизводство инструментов построения социальной действительности. В качестве организующей структуры и регулирующей практики инстанции оно постоянно осуществляет деятельность по формированию устойчивых диспозиций с помощью разного рода принуждений, а также мыслительной и телесной дисциплины, навязываемой им в равной мере всем агентам. Помимо прочего, оно предписывает и внушает все основополагающие принципы классификации: по полу, возрасту, «компетенции» и т. д., и оно само является источником символической ответственности всех ритуалов институционализации, всего того, что, к примеру, составляет основу семьи, а также всего того, что совершается через функционирование об-

разовательной системы — места посвящения, места, где устанавливаются стойкие различия между избранными и отвергнутыми, которые часто носят столь же определяющий характер, как посвящение дворян в рыцари.

Построение государства сопровождается созданием своего рода общего исторического трансцендентального, имманентного всем «подданным». Через условия, которые государство навязывает практикам, оно учреждает и внедряет в головы общепринятые формы и категории восприятия и мышления: социальные рамки восприятия, понимания или запоминания, мыслительные структуры, государственные формы классификации. Тем самым оно создает обстоятельства как бы непосредственного согласования габитусов, являющегося основанием некоторого рода консенсуса по совокупности взаимопризнаваемых бесспорных истин, составляющих здравый смысл. Так, например, ритмичность общественного календаря и, в частности, структура школьных каникул, вызывающих большие «сезонные миграции» в современных обществах, гарантирует в одно и то же время общепринятые объективные референты и придаваемые им принципы субъективных делений, обеспечивающие (помимо неприводимости пережитого опыта) «внутренний опыт времени», достаточно согласованный для того, чтобы социальная жизнь стала возможной.²³

Однако чтобы действительно понять, как достигается непосредственное подчинение государственному порядку, нужно порвать с интеллектуализмом неокантианской традиции и понять, что когнитивные структуры являются не формами сознания, а телесными предрасположенностями, и что подчинение, которое мы выказываем государственным предписаниям, нельзя понимать ни как механическое подчинение силе, ни как сознательное принятие порядка (во всех смыслах этого слова). Социальный мир изобилует призывами к порядку, которые выполняют только те, кто предрасположен их замечать, кто обнаруживает глубоко заложенные телесные диспозиции, однако при этом не выводит их на уровень сознания или расчета. Именно этого доксистического подчинения доминируемых агентов структурам социального порядка, про-

дуктом которого являются их мыслительные структуры, не мог понять марксизм в силу того, что остался ограниченным интеллектуалистской традицией философии сознания. В концепции «ложного сознания», которое ввел марксизм для объяснения эффектов символического доминирования, лишним является «сознание», а говорить об «идеологии» — значит поместить в порядок представлений, поддающихся преобразованиям посредством интеллектуальной конверсии, которую называют «осознанием», то, что помещается в порядке верований, т. е. в самой глубине телесных диспозиций. Подчинение установленному порядку есть результат соглашения между когнитивными структурами, которые коллективная история (филогенез) и индивидуальная история (онтогенез) воплотили в телах, и объективными структурами мира, к которому они применяются. Бесспорность государственных предписаний заставляет признать себя с тем большей силой, что оно [государство] навязывает когнитивные структуры, в соответствии с которыми его нужно воспринимать. (В этой связи следовало бы еще раз проанализировать условия возможности высшей жертвы — *pro patria mori*.)

Необходимо преодолеть неокантианскую традицию даже в ее дюркгеймовской форме еще по одной позиции. Символический структурализм образца Леви-Строса (или Фуко периода «Слов и вещей»), отдавая приоритет *opus operatum*, обрекает себя на игнорирование активного плана символического и, в частности, мистического производства, т. е. не принимает в расчет *modus operandi* или, по выражению Хомского, — «порождающую грамматику». Достоинством символического структурализма является то, что он взял на себя задачу раскрыть согласованность символических систем как таковых, т. е. один из главных принципов их действенности (это хорошо наблюдается в случае права, где к ней стремятся явным образом, но также и в случае мифов или религии). Символический порядок покоится на предписании совокупности агентов тех структурирующих структур, которые обязаны частью своей основательности и прочности тому факту, что они, будучи, по крайней мере, внешне связными и

логичными, объективно согласуются с объективными структурами социального мира. Именно это непосредственное и негласное согласование (ничем не похожее на явное принуждение) лежит в основе отношения докисического подчинения, которое связывает нас всеми бессознательными нитями с установленным порядком. Признание легитимности не является, как это считал Макс Вебер, свободным актом ясного сознания. Оно коренится в непосредственном согласовании инкорпорированных структур, ставших бессознательными, например, структур, формирующих временные ритмы (совершенно произвольное деление суток на часы или расписание школьных занятий), со структурами объективными.

Этим дорефлексивным согласованием объясняется та легкость, в конечном итоге весьма удивительная, с которой доминирующим удается навязать свое господство.

«Ничто не представляется более удивительным тем, кто рассматривает человеческие дела философски, чем та легкость, с которой меньшинство управляет большинством, и то безоговорочное смирение, с которым люди отказываются от собственных мнений и аффектов в пользу мнений и аффектов своих правителей. Если мы будем исследовать, при помощи каких средств достигается это чудо, то обнаружим, что как сила всегда на стороне управляемых, то правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме мнения. Поэтому правление основывается только на мнении; и это правило распространяется как на самые деспотические и диктаторские правления, так и на самые свободные и демократические».²⁴

Удивление Юма поднимает фундаментальный вопрос всей политической философии, вопрос, который оставляют парадоксальным образом в стороне, когда ставят перед собой проблему, на самом деле в обычной жизни не встающую, а именно — вопрос о легитимности. Действительно, если проблема существует, то она состоит главным образом в том, чтобы установленный порядок не составлял проблемы, чтобы вне ситуаций кризиса вопрос о легитимности государства и установленного им порядка

не вставал. У государства нет необходимости давать приказы и совершать физическое насилие чтобы упорядочить социальный мир: он будет существовать столь же долго, сколь государство способно производить инкорпорированные когнитивные структуры, согласованные с объективными структурами, и таким образом обеспечивать веру, о которой говорил Юм, — доксихеское подчинение установленному порядку.

Сказав это, не будем забывать, что такая исконно политическая вера, такая докса, является ортодоксией — правым, господствующим видением, часто необходимым в условиях борьбы с соперничающими представлениями; а также что «природная склонность», о которой говорили феноменологи, т. е. первичный опыт мира здравого смысла — это политически сконструированное отношение, как и сами категории восприятия, которые делают возможным существование ортодоксии. То, что выглядит сегодня очевидным, минуя сознание и выбор, очень часто прежде являлось ставкой в борьбе и утвердилось только в итоге противостояния доминирующих доминируемым. Главным результатом исторического развития является упразднение истории путем вытеснения в прошлое, т. е. в бессознательное, скрытых возможностей, которые оказались не реализованными. Анализ происхождения государства как основания действующих принципов видения и деления в пространстве своей компетенции позволяет понять одновременно доксихеское единение с порядком, установленным государством, а также с собственно политическими основаниями такого естественного с виду единения. Докса есть частная точка зрения, точка зрения доминирующих, которая представляет и заставляет признать себя в качестве всеобщей точки зрения; точка зрения тех, кто господствует, подчиняя себе государство, кто сделал из своей точки зрения всеобщую, создавая государство.

Таким образом, чтобы полностью осознать собственнo символический план государственной власти, можно воспользоваться тем решающим вкладом в теорию символических систем, который через исследование религии

внес Макс Вебер, вводя при этом в анализ специализированных агентов с их специфическими интересами. В самом деле, если он, так же как и Маркс, больше интересовался функциями, чем структурой символических систем (которые он, впрочем, так не называет), то все же его заслугой является то, что он обратил внимание на производителей этого особого рода продукции (т. е. на религиозных агентов в интересующем его случае) и на их взаимодействия (конфликты, соперничество и др.). В отличие от марксистов, которые оставили без внимания существование специализированных агентов производства (даже если можно привести некоторые примеры, когда Энгельс говорил, что нужно изучать сословие юристов, чтобы правильно понять право), Вебер напоминает, что для понимания религии недостаточно изучить только символические формы религиозного типа, как это делали Кассирер и Дюркгейм, или только структуру, присущую религиозному посланию или мифологическому телу, как это делали структуралисты. Вебер придает большое значение производителям религиозного послания, специфическим интересам, которые ими движут, стратегиям, используемым ими в борьбе (например, отлучение от церкви). Таким образом, чтобы получить средство для понимания этих символических систем со стороны их функции, структуры и генезиса одновременно, достаточно применить структуралистский способ мышления (совершенно чуждый Веберу) не только к символическим системам или к пространству возможных символических позиций в отношении какой-то определенной практики (допустим, религиозных посланий), но и к системе агентов, которые их производят, или, точнее, к пространству позиций (то, что я называю религиозным полем), занимаемых ими в конкурентной борьбе, сталкивающей между собой эти позиции.

Это относится и к государству. Чтобы понять символический план воздействия государства и, особенно то, что можно назвать эффектом всеобщего, нужно понять специфическое функционирование бюрократического микрокосма, а следовательно, проанализировать генезис и структуру того мира агентов государства, которые смог-

ли превратиться в государственную знать в процессе установления государства и, в частности, в процессе производства перформативного дискурса о государстве. Под видом определения что есть государство, его порождают на свет, говоря о том, чем государство должно быть, а следовательно, о том, какова должна быть позиция производителя этих речей в разделении труда по доминированию. Следует особое внимание обратить на структуру правового поля, пролить свет на родовой интерес сословия обладателей той особой формы культурного капитала, предрасположенного функционировать как символический, какой является юридическая компетенция, а также обратить внимание на специфические интересы, которые навязываются каждому из них в зависимости от его позиции в еще недостаточно автономном правовом поле, иначе говоря, — в основном по отношению к королевской власти. Чтобы дать себе отчет в эффектах универсализации и рационализации, о которых я упоминал, нужно еще понять почему эти агенты были заинтересованы в придании универсальной формы выражению их частного интереса, в создании теории государственной службы, общественного порядка и в отделении государственного интереса от династического, от «королевского дома», в изобретении «*Res publica*», а затем и республики как высшей по отношению к агентам инстанции, даже если речь шла о короле, являвшемся «временным» ее воплощением. Понять, каким образом — в силу и по причине их специфического капитала и их частных интересов — обладатели юридической компетенции были подведены к тому, чтобы порождать дискурс государства, который при всем том, что служил оправданием их позиции, представлял государство — *fictio juris*, которое мало-помалу перестало быть простой выдумкой юристов и превратилось в самостоятельный порядок, способный принудить к повсеместному подчинению его задачам и его функционированию и заставляющий признать его устои.

Монополизация монополии и государственная знать

Установление государственной монополии физического и символического насилия неотделимо от становления поля борьбы за монополию привилегий, связанных с этой монополией. В качестве компенсации за унификацию и относительную универсализацию, которая ассоциируется с возникновением государства, выступает монополизация единицами всеобщих ресурсов, которые это государство производит и предоставляет (Вебер, а после него и Элиас не учитывали процессы формирования государственного капитала и монополизации этого капитала государственной знатью, которая участвовала в его производстве, или, точнее говоря, которая формировалась как таковая, производя этот капитал). Но эта монополия универсального может быть достигнута только ценой подчинения (по меньшей мере внешнего) этому универсальному и всеобщим признанием универсалистского представления о господстве, воспринимаемая как законное и бескорыстное. Те, кто как Маркс, опрокидывают официальный образ, который бюрократия хочет создать о себе самой, и кто описывают бюрократов как узурпаторов всеобщего, действующих как частные собственники государственных ресурсов, не принимают во внимание вполне реальные эффекты обязательной отсылки к ценностям нейтралитета и бескорыстной преданности государственному интересу, который все более становится необходим функционерам государства по мере продвижения вперед длительной работы по символическому конструированию, в результате которой создается и внедряется официальное представление о государстве как месте универсального и месте служения общему интересу.

Монополизация универсального является итогом универсализации, которая совершается внутри самого бюрократического поля. Это показывает анализ функционирования той странной институции, что называется комиссией — группой лиц, на которых возложена задача соблюдения общего интереса и которым предлагается преодолеть свои частные интересы, чтобы производить

всеобщие суждения. При этом официальные лица должны непрерывно работать над тем, чтобы если не пожертвовать своим частным мнением в пользу «точки зрения общества», то как минимум превратить свое мнение в легитимную точку зрения, т. е. сделать ее универсальной посредством, в частности, обращения к риторике официального.

Всеобщее является предметом всеобщего признания, а принесение в жертву эгоистических интересов (особенно экономических) признается всеми как легитимное (общий суд может лишь оценить и одобрить попытку подняться над частной и эгоистической точкой зрения индивида и встать на точку зрения группы, считая их проявлением признания ценности группы и самой этой группы как создателя всякой ценности, а следовательно, перехода от *is* к *ought*). Это подразумевает, что все социальные миры в той или иной степени стремятся предложить материальные и символические прибыли от универсализации (это несмотря на то, что они следуют стратегиям «вести себя в соответствии»). И что миры, которые, подобно бюрократическому полю, настойчиво требуют подчинения всеобщему, являются особенно предрасположенными к получению этих прибылей. Показательно, что административное право, имеющее целью сформировать мир преданности всеобщему интересу и выдающее за свой фундаментальный закон обязательство бескорыстия, возводит подозрение относительно щедрости в практический принцип оценки практик: «правительство не делает подарков», административное действие, приносящее выгоду в индивидуальном порядке какому-либо частному лицу, является подозрительным и даже недозволенным.

Прибыль от универсализации, конечно же, является одним из исторических двигателей прогресса универсального. Все это в той мере, в какой оно способствует созданию мира, где будут признаваться (хотя бы на словах) общечеловеческие ценности (разум, достоинство и т. п.) и где учреждается процесс взаимообразного усиления стратегий универсализации, направленных на получение прибылей (пусть даже отрицательных), связанных с подчинением всеобщим правилам, с одной стороны, и структур

этих миров, официально посвятивших себя общечеловеческому — с другой. Социологический взгляд не может не замечать расхождения между официальной нормой как она формулируется в административном праве и действительностью административной практики со всеми ее нарушениями обязательства бескорыстия: «использованием служебного положения в личных целях» (злоупотребление материальными благами или общественным положением, коррупция или взяточничество) или, в более извращенной манере, незаконные льготы, административное невмешательство, отступления от закона, торговля служебным положением, — всем тем, что служит получению выгоды от неприменения или нарушения закона. Но вместе с тем, социолог не может не видеть результатов деятельности этой нормы, требующей от агентов принести свои частные интересы в жертву обязательствам, входящим в их функции («служащий должен отдавать себя работе целиком»); точнее, — если быть реалистом — он не может не видеть эффектов личной заинтересованности в бескорыстии и всех тех разновидностях «лицемерного благочестия», появлению которых может способствовать парадоксальная логика бюрократического поля.

Примечания

¹ *Bernhard T. Maîtres anciens*. Paris: Gallimard, 1988. P. 34.

² Цит. по: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 645.

³ *Bonney R. Guerre, fiscalité et activité d'Etat en France (1500–1660): Quelques remarques préliminaires sur les possibilités de recherche* // Ph. Genet, M. Le Mené (éds). *Genèse de l'Etat moderne. Prélèvement et redistribution*. Paris: Ed. du CNRS, 1987. P. 193.

⁴ В обществах, не имеющих государственности (как древняя Кабилия или Исландия в сагах; см.: *Miller W.I. Bloodtaking and Peacemaking*. Chicago: The University of Chicago, 1990), не существует делегирования функций насилия группировке профессионалов, четко идентифицируемых обществом. Как следствие, нельзя уйти от логики кровной мести (править суд лично: рекба, вендетта) или самозащиты. Отсюда проблемы, поднятые вели-

кими трагиками: акт правосудия — Орест — здесь практически не отличается от первоначального преступного действия. Вопрос о признании легитимности государства стремятся замолчать, но он напоминает о себе в отдельных экстремальных ситуациях.

⁵ Следовало бы детально изучить постепенный переход от «наследного» (или «феодалного») использования налоговых ресурсов, в которых значительная часть общественного дохода предназначалась для подарков и широких жестов государя, призванных обеспечить ему признание потенциальных конкурентов (и тем самым, помимо прочего, признание законности сбора налогов), от «бюрократического» использования в качестве «государственных расходов». Такая трансформация является основополагающим параметром перехода от династического государства к «обезличенному».

⁶ *Dubergé J. La psychologie sociale de l'impôt. Paris: PUF, 1961; Schmollers G. Psychologie des finances et de l'impôt. Paris: PUF, 1973.*

⁷ *Hilton R.H. Resistance to taxation and to other state impositions // Genet Ph., Le Mené M. (éds). Op. cit. P. 169–177, 173–174.*

⁸ Такое отделение короля или государства от конкретных воплощений власти находит свое завершение в мифе о «потаенном короле» [вариант: спящем, часто внутри горы, короле легендарного прошлого; см. легенды о короле Артуре, Фридрихе Барбароссе, Карле Великом и др. — *Прим. перев.*]. (*Bercé Y. M. Le roi caché. Paris: Fayard, 1991*).

⁹ *Bercé Y. M. Op. cit. P. 164.*

¹⁰ Унифицирующее воздействие государства на сферу культуры, являющуюся основополагающим элементом строительства национального государства, проводится через школу и распространение начального образования в течение XIX века. Создание национального общества идет вместе с утверждением всеобщей образованности: все индивиды равны перед законом, государство обязано сделать из них граждан, имеющих культурные средства для активного осуществления ими своих законных прав.

¹¹ *Corrigan Ph., Sayer D. The Great Arch, English State Formation as Cultural Revolution. Oxford: Basil Blackwell, 1985. P. 103sq.*

¹² См.: *Bourdieu P. Deux impérialismes de l'universel // Faure C., Bishop T. (ed.) L'Amérique des Français. Paris: Ed. François Bourin, 1992. P. 149–155.* Культура столь глубоко укоренена в патриотических символах, что любой критический вопрос о ее роли и функционировании воспринимается как предательство и святотатство.

¹³ *Esmein A.* Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XII^e siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1882. Rééd. in: *Berman H. J.* Law and Revolution. The Formation of Western Legal Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1983.

¹⁴ *Bloch M.* Seigneurie française et manoir anglais. Paris: Armand Colin, 1967. P. 85.

¹⁵ *Hanley S.* Engendering the State: Family Formation and State Building in Early Modern France // French Historical Studies. 1989. N°16 (1). P. 4–27.

¹⁶ *Jouanna A.* Le Devoir de révolte, la noblesse française et la gestation de l'Etat moderne. 1559–1561. Paris: Fayard, 1989.

¹⁷ *Mousnier R.* Les institutions de la France sous la monarchie absolue. T.1. Paris: PUF, 1980. P. 4.

¹⁸ *Fogel M.* Modèle d'état et modèle social de dépense: les lois somptuaires en France de 1485 à 1560 // Genet Ph., Le Mené M. Op. cit. P. 227–235, (spéc. p. 232).

¹⁹ *Maitland F.W.* The Constitutional History of England. Cambridge: Cambridge UP, 1948. P. 429.

²⁰ В связи с Кафкой я показал, насколько социологическое и теологическое воззрения, несмотря на внешние различия, похожи друг на друга. (*Bourdieu P.* La dernière instance // Le siècle de Kafka. Paris: Centre Georges Pompidou, 1984. P. 268–270.)

²¹ Опубликование — в смысле процедуры, имеющей целью сделать что-то достоянием публики, доступным каждому для ознакомления, — всегда включает в себе возможность узурпации права осуществлять легитимное символическое насилие, целиком принадлежащее государству (которое подтверждается, к примеру, публикациями о заключении брака или через обнародование закона). Государство всегда стремится управлять всеми видами опубликования: печатанием и распространением книг, театральными постановками, публичными проповедями, карикатурами и т. д.

²² *Bourdieu P.* Sur le pouvoir symbolique // Annales. 1977. N°3. P. 405–441. См. перевод на русский язык в настоящем издании: «Символическая власть».

²³ Другим примером этого может служить деление университетского и научного мира на дисциплины, вписанное в умы в форме дисциплинарных габитусов, порождающих диспропорциональные отношения между представителями различных дисциплин, а также ограничения и искажение представлений и практик.

²⁴ Цит. по: *Юм Д.* О первоначальных принципах правления / Пер. Е. С. Лагутина // Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. / Пер. с англ.; Примеч. И. С. Нарского. М.: Мысль, 1996. С. 503–504.

ОТ «КОРОЛЕВСКОГО ДОМА» К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИНТЕРЕСУ:

Модель происхождения бюрократического поля*

Главный замысел данного исследования — попытаться раскрыть специфические характеристики государственного интереса, которые скрываются за очевидностью, обеспеченной согласием между разумом, сформированным государством, государственным разумом и структурами государства.¹ Нужно, следовательно, не столько задаваться вопросами о факторах возникновения государства, сколько задуматься о логике исторического процесса становления такой исторической реальности, как государство: сначала в его династической форме, а потом в бюрократической. Нужно не столько описывать (т. е. составлять некий генеалогический рассказ) процесс автономизации бюрократического поля, подчиняющегося собственной бюрократической логике, сколько выстраивать модель этого процесса, а точнее — модель перехода от династического государства к бюрократическому, от государства, сводящегося к королевскому дому, к государству, сформированному как поле сил и поле борьбы, направленных на завоевание монополии легитимной манипуляции общественным богатством.

* © Bourdieu P. De la maison du roi à la raison d'Etat // Actes de la recherches en sciences sociales. 1997. № 118. P. 55–68.

Р. Дж. Бонни,² исследуя современное национальное государство, заметил, что мы рискуем упустить из виду предшествующее ему династическое: «На протяжении длительного времени до 1660 года (а некоторые считают, и позже) большинство европейских монархий не были национальными государствами в нашем понимании, за исключением — скорее случайным — Франции».³ Не проведя четких различий между династическим и национальным государствами, мы не сможем уловить специфики современного государства. Последняя как никогда хорошо проявилась во время длительного переходного периода, приведшего к формированию современного государства, и была результатом особой работы по нововведению, разрыву и переопределению.

Но, может, следовало бы быть более радикальным и вообще не называть династическое государство государством, как это сделал В. Стибер.⁴ Он подчеркивает ограниченную власть германского императора как монарха, назначенного в результате выбора, требующего папской санкции: немецкая история XV века отмечена политикой заговоров князей, она характеризуется стратегиями наследования, направленными на процветание семьи и княжеского владения [*estate*]. Здесь нет ни одной черты современного государства. Только в XVII веке во Франции и Англии проявляются основные отличительные черты начинающего формироваться современного государства. Однако в 1330–1660 годах для европейской политики все еще характерны персональный взгляд — «*proprietary*» — князей на свое правление, давление феодальной знати, а также претензии церкви на определение норм политической жизни.

Нужно задаться вопросом не о факторах появления государства, но о логике исторического процесса, согласной которой — внутри и посредством некоего рода *кристаллизации* — сложилась как система такая исторически беспрецедентная реальность, которой является династическое и, что еще более необычно, бюрократическое государство.

Особенность династического государства

Изначальное накопление капитала завершилось в соответствии с типичной логикой *дома* — совершенно оригинальной экономической и социальной структуры — становлением *системы стратегий воспроизводства*, благодаря которым дом обеспечивает свое непрерывное продолжение. Действуя как «глава дома», король распоряжается его собственностью (в частности, знатностью как символическим капиталом, накопленным домашней группой согласно совокупности стратегий, главнейшей из которых является брак), чтобы обустроить государство, как администрацию и как территорию, которое затем мало-помалу начинает отходить от логики «дома».

Остановимся на некоторых методических предпосылках. *Двойственность династического государства*, с самого своего начала демонстрирующего определенные черты «современности» (например, деятельность легистов, которые благодаря действующей форме школьного воспроизводства и своей технической компетенции обладают некоей автономией по отношению к династическим механизмам), дает повод к трактовке, стремящейся покончить с двойственностью исторической действительности. Тяга к «этнологизму» может опираться на архаические черты: так, коронацию, например, можно свести к примитивному ритуалу освящения, если забыть о том, что ей предшествуют приветственные возгласы, овации или исцеление золотушных, что обеспечивает передачу наследуемой по крови харизмы и божественного назначения. Напротив, «этноцентризм» (в паре с анахронизмом) можно увязать лишь с признаками современности, с существованием абстрактных принципов и законов, выработанных канониками. Однако поверхностное понимание этнологии препятствует использованию ее достижений в области «домашних обществ» для изучения верхушки государства.

Можно предположить, что самые фундаментальные черты династического государства могут в некотором роде быть выведены из модели дома. Для короля и его семьи государство отождествляется с «королевским домом», понимаемым как наследство, включающее соб-

ственно королевское семейство, т. е. членов семьи, и этим наследством нужно «по-хозяйски» распорядиться. Объединяя совокупность родов и владений, дом возвышается над индивидами, олицетворяющими его, начиная прямо с главы дома, который должен уметь поступаться своими интересами или личными чувствами ради продления материального, а главное — символического наследия (честь дома или родового имени).

Как считает Э. У. Льюис,⁵ *способ наследования* определяет королевство. Королевская власть — это *честь*, передаваемая по агнатической наследственной родовой линии (право крови) по праву первородства; государство или королевство сводится к королевской семье. Сообразно династической модели, устанавливаемой в королевской семье и распространяемой на все дворянство, главная честь и наследуемые личные земли передаются старшему сыну, *наследнику*, чей брак рассматривается как политическое дело самой большой важности. Семья защищается от угрозы раздела, выделяя младшим землю в удел (такая компенсация призвана обеспечить согласие между братьями, причем королевские завещания рекомендуют каждому принять свою долю без возражений), а также организует их браки с наследницами или посвящает их Церкви.

К французскому или английскому королевству, вплоть до достаточно позднего времени, применимо высказывание Марка Блока о средневековой сеньории, основанной на «слиянии финансовой группы с группой, осуществляющей верховную власть».⁶ Именно отцовская власть устанавливает модель господства: господствующий оказывает защиту и поддержку. Как в древней Кабилии, где политические отношения неавтономны и зависят от родственных связей, где они строятся по модели этих связей, то же наблюдается и в экономических отношениях. Власть покоится на личных и аффективных связях, определяемых социально как верность,⁷ любовь, доверие — отношениях, поддерживаемых постоянно, в том числе и посредством «щедрых жестов».

Возвышение государства над временно воплощающим его королем есть превосходство короны, т. е. превосходство «дома» и династического государства, которое

вместе со своей бюрократической системой остается в его подчинении. Так, Филипп Красивый является главой рода: он окружен близкими родственниками, «семья» разделена на разные «палаты», специальные службы, сопровождающие короля во время его поездок. Принцип легитимации генеалогический, обеспеченный кровнородственными связями. Именно так можно понимать мифологию двух тел короля, о которой так много говорят историки вслед за Канторовичем и которая символически обозначает этот дуализм превосходства институции над личностью, временно ее воплощающей в земной жизни. (Такой дуализм можно наблюдать и у беарнских крестьян, когда мужская половина дома, определяемого как совокупность предметов и членов семьи, часто называется именем, за которым следует имя дома, а потому, к примеру, зять, проживающий в доме родителей жены, фактически принимает ее фамилию.) Король — это «глава дома», социально уполномоченный проводить династическую политику, внутри которой матримониальные стратегии занимают решающее положение; он служит величию и процветанию своего «дома».

Многие *матримониальные стратегии* направлены на расширение территорий при помощи династических союзов, базирующихся на одной лишь личности принца. В качестве примера можно было бы взять династию Габсбургов, которые в XVI веке значительно увеличили свою империю благодаря удачным политическим бракам: Максимилиан Первый получил Франш-Конте и Нидерланды через брак с Марией Бургундской, дочерью Карла Смелого; его сын Филипп Красивый женился на Безумной Жанне, королеве Кастильской, от этого брака родился Карл Пятый. Точно так же не вызывает сомнений, что многие конфликты и, в первую очередь, так называемые войны за наследство представляют собой способ осуществления *стратегий наследования* другими средствами. «Хорошо известна война за наследство в Кастилии (1474–1479): если бы не победа Изабеллы, то вместо династической унии Кастилии и Арагона мог бы возникнуть союз Кастилии и Португалии. Война Карла Пятого с герцогством Гельдерландским вовлекла это герцогство в Бур-

гундский союз 1543 года: если бы победил лютеранский герцог Вильгельм, то возникло бы сильное антигабсбургское государство, собранное вокруг Клева, Юлиха и Берга и простирающееся вплоть до Зюйдерзее. Однако раздел Клева и Юлиха в 1614 году в итоге войны за наследство положил конец этой слабой возможности. Союз корон на Балтике между Данией, Швецией и Норвегией распался в 1523 году, но при каждой последующей войне между Данией и Швецией вопрос о союзе вставал снова; лишь в 1560 году династическая борьба Ольденбургского дома с домом Ваза разрешилась путем вхождения Швеции в ее «естественные границы». Ягеллоны устанавливают в 1386—1572 годах династический союз Польши и Литвы, преобразовавшийся после 1569 года в конституционный. Вместе с тем, династический союз Швеции с Польшей был целью Сигизмунда Третьего; польские короли стремились к нему до 1660 года. Они лелеяли надежды и в отношении России: в 1610 году сын Сигизмунда Третьего Владислав был зван на царство после боярского переворота».⁸

Одно из достоинств модели дома в том, что она позволяет отойти от телеологического воззрения, основанного на ретроспективной иллюзии, представляющей становление Франции как «проект», последовательно реализованный ее королями. Так, Шеруэль в своей «Истории монархического правления во Франции» явным образом указывает на «волю» Капетингов построить монархическое французское государство; неудивительно, что некоторые историки осуждают введение системы уделов, ответственной за «раздробление» королевских владений.

Династическая логика полностью учитывает политические стратегии династических государств и позволяет увидеть в них особого типа стратегии воспроизводства. Но нужно еще задаться вопросом о средствах, а точнее, о имеющих у королевской семьи особых преимуществах, которые позволяют ей одерживать победу над соперниками.

Как мне кажется, один только Норберт Элиас открыто ставит этот вопрос и предлагает в ответ на него свой «закон монополии» — решение, которое я не буду сейчас подробно обсуждать,

но замечу, что оно мне кажется вербальным и тавтологическим: «Когда внутри социальной единицы определенной протяженности существует множество более мелких единиц, формирующих, в силу их взаимозависимости, эту крупную единицу, то, обладая более или менее равной социальной силой, и не будучи ограничены установленной монополией, они могут вступить в свободную борьбу за захват социальной власти и прежде всего за средства существования и средства производства, причем велика вероятность, что одни из этой борьбы выйдут победителями, а другие побежденными, и что удача окажется в руках немногих, в то время как другие будут уничтожены или попадут под власть этих немногих».⁹

Наделенный «властью полулитургической природы», которая ставит его «вне всех остальных князей, его соперников»,¹⁰ сочетая суверенитет (римское право) с властью сюзерена, что позволяет ему монархически пользоваться *феодальной логикой*, король занимает положение, отличающееся от других и придающее отличия, что само по себе обеспечивает *начальное накопление символического капитала*. Он — феодальный глава, обладающий характерной властной особенностью, которая дает ему резонные шансы на *признание его претензии* называться *королем*. В самом деле, по излюбленной экономистами логике «спекулятивного пузыря», он с полным основанием может считать себя королем, поскольку другие верят (хотя бы отчасти), что он им является; каждый должен считаться с фактом, что другие считают с тем, что он — король. Таким образом, достаточно минимального отличия, чтобы получить максимальное расхождение, поскольку оно отделяет его от всех остальных. Кроме того, король оказывается в центральной позиции и на этом основании располагает информацией обо всех других, которые — за исключением случаев *коалиции* — сообщаются между собой только через него, а потому он может контролировать их альянсы. Король оказывается, таким образом, в положении над схваткой, он предрасположен к исполнению функции арбитра, он — инстанция, к которой вызывают.

Примером, иллюстрирующим данную модель, может служить анализ Музафара Алама, показывающий, каким образом вследствие заката Могольской империи, вызванного упадком императорской власти, а также усилением власти местной знати и автономии провинций, местные главы продолжали соотноситься через «некую видимость имперского центра», продолжая придавать ему легитимирующую функцию. *«Again, in the conditions of unfettered political and military adventurism which accompanied and followed the decline of imperial power, none of the adventurers was strong enough to be able to win the allegiance of the others and to replace the imperial power. All of them struggled separately to make their fortunes and threatened each other's position and achievements. Only some of them, however, could establish their dominance over the others. When they sought institutional validation of their spoils, they needed a center to legitimize their acquisitions».*¹¹

Характерные противоречия династического государства

Начальное накопление капитала совершается в пользу одного лица: зарождающееся бюрократическое государство (а также бюрократическая и связанная с ним образовательная формы правления и воспроизводства) остается в личной собственности «дома», который продолжает подчиняться патримониальной форме правления и воспроизводства. Король отказывается от личных властных привилегий в пользу единоличной власти; он увековечивает в своей династии способ семейного воспроизводства, противоречащий тому способу, который он устанавливает (или который устанавливается) для бюрократии (где важны заслуги и компетенция). Он концентрирует в своих руках различные формы власти, в частности, экономическую и символическую, и перераспределяет их в «персонализированном» виде («щедроты»), способствующем возникновению «личной» привязанности. Отсюда всякого рода противоречия, которые играют определяю-

шую роль в преобразовании династического государства, хотя именно их чаще всего забывают включить в анализ факторов «рационализации». Например, такая форма конкуренции между государствами, как межнациональные войны, приводит к концентрации и рационализации власти, к процессу самоподдержки, поскольку необходимо обладать властью, чтобы вступать в войну, призванную концентрировать власть; или, другой пример, конкуренция между центральной властью и местными властями.

С одной стороны, до последнего времени можно было наблюдать постоянство старых структур патримониального типа. Например, описываемая Роланом Мунье живучесть моделей учитель/преданный ученик или покровитель/«креатура» внутри самого набюрократического сектора.¹² Желая показать, что для понимания реального функционирования государственных институтов недостаточно анализировать одну лишь их историю, Р. Бонни указывает:

«Система патронажа и клиентелы представляла основную силу, действующую за фасадом официальной административной системы, описать которую значительно проще, поскольку отношения патронажа в силу самой их природы ускользают от историка. Вместе с тем, значение министра, госсекретаря, управляющего финансами или королевского советника одинаково зависит от титула и от влияния его самого или его покровителя. Эта влияние в значительной мере держится на личностных качествах самого персонажа, но еще больше — на личности покровителя».¹³

Другим объясняющим фактором служит существование кланов, основанных на семье (часто ошибочно называемых «партиями»), которые — как это ни парадоксально — участвуют, хотя и не прямо, в процессе бюрократизации: «Крупные кланы знати, уважающие законы или оспаривающие их, являются структурными составляющими монархии», а ««фаворит» использует свою абсолютную власть против недовольных или подозреваемых в недовольстве членов королевской семьи».¹⁴

Амбивалентность государственной системы, где смешиваются домашние дела и политика, интересы королевского дома и государства, парадоксальным образом становится через демонстрируемые ею противоречия одним из главных принципов утверждения бюрократии. Становление государства совершается отчасти под прикрытием недоразумений, порожденных тем фактом, что можно с чистой совестью выражать неоднозначные структуры династического государства в определенном языке, а именно в языке права, который сообщает им совершенно иное основание и тем самым готовит их преодоление.

Несомненно, династический принцип, выраженный языком римского права при помощи этноцентрического толкования юридических текстов, начинает в XIV–XV веках постепенно преобразовываться в новый, собственно «государственный», принцип. Династическая организация, игравшая главную роль уже при Капетингах (например, коронация наследника в детском возрасте), достигает расцвета со становлением *королевской семьи*, состоящей из мужчин и женщин, в чьих жилах течет королевская кровь («принцы крови»). Типично династическая метафора королевской крови формулируется в соответствии с логикой римского права, которая для выражения родства пользуется словом «кровь» (*jura sanguinis*). Карл V перестраивает некрополь Сен-Дени: все персоны королевской крови (включая жен и детей, мальчиков и девочек, даже умерших в раннем возрасте) были погребены вокруг Людовика Святого.

Юридический принцип опирается на типично династическое понимание короны как принципа суверенности, которая ставится выше персоны короля. Начиная с XIV века, это абстрактное слово обозначает королевские владения («владения короны», «доходы короны») и «династическую преемственность — цепь королей, в которой отдельная персона является лишь одним из звеньев».¹⁵ Корона подразумевает неотчуждаемость земель и прав феодалов от королевских владений, потом от самого королевства; она указывает на *dignitas* и *maiestas* отправления функции короля (постепенно отделяющуюся от личности короля). Таким образом, постепенно, через идею

короны и новое толкование идеи дома, превосходящего своих членов, проводится понимание автономной инстанции, не зависящей от личности короля. Юристы несомненно склонны создавать творческую неразбериху между династическим представлением дома, который продолжает их занимать, и юридическим представлением государства как *corpus mysticum* по типу церкви (Канторович).

Вес структур родства и опасность дворцовых войн оказывает парадоксальным образом давление на продолжение династии и на власть государя, которая повсеместно — от архаических империй до современных государств — способствует развитию форм власти, не зависящих от родства, как в своем функционировании, так и в воспроизводстве. Предприятие «государство» есть место оппозиции, подобной той, что Берль и Минс выделяли в связи с предприятием, а именно оппозиция наследных «собственников» власти (*owners*) «функционерам» (*managers*), т. е. «кадрам», нанятым за их компетенцию и не имеющим наследственных титулов. Следует, однако, поостеречься реифицировать данную оппозицию, как это было в случае с предприятием. Требования *внутридинастической борьбы* (в частности, между братьями) лежат в основании первых проектов *разделения труда по господству*. Именно наследники должны были опираться на управляющих для продления своего рода; именно они достаточно часто должны были прибегать к новым ресурсам, которые им доставляла бюрократическая централизация, чтобы преодолеть угрозы со стороны их династических соперников. Например, как в случае короля, использующего ресурсы казны для подкупа главы конкурирующего рода или, более тонко, для контроля за конкуренцией между своими приближенными путем раздачи — в соответствии с занимаемым в иерархии местом — символических прибылей, обеспеченных куриальной организацией.

Таким образом, мы находим почти повсеместно тройное разделение власти: *король*; его *братья* (в широком смысле), т. е. династические соперники, чья власть покоится на династическом принципе организации дома; *министры короля*, *homines novi*, чаще всего назначенные за их компетенцию. Сильно упрощая, можно сказать, что

король нуждается в министрах, чтобы ограничивать и контролировать власть своих братьев, и наоборот, — использует братьев для ограничения и контроля над властью министров.

Великие земледельческие империи, состоящие главным образом из мелких производителей, живущих замкнутыми на себе общинами и находящихся под господством меньшинства, обеспечивающего порядок и управление насилием (воины), а также управление официальной мудростью, хранящейся в письменном виде (писцы), совершают четко обозначенный разрыв семейных связей с помощью учреждения крупных бюрократий париев, исключенных из политического воспроизводства: евнухов, священников, обреченных на безбрачие, чужеземцев, не имеющих родственников в стране (как в преторианских гвардиях дворцов и финансовых служб империй) и лишенных прав или, в крайних случаях, рабов, которые являлись собственностью государства, и чья собственность и пост могли быть в любой момент отобраны государством.¹⁶ В Древнем Египте различие между царской семьей и высшей администрацией проводилось таким образом, что власть делегировалась скорее новым людям, чем членам царской семьи. Также и в античной Ассирии (Гарелии) *wadu* были одновременно рабами и «функционерами». В империи Ахеменидов, состоящей из Мидии и Персии, высшими управленцами часто были греки. В Монгольской империи высшие управленческие функции исполнялись почти исключительно иностранцами. Самые интересные примеры дает нам Османская империя. Чтение «Баязида» позволяет представить, каким образом братья султана и его визирь (бюрократ, наделенный властью контролировать среди прочих и самих братьев) создавали постоянную угрозу султану. Радикальным решением данной проблемы стало принятие закона о братоубийстве, который предписывал умерщвлять братьев наследника, сразу по его восшествии на престол.¹⁷ Во многих империях древнего Востока именно иностранцы, в особен-

ности перешедшие в ислам христиане, получали доступ к высшим сановным должностям.¹⁸ Оттоманская империя создала себе космополитическую администрацию,¹⁹ которую называли «сбором», состоящим, однако, из людей преданных, причем оттоманский «*kul*» означал одновременно «раб» и «слуга государства».

Таким образом, мы можем сформулировать основной закон такого первичного разделения труда по господству между наследниками — династическими соперниками, наделенными потенцией к воспроизводству, но доведенными до политической импотенции, и облатами — обладающими политической силой, но лишенными возможности воспроизводиться. Чтобы ограничить власть наследных представителей династии, прибегают к найму на важные посты людей, не имеющих отношения к династии, *homines novi*, облатов, обязанных всем государству, которому они служат, и находящихся — по меньшей мере, теоретически — под постоянной угрозой потерять полученную из его рук власть. Для упреждения опасности монополизации, исходящей от всякого обладателя власти, основанной на специализированной, более или менее редкой, компетенции, система набора на должность строится таким образом, чтобы исключить всякую возможность воспроизводства (в предельном случае это евнухи или священники-целибаты) и возможность передачи власти по династическому типу, либо использования статуса функционера для учреждения власти, организованной по принципу самостоятельной легитимности, независимо от той, что дана государством, т. е. легитимности на определенных условиях и на определенное время. (Можно предположить, что папское государство начало рано, уже в XII–XIII веках, эволюционировать в сторону бюрократического государства именно благодаря уходу от династической модели семейной преемственности, которая иногда продлевалась по линии дядя-племянник, благодаря тому, что оно не имело территории, но опиралось на налоги и право.)

Существует огромное множество самых разнообразных примеров проявления этого основного закона в раз-

ных цивилизациях: меры, направленные на предупреждение появления системы контрвласти, построенной по династической модели, т. е. независимой в своем воспроизводстве и наследуемой (именно этот момент послужил развилкой между феодализмом и империей). Так, в Османской империи, сановникам определяется *timar* — доход с земель, но сами земли в собственность не даются. Часто встречается положение, когда власть атрибутируется строго *пожизненно* (как celibat у священнослужителей) и с расчетом на облатов (парвеню, неукорененных) или даже на париев. Облат — полная антитеза брату короля. Получая все от государства (или, в другое время, от партии), облат дает все государству, которому он не может ничего противопоставить за неимением ни собственных интересов, ни сил. Пария — предельный случай облата, поскольку он может в любой момент быть отброшен государством в небытие, из которого его это государство извлекло щедрым жестом (как, например, во времена Третьей республики студенты, получившие стипендию от государства и облагодетельствованные системой образования).

Во Франции Филиппа Августа, так же как и в земельческих империях, бюрократия набиралась среди нижних слоев *homini novi*. И, как мы уже могли заметить, французские короли постоянно опирались на «фаворитов», которые — уже само слово на это указывает — выбирались случайным образом, чтобы противодействовать власти «грандов». Велась непрекращающаяся борьба между близкими короля (генеалогически) и приближенными фаворитами, которые пытались заменить первых в благорасположении государя.

«Екатерина Медичи ненавидит Эпернона и пытается всеми средствами подорвать его репутацию. Мария Медичи пытается сделать то же самое с Ришелье во время проведения “дня дураков”. Гастон Орлеанский организовывал бесконечные заговоры против министра, которого он обвинял в тирании, поскольку он являлся преградой между королем и его семьей. Здесь двойной расчет: “фаворит”, ставший “премьер-министром”,

должен быть богатым и влиятельным; его рассматривают как того, кто привлекает к себе клиентелу, которая иначе могла бы пойти пополнять ряды оппозиции. Баснословное богатство Эпернона, Мазарини и Ришелье давало им средства для проведения своей политики. Генрих Третий с помощью Эпернона и Жуайеза мог контролировать государственный аппарат, армию и некоторые правительства. Благодаря этим двум своим друзьям он чувствовал себя почти королем Франции».²⁰

Роль париев можно понять только при условии учета двойственности технической компетенции — *technè* и специализации, — составляющих основу власти виртуально автономной и потенциально опасной (Бернар Гене заметил, что вплоть до 1388 года функционеры гордились своей преданностью больше, чем компетентностью²¹) и предмет глубоко амбивалентного отношения во многих архаических обществах. Так, известно, что в земледельческих обществах ремесленник (*demiourgos*), особенно кузнец, а потом золотых дел мастер и оружейник были предметом представлений и толкований весьма двойственного характера, внушая одновременно страх и презрение, были «заклеймены». Владение специальностью — будь то металлургия или часто ассоциирующаяся с ней магия, финансы или при другом порядке воинские способности (наемники, янычары, элитные части армии, кондотьеры) — может наделить опасной властью. То же и в отношении писца: известно, что в Османской империи писцы (*katib*) пытались узурпировать власть, а семейства шейхов-уль-ислам стремились монополизировать религиозную власть. Писцы в Ассирии, обладая монополией на клинопись, сосредотачивали в своих руках большую власть. Их удаляли от двора, а когда хотели с ними советоваться, то приглашали небольшими группами по два-три человека, не давая возможности объединиться. Подобные беспокойные специальности часто выпадали на долю этнических групп, которые легко могли быть идентифи-

цированы в культурном плане, т. е. стигматизированных, а потому не допускающих к политике, власти над средствами насилия и почести. Эти специальности были оставлены на париев, которые позволяли группе и представителям ее официальных ценностей добиваться этих ценностей, официально отказываясь от них. Власть и даваемые ею привилегии, таким образом, оказываются замкнуты в силу логики их происхождения внутри стигматизированных групп, которые не имеют возможности воспользоваться ими в полной мере, а главное — получать от них политические дивиденды.

Держатели династической власти заинтересованы в том, чтобы опираться на группы, которые, — как в случае с меньшинствами, специализирующимися на профессиях, связанных с финансами, как например, евреями, известными своими профессиональными умениями и способностями оказывать вполне конкретные услуги и доставлять определенные товары,²² — должны быть или стать бессильными (в военном или политическом отношении), чтобы получить разрешение использовать средства, опасные в других, «плохих», руках. В такой перспективе — перспективе разделения властей и дворцовых войн — становится понятным переход от феодальной к наемной армии. Армия нанятых за вознаграждение является по отношению к войску «феодалов» или к «партии» тем же, чем чиновник или «фаворит» для братьев короля или членов королевского дома.

Принцип основного противоречия династического государства (между братьями и министрами короля) состоит в *конфликте двух способов воспроизводства*. Действительно, по мере становления династического государства и дифференциации поля власти (вначале король, епископы, монахи, рыцари, затем юристы — проводники римского права, за ними парламент, потом торговцы, банкиры, а затем и ученые²³), а также с началом разделения труда по господству, — упрочился *смешанный, двойственный и даже противоречивый характер* способа воспроизводства, действующего внутри поля власти. Династическое

государство продлевало жизнь способу воспроизводства, основанному на наследовании, на идеологии крови и рождения и противоречащему способу воспроизводства, установленного им для государственной бюрократии и связанного с развитием образования, причем последнее само связано с рождением профессионального корпуса чиновников. Династическое государство стремилось сочетать два взаимоисключающих способа воспроизводства. Бюрократический, основанный на системе образования и, следовательно, на компетенции и заслугах способ воспроизводства стремился подорвать династический, генеалогический в самих его устоях, в самом принципе его легитимации: кровь, рождение.

Переход от династического государства к бюрократическому неотделим от движения, которым новое дворянство, государственная знать (дворянство мантии) изгоняло старую знать, дворян по крови. Мимоходом заметим, что правящие круги были первыми, кого коснулся процесс, распространившийся много лет спустя на все общество: смена семейного способа воспроизводства (игнорирующая разрыв между общественным и частным) бюрократическим, включающим образовательную составляющую и основанным на вмешательстве школы в процессы воспроизводства.

Династическая олигархия и новый способ воспроизводства

Главное состоит в том, что средневековая сеньория, династическое государство, согласно Марку Блоку, — это «территория, пользование которой организовано таким образом, что часть продукции отходит к единственной персоне», «одновременно главе и хозяину земли». ²⁴ Династическое государство, несмотря на все, что оно может содержать бюрократического и безличного, остается ориентировано на королевскую персону. Государство концентрирует различные виды капитала, разные формы власти, а также материальные и символические ресурсы (деньги, почести, звания, милости и незаконные льготы)

в руках короля, и тот может — посредством избирательного перераспределения — устанавливать и поддерживать отношения зависимости (клиентела) или, сверх того, отношения личной признательности и таким образом упочивать свою власть.

Так, например, собранные налоговой службой государства деньги постоянно перераспределялись между вполне определенными категориями подданных (в частности, в виде денежного содержания военным или жалования сановникам, состоящим на должности штатским лицам, управляющим или судебным чиновникам). Происхождение государства неотделимо от генезиса группы людей, действующих с ним заодно, заинтересованных в его функционировании. (Здесь было бы уместным рассмотреть аналогию с церковью: власть Церкви в действительности не измеряется, как считалось, числом празднующих Пасху, но числом тех, чей экономический и социальный фундамент социального существования и, в частности, доходы прямо или опосредованно связаны с Церковью, и кто в силу этого «заинтересован» в ее существовании.)

Государство — это прибыльное предприятие, прежде всего, для самого короля, но также и для тех, кто получает от его щедрот. Борьба за формирование государства становится, таким образом, неотделимой от борьбы за присвоение прибылей, ассоциированных с государством (предельно широко такую борьбу иллюстрирует *welfare state*). Борьба за влияние вокруг власти, как показал Дени Крузе,²⁵ ставит целью занятие центральных позиций, способных принести финансовые выгоды, в которых нуждаются дворяне для поддержки своего образа жизни (этим объясняется присоединение герцога Неверского к Генриху Второму или молодого Гиза к Генриху Четвертому, которое «стоило» 1.200.000 ливров для покрытия долгов его отца). Короче, династическое государство устанавливает *частное присвоение несколькими лицами общественных ресурсов*. Как личная связь феодального типа оказывается подчиненной контракту и дает место вознаграждениям не столько в виде земель, сколько в виде денег или власти, так же и «партии» борются между собой, особен-

но в рядах Королевского совета, за получение контроля над движением налогов.

Амбивалентность династического государства продлевается (в других формах она продолжает существовать и после его исчезновения), поскольку есть особые интересы и прибыли, связанные с присвоением публичного, всеобщего и с тем, что для подобной апроприации предоставляются постоянно обновляющиеся возможности. (Например, помимо структурных факторов существования коррупции, продажа должностей, после XIV века, и наследование должностей, по эдикту Поле 1604 года, учредившему передачу должностей в частную собственность, — участвуют в становлении «нового феодализма».²⁶) Королевская власть должна была учредить комиссаров, чтобы восстановить свой контроль над администрацией.²⁷

Идеальным, с точки зрения короля (и центральной власти в целом), было бы концентрировать и перераспределять *всю совокупность* ресурсов, таким образом полностью владея процессом производства символического капитала. Действительно, вследствие разделения труда по доминированию всегда возникают потери: слуги государства постоянно стремятся послужить *непосредственно* самим себе (вместо того, чтобы дожидаться перераспределения), практикуя изъятия и расхищение материальных и символических ресурсов. Отсюда настоящая *структурная коррупция*, как показывает Пьер-Этьен Виль, является в основном делом управляющих среднего уровня. Кроме «упорядоченных непорядков», т. е. вымогательств для оплаты личных и профессиональных расходов, где сложно определить, идет ли речь об «институционализированной коррупции» или о «неофициальном финансировании расходов», существует масса привилегий, которые подчиненные должностные лица могут извлечь из своего стратегического положения в системе циркуляции информации сверху вниз и снизу вверх. Так, они могут продать имеющуюся в их распоряжении жизненно важную информацию высшим чиновникам или не захотеть ее сообщить; передать ее исключительно против удовлетворения своего ходатайства, а могут отказаться передать приказ.²⁸ В общем виде, обладатели делегированной власти могут

извлекать разного рода прибыли из своего промежуточного положения. В соответствии с логикой права и привилегий,²⁹ прохождение любого акта или административного дела может быть заблокировано, затянута по времени или, напротив, облегчено и ускорено (против определенной денежной суммы). Порой подчиненный имеет преимущество перед более высокими инстанциями (особенно перед контрольными инстанциями): он ближе к «земле», и когда он «*прочно*» сидит на своем посту, начинает составлять часть местного общества. (Жан-Жак Лаффон предложил формальные модели «контроля» (*supervision*), рассматриваемого им в свете теории договора как игра с тремя персонажами: предприниматель, мастер (*supervisor*), рабочие.³⁰ Несмотря на то что модель хорошо представляет стратегическое положение *supervisor*, который может угрожать рабочим тем, что «информирует» хозяина, «скажет, кто виноват в снижении результатов» или скроет от него правду, — эта модель остается нереалистической. Она игнорирует, в частности, как диспозиционные эффекты, так и принуждения бюрократического поля, налагающего определенную цензуру на эгоистические наклонности.)

Иными словами, коррупцию можно описать как утечку в процессе накопления и концентрации государственного капитала, как действия прямого изъятия и перераспределения, дающие возможность скопить экономический и символический капитал на должностях чиновников, не занимающих самого высокого положения (проконсулы и феодальные сеньоры, выступающие «королями» на своем уровне), которые поэтому препятствовали или тормозили переход от феодализма к империи, стимулируя регресс от империи к феодализму.

Логика процесса бюрократизации

Итак, первоначальное утверждение различия общественного и частного было сформировано в сфере власти. Оно привело к становлению собственно политического порядка публичной власти, обладающего собственной логикой (государственный интерес), самостоятельными ценностями, своим языком, специфическим и отличаю-

щимся как от «домашнего» (королевского), так и от частного. Это различие в дальнейшем распространилось на всю социальную жизнь, но начаться оно, некоторым образом, должно было с короля, в голове короля и его окружения, где все заставляет путать — по какому-то институциональному нарциссизму — ресурсы и интересы институции с ресурсами и интересами личности. Формула «Государство — это я» выражает прежде всего неразличение общественного и частного порядков — принцип, которым определяется династическое государство, и в борьбе с которым должно формироваться государство бюрократическое, предполагающее отделение позиции от занимающей ее персоны, функции от функционера, общественного интереса от частного и особенного, и наделяющее чиновника доблестью бескорыстия.

Королевский двор — пространство одновременно публичное и приватное. Его можно описать как конфискацию социального и символического капитала в пользу одной персоны, как монополизацию публичного пространства. Наследование является в некотором роде перманентным государственным переворотом, по которому личность присваивает себе общественную вещь. Это — обращение на пользу одной персоне собственности и прибылей, связанных с функцией (оно может принимать различные формы: наиболее наглядным образом в династический период; более скрыто, но все же может существовать и в последующие периоды, например, когда президент республики узурпирует монархические атрибуты или, уже в ином ключе, когда профессор — о котором писал М. Вебер — воображает себя «маленьким пророком на государственном содержании»). Личная власть — которая может не иметь ничего общего с абсолютной — есть частное присвоение общественной власти, частное отправление этой власти.

Процесс разрыва с династическим государством принимает вид разложения на *imperium* (публичная власть) и *dominium* (личная власть); на публичное пространство, форум, агору, место сплочения собравшегося вместе народа, и дворец (для древних греков, например, отсутствие агоры было главным показателем варварства).

Концентрация политических средств сопровождалась политической экспроприацией личной власти: «Становление современного государства повсюду начиналось с желания правителя экспроприировать личные властные привилегии, которыми — с его стороны — располагала административная власть, т. е. привилегии всех тех, кто является собственниками средств управления, средств ведения войны, финансовых средств и всех других видов благ, допускающих политическое использование».³¹

В более общем виде, «дефеодализация» подразумевает разрыв между «естественными» связями (родством) и процессами «естественного», т. е. не-опосредованными не-домашней инстанцией, воспроизводства королевской власти, бюрократии, института образования и т. д. Государство является по сути *antiphýsis*: оно устанавливает (дворянин, наследник, судья...), оно называет, оно неразрывно связано с институцией, конституцией, номосом — *nómo (ex instituto)* — по противоположности с *phusei*. Оно формируется и через учреждение специфической законности, которая — с точки зрения этноса — требует разрыва со всякого рода приверженностью, ведущей происхождение от касты, семьи и т. п. Все это ставит государство в положение, несовместимое со специфической логикой семьи, которая — сколь бы ни была произвольной — является самой «натуральной» (кровь и прочее) и натурализуемой из всех социальных институтов.

Процесс «дефеодализации» государства сопровождается развитием специфического способа воспроизводства, придающим большое значение школьному образованию. (В Китае чиновник должен был получить специальное образование и быть полностью чуждым частным интересам.) Университеты в Европе появляются в XII веке, но развиваться начинают в XIV под натиском правителей. Университеты стали играть существенную роль в формировании служителей государства: и светских, и религиозных. Вообще говоря, генезис государства нераздельно связан с настоящим культурным преобразованием. На Западе, начиная с XII века, нищенствующие монашеские ордена, распространившиеся в городах, открывают светским лицам широкий доступ к литературе, прежде пред-

назначенной исключительно для высокообразованных священников. Таким образом начался процесс обучения, значительно ускорившийся с основанием городских школ и изобретением типографий в XV–XVI веках.

С развитием образования связана смена системы *наследования* должности системой *назначений*, осуществляемых представителями государственной власти, и, как следствие, — клерикализация дворянства (особенно ошутимая в Японии). Англия, — как отмечал Марк Блок, — стала унифицированным государством прежде всех континентальных королевств, поскольку *государственная служба* там не отождествлялась полностью с родовыми землями. Очень рано там появляются *directly appointed royal officials* — ненаследуемые должности *sheriffs*. Престол противится феодальной раздробленности, внедряя в управление промежуточное звено — служащих, выбираемых среди местных, но назначаемых и снимаемых самой Короной (Корриган и Сейер датируют переход от *«household»* к бюрократическим формам правления примерно 1530 годом). Параллельно происходит «демилитаризация» дворянства: *«Most of the landowning class was, during the Tudor epoch, turning away from its traditional training in arms to an education at the universities or the Inn of Court»*.³² В армии, которая становится прерогативой государства, также происходит переход *«from private magnates commanding his own servants to lord lieutenant, acting under royal commission»*.³³

Как феодалы преобразуются в служащих на содержании короля, так и *Curia regis* превращается в настоящую администрацию. В XI и XIII веках от *Curia regis* отделяются Парижский парламент и Счетная палата, затем, в XV веке — Большой совет; процесс завершается в середине XVII века с формированием правительственных Советов (заседающих в присутствии короля и канцлера) и Советов управления и правосудия.³⁴ (Но процесс номинальной дифференциации: Узкий совет; Совет по делам; Тайный совет, называемый после 1643 года Верхним советом; Почтовый совет, созданный около 1650 года; Финансовый совет; Торговый совет, действующий с 1730 года — скрывает за собой глубокую взаимосвязь вещей.)

Феодальное правление персонально (оно обеспечивается группой людей, окружающих суверена: баронами, епископами и простолюдинами, на которых может полагаться король). С середины XII века английские монархи начинают привлекать к правлению священников, но развитие *Common Law* в Англии и римского права на континенте, изменяют ситуацию в пользу светских лиц. Появляется новая группа, состоящая из тех, кто получил свое положение благодаря профессиональной компетенции, а следовательно, государству и его культуре — чиновники.

Таким образом, становится понятна главенствующая роль служащих, чье восхождение сопровождается становлением государства, и о которых можно сказать, что они создают государство, их создающее, или что они творят себя, создавая государство. С момента своего возникновения они неразрывно связаны с государством в силу способа своего воспроизводства. Жорж Дюби указывал, что с XII века «высшая и средняя бюрократия почти целиком вышла из колледжа».³⁵ Постепенно они основывают собственные специфические институты, наиболее типичным из которых является парламент, хранитель закона (в частности, гражданского права, которое со второй половины XII века начинает автономизироваться относительно канонического права). Обладая такими специфическими, отвечающими потребностям управления ресурсами, как письмо и право, чиновники очень рано обеспечивают себе монополию на наиболее типично государственные ресурсы. Их вмешательство несомненно способствует рационализации власти. Прежде всего, — как пишет Ж. Дюби, — они вносят строгость в отправление власти, оформляя судебные решения и ведя реестр;³⁶ затем они вводят в действие типичный для канонического права способ мышления и схоластическую логику, на которой это право покоится (например, «различие», «постановка под вопрос», борьба аргументов «за» и «против»; или практика *inquisitio* — рациональное расследование, заменившее испытание доказательством и завершающееся письменным заключением). Наконец, они строят идею государства по модели церкви в трактатах о власти, ссылаясь при этом на Священное Писание, Книгу царств, свя-

того Августина, но еще и на Аристотеля. Королевство понимается ими как магистратура, а тот, кто получает его в наследство, — избранник божий, но должен при этом показать себя хорошим хранителем *res publica*; он должен считаться с природой и быть разумным. Продолжая следовать мысли Жоржа Дюби,³⁷ можно рассмотреть вклад чиновников в формирование рационального бюрократического габитуса. Так, они возводят в доблесть *осторожность*: нужно владеть собой и эмоциональными порывами, действовать здраво, как подсказывает разум и чувство меры; а также *учтивость* — инструмент социальной регуляции. (В отличие от Элиаса, видящего в государстве основу «цивилизации», Дюби справедливо считает, что клерикальное изобретение — учтивость внесла свой вклад в изобретение государства, способствующего распространению куртуазности. То же и в отношении *sapientia* — общей склонности к мудрости, касающейся всех сторон жизни.)

Государство есть *fictio juris* — выдумка юристов, участвовавших в производстве государства, создавая теорию государства, перформативный дискурс об общем деле. Созданная ими политическая философия является не дескриптивной, а продуктивной и предсказательной относительно своего объекта. Исследователи, изучающие труды юристов, от Гуичардини (одним из первых введшим в научный оборот термин «государственный интерес») или Джовани Ботеро до Луазо или Бодена — просто как теории государства, отказываются замечать собственно *созидательный* вклад юридической мысли в зарождение государственных институтов.³⁸ Юрист — хозяин общего социального ресурса слов и понятий — предлагает средства осмысления реальностей ранее непомысленных (например, понятие *corporatio*), раскрывает целый арсенал организационных приемов, моделей действия (часто заимствованных из церковных традиций, но подвергнутых секуляризации), капитал решений и прецедентов. (Сара Хэнли³⁹ показала, как между юридической теорией и королевской или парламентской практикой происходят постоянные взаимообмены.) Следовательно, нельзя довольствоваться тем, чтобы брать из анализируемой реальности кон-

цепты (например, суверенитет, государственный переворот и т. п.), которые предполагается использовать для объяснения той самой реальности, чьей составной частью они являются и в создании которой принимали участие. Для правильного понимания политических текстов, являющихся не простыми теоретическими описаниями, но практическими предписаниями, имеющими целью породить новый тип социальной практики путем придания ей смысла и причины существования, — нужно заново поместить произведения и авторов в контекст предприятия по конструированию государства, реконструировать их диалектическую связь. Нужно найти место авторов в нарождающемся юридическом поле, а также в более широком пространстве, поскольку их позиция относительно других юристов и центральной власти может лежать в основании их теоретической конструкции.

Чтение книги Уильяма Фарра Черча⁴⁰ позволяет предположить, что взгляды «законников» различались в зависимости от дистанции, отделяющей их от центральной власти. Так, «абсолютистский» дискурс был в большей степени делом юристов, непосредственно участвующих в центральной власти, которые устанавливали четкое деление между королем и подданными и устраняли все отсылки к промежуточным инстанциям власти, таким как, например, Генеральные штаты; в то же время парламентарии занимали более неопределенную двойственную позицию.

Все заставляет предполагать, что тексты, с чьей помощью которых юристы пытались навязать свое видение государства и, в частности, идею «общественной пользы» (которую сами они и изобрели), являются в то же время стратегиями, и их посредством юристы стремятся заставить признать свое присутствие, утверждая присутствие «государственной службы», часть которой они составляют. (Взять хотя бы положение третьего сословия в Генеральных штатах 1614–1615 годов или политику Парижского парламента, особенно, в период Фронды, в отношении изменения иерархии сословий и признания судейского сословия, «дворян пера и чернил» как первого сословия, поместив при этом в первый ранг не военную, но граж-

данскую службу государству. Можно вспомнить о борьбе короля и парламента внутри формирующегося поля власти — инстанции, которая, по мысли одних, была призвана легитимировать королевскую власть, а по мнению других — ограничить ее, откуда и выражение «ложе правосудия».¹⁾ Короче, нет сомнений в том, что принимавшие самое явное участие в продвижении разума и универсальности имели наиболее явно выраженную заинтересованность в универсальном, — так что можно сказать, что у них был частный интерес к общественному интересу.⁴¹

Недостаточно просто описать логику такого процесса неощутимого преобразования, завершившегося возникновением не имеющей исторических прецедентов социальной реальности, которой является современная бюрократия, т. е. относительно автономного административного поля, независящего от политики (отрицание) и экономики (бескорыстие) и подчиняющегося специфической логике «публичного». Нужно перестать довольствоваться неким интуитивным полупониманием, которое дает знакомство с конечным состоянием, и попробовать заново схватить глубинный смысл ряда чрезвычайно малых, но решающих изобретений: кабинет, подпись, печать, постановление о назначении, удостоверение, аттестация, реестр и регистрация, циркуляр и т. п., — всего того, что привело к установлению собственно бюрократической логики, власти безличной, взаимозаменяемой и с виду совершенно «рациональной», а на деле наделенной самыми загадочными свойствами магической эффективности.

Круг отрицания и генезис административного поля

Постепенное разделение династической (братья короля) и бюрократической властей происходило посредством дифференциации власти и, более конкретно, через удлинение цепи делегирования властных полномочий и ответ-

¹ *Lit de justice* (фр., *ист.*) — место под балдахинном, где располагался король во время проведения торжественных заседаний парламента. — *Прим. перев.*

ственности. Если воспользоваться формулой, то можно сказать, что государство (безличное) стало разменной монетой абсолютизма, а король растворился в безличной сети долгого ряда доверителей и лиц, наделенных полномочиями, отвечающих перед вышестоящим лицом, от которого они получают свои полномочия и власть, но за которого они — в определенной мере — тоже несут ответственность; а приказы, исходящие от него, они ратифицируют и контролируют в процессе их выполнения.

Чтобы понять то необычное, что может содержать переход от власти персонализированной к власти бюрократической, нужно снова вернуться к типичному моменту в долгом переходном периоде от династического принципа к юридическому, когда происходило постепенное расхождение между «домом» и бюрократией (называемой в английской традиции «кабинетом»), т. е. между *«great offices»*, наследуемыми и политически незначимыми, и кабинетом, ненаследуемым, но наделенным властью над печатью (*seals*). (Это чрезвычайно сложное движение, с продвижением вперед и отступлениями, ритм которого для агентов зависит от интереса к их позиции и от бесчисленных препятствий, вызванных мыслительными привычками и бессознательными предрасположенностями. Так, по словам Жака Ле Гоффа, бюрократия сначала мыслилась по семейной модели; случалось, что министры короля, приверженные династическим взглядам, пытались добиться передачи своих должностей по наследству.)

Ф. У. Мейтланд рассматривает эволюцию практики использования королевской печати.⁴² Со времен норманнов королевские повеления оформлялись актами, хартиями, грамотами, закрытыми и запечатанными королевской печатью, гарантирующей их подлинность. Большая государственная печать (*great seal*) доверялась канцлеру (*chancellor*) — главе всего секретариата. В конце Средних веков и на протяжении всего правления Тюдоров канцлером был Первый министр короля. Со временем стали появляться и другие печати. Поскольку канцлер пользовался печатью очень часто и в самых различных случаях, то стали использовать малую государственную печать (*privy seal*) в делах, касающихся непосредственно короля. С ма-

лой государственной печатью король отдавал указания канцлеру относительно использования большой. С этого момента последняя печать доверялась хранителю «службы» — *keeper of the privy seal*. По прошествии некоторого времени еще более личный секретарь появляется между королем и его старшими государственными служащими: *king's clerk* или *king's secretary*, который хранил королевскую печать (*king's signet*). Во времена Тюдоров два королевских секретаря стали назначаться *государственными секретарями*. С этого момента подписание документов превратилось в шаблонную процедуру: документ, подписанный рукой короля — *royal sign manual*, скреплялся подписью государственного секретаря (хранителя *king's signet*) и, в качестве указания выпустить данный документ за малой государственной печатью, отправлялся *keeper of the privy seal*, чтобы затем поступить к канцлеру, снова в форме директивы, выпустить документ с большой государственной печатью королевства. Подобная процедура была призвана повысить ответственность министров за действия короля: ни один акт не имел юридического значения, если он не был скреплен большой или, по крайней мере, малой государственной печатью, которая подтверждала, что такой-то министр «сим обязуется исполнить королевскую волю». Этим объясняется то внимание, которое министры уделяли соблюдению формальной процедуры: они боялись обращения к ним с запросом относительно какого-либо королевского акта и того, что они будут неспособны доказать его подлинность. Канцлер боялся ставить большую печать, если на документе не стояла малая печать в качестве гарантии; хранитель малой печати обращал внимание на то, чтобы собственноручная подпись короля была заверена секретарем. Король находил определенные преимущества в такой процедуре. Он перекладывал на министров заботу о королевских интересах и о состоянии своих дел; они следили, чтобы король не ввели в заблуждение или не злоупотребили его доверием. Он действовал с гарантией, но под контролем своих министров, чья *ответственность* была зафиксирована королевскими актами, гарантами которых выступали сами министры. (В правление Елизаветы Первой

устный приказ стал недостаточным основанием, чтобы получить сумму на расходы, и королевское поручение должно было иметь большую или малую печать, которые были не просто символами соблюдения церемонии, как скипетр или корона, но настоящими инструментами правления.)

Через анализ удлинения цепочки «власть—ответственность» можно проследить, каким образом в недрах самих иерархических отношений зарождался действительный общественный порядок, основанный на определенной взаимности. Исполнитель в одно и то же время был под контролем и под защитой руководителя, в частности, от злоупотребления и своеволия властей. Все происходило так, как если бы по мере возрастания властных полномочий руководителя росла бы его зависимость по отношению ко всей сети исполнителей. В каком-то отношении свобода и ответственность каждого сокращалась вплоть до полного исчезновения «на просторах поля». Однако в других моментах она возрастала по мере того, как агент был вынужден брать на себя ответственное решение под прикрытием и под контролем всех других действующих в поле агентов. Действительно, по мере дифференциации поля власти, каждое звено цепочки является само по себе точкой (вершиной) в поле. (Можно наблюдать рост дифференциации поля власти одновременно со становлением бюрократического поля — государства — как метаполя, которое определяет правила, управляющие разными полями, и на этом основании является целью борьбы между доминирующими в различных полях.)

Удлинение цепочек делегирования и развитие сложной структуры власти не влечет за собой автоматического отмирания механизмов, обеспечивающих частное присвоение экономического и символического капитала (и все виды структурной коррупции). И напротив, можно было бы сказать, что возможности для расхищения (путем непосредственного изъятия) увеличиваются, централизованное наследование может сосуществовать с локальным (базирующимся на семейных интересах функционеров или на корпоративной солидарности). Отделение функции от персоны происходит медленно, как если бы бюрократическое поле постоянно разрывалось между динас-

тическим (персональным) принципом и юридическим (или безличным).

«То, что мы называем “общественной функцией”, так долго было сращено со своим носителем, что невозможно проследить историю того или иного совета или поста, не описывая при этом индивидов, руководящих данным советом или занимавших данный пост. Именно личность придавала ранее второстепенной должности исключительную значимость или, наоборот, переводила на второй план прежде важную — в силу личности, ее исполнявшей, — функцию <...> Человек творил функцию в масштабах, какие сегодня немислимы».⁴³

Ничего нет более сомнительного и более неправдоподобного, чем создание в теории — в работах интересующихся вопросом юристов, выступающих одновременно судьями и ответчиками, и на практике — благодаря неощутимому прогрессу разделения труда по господству, — общего дела, общественного блага и особенно структурных условий (связанных с появлением бюрократического поля) разделения общественных и личных интересов или, говоря яснее, принесения в жертву эгоистических интересов, отказа от личного использования общественной власти. Парадокс состоит в том, что непростой генезис общественного порядка неотделим от появления и накопления *общественного капитала* и возникновения бюрократического поля как поля борьбы за контроль над этим капиталом и соответствующей властью, а значит — борьбы за власть перераспределять общественные ресурсы и связанные с ними прибыли. Как показал Дени Рише, государственная знать, утвердившаяся во Франции в конце XVI — начале XVII века, чье правление не прерывалось революцией (скорее наоборот), основывала свое господство на том, что Эммануил Ле Руа Ладжори назвал «фискальным капитализмом», а также на монополизации высших постов, приносящих высокие прибыли.⁴⁴ Бюрократическое поле постепенно одержало победу над логикой наследования династического государства, которое подчиняло интересам суверена материальные и символические прибыли с капитала, сконцентрированного государ-

ством. Это поле стало местом борьбы за власть над государственным капиталом, над материальными (жалование, материальные выгоды) и символическими (почести, звания и т. д.) прибылями, доставляемыми им. В эту борьбу реально могло включаться только меньшинство правообладателей, обозначенных посредством квазинаследственного обладания образовательным капиталом. Следует детально проанализировать такой двусторонний процесс, который породил государство и который является нераздельно универсализацией и монополизацией всеобщего.

Примечания

¹ Данный текст представляет исправленные записи лекций, прочитанных в Коллеж де Франс. В его основе — предварительные наброски, служившие, главным образом, исследовательским инструментом. Он вписывается в линию, продолжающую анализ процесса концентрации различных видов капитала, приведшего к формированию бюрократического поля, способного контролировать другие поля. См., в частности, предыдущую статью книги «Дух государства: генезис и структура бюрократического поля».

² *Bonney R. J. The European Dynastic States. 1494–1660.* Oxford: Oxford University Press, 1991.

³ *Bonney R. J. Guerre, fiscalité et activité d'Etat en France (1500–1660): Quelques remarques préliminaires sur les possibilités de recherche // Genèse de l'Etat moderne. Prélèvement et redistribution / Genet Ph., Le Mené M. (éds.) Paris: Éd. du CNRS, 1987. P. 193–201, 194.*

⁴ *Stieber W. Studies in the History of Christian Thought. XIII.* Leiden: Brill, 1978. P. 126 sq.

⁵ *Lewis A. W. Le sang royal: La famille capétienne et l'Etat. France, X^e–XIV^e siècle / Préface G. Duby. Paris: Gallimard, 1981.*

⁶ *Bloch M. Seigneurie française et manoir anglais.* Paris: Armand Colin, 1960.

⁷ *Duby G. Le Moyen Âge.* Paris: Hachette, 1989. P. 110.

⁸ *Bonney R. J. Op.cit. P. 195.*

⁹ *Elias N. Über den Prozess der Zivilisation. (1^{re} éd. 1939) Trad. fr. du tome I: La Dynamique de l'Occident. Paris, 1969. P. 31, 47.*

¹⁰ *Duby G. Préface // A. W. Lewis. Op. cit. P. 9.*

¹¹ «Кроме того, в условиях разгула политического и военного авантюризма, сопровождавшего императорскую власть и приведшего к ее упадку, ни один из авантюристов не был до-

статочен силен, чтобы заставить подчиняться других и свергнуть императорскую власть. Все они боролись отдельно, чтобы нажить личное состояние, и угрожали позициям и достижениям друг друга. Только некоторые из них, несмотря ни на что, смогли навязать свое господство другим. Когда они добились институционального признания своих завоеваний, им понадобился центр, чтобы узаконить эти приобретения» (*Alam M. The Crisis of Empire in Mughal North India, Awadh and the Penjab. 1708–1748. Oxford; Delhi: Oxford University Press, 1986. P. 17.*).

¹² *Mousnier R. Les Institutions de la France sous la monarchie absolue. T. I. Paris: PUF, 1974. P. 89–93.*

¹³ *Ibid. P. 199.*

¹⁴ *Constant J.-M. Genèse de l'État moderne. Prélèvement et redistribution / Genet Ph., Le Mené M. (éds). Op. cit. P. 224, 223.*

¹⁵ *Guénée G. L'Occident aux XIV^e et XV^e siècles. Les États. Paris: PUF, 1971.*

¹⁶ *Hopkings K. Conquerors and Slaves. Cambridge, 1938. Ch. IV (о занятиях евнухов).*

¹⁷ *Mantran R. (dir.) L'Histoire de l'empire ottoman. Paris: Fayard, 1989. P. 27, 165–166.*

¹⁸ *Ibid. P. 119; 171–175.*

¹⁹ *Ibid. P. 161; 163–173.*

²⁰ *Constant J.-M. Op. cit. P. 223.*

²¹ *Guenée B. Op. cit. P. 230.*

²² *Gellner E. Nations et nationalisme. Paris: Payot, 1989. P. 150.*

²³ *Duby G. Le Moyen Âge. Op. cit. P. 326.*

²⁴ *Bloch M. Op. cit. P. 17.*

²⁵ *Crouzet D. La crise de l'aristocratie en France au XVI^e siècle // Histoire. Economie. Société. 1982. № 1.*

²⁶ *Tapie V. La France de Louis XIII et Richelieu. Paris: Flammarion, 1980. P. 64.*

²⁷ *Olivier-Martin F. Histoire du droit français, des origines à la révolution. Paris: Éd. de CNRS, 1996. P. 344.*

²⁸ *Will P.-E. Bureaucratie officielle et bureaucratie réelle. Sur quelques dilemmes de l'administration impériale à l'époque des Qing // Etudes chinoises. 1989. Vol. VIII. № 1. P. 69–141.*

²⁹ *Bourdieu P. Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. № 81–82. P. 86–96.*

³⁰ *Laffont J.-J. Hidden Gaming in Hierarchies: Facts and Models // The Economic Record. 1989. P. 295–306.*

³¹ *Weber M. Le savant et le politique. Paris: Plon, 1959. P. 120–121.*

³² «Большинство землевладельцев в эпоху Тюдоров отвернулись от традиционной службы в армии, предпочитая получить образование в университетах или войти в юридическую корпорацию» (*Williams P. The Tudor Regime. Clarendon, 1979. P. 241.*).

³³ «От частных вельмож, командующих своими подданными, к лорду-лейтенанту, действующему по назначению короля» (*Corrigan Ph., Sayer D. The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution. Oxford: Basil Blackwell, 1985. P. 63.*).

³⁴ *Goubert P. Ancien Régime. Paris: Armand Colin, 1973. T. 2. P. 47.*

³⁵ *Duby G. Le Moyen Âge. Op. cit. P. 326.*

³⁶ *Ibid. P. 211.*

³⁷ *Ibid. P. 222.*

³⁸ *Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. London; New York: Cambridge University Press, 1978.*

³⁹ *Hanley S. Le «lit de justice» des Rois de France. Paris: Auber, 1991.*

⁴⁰ *Church W. Farr. Constitutional Thought in Sixteenth Century France. A Study in the Evolution of Ideas. Cambridge: Harvard University Press, 1989.*

⁴¹ О долгой истории восхождения чиновников и постепенной монополизации государственного капитала государственной знатью см.: *Bourdieu P. La Noblesse d'État: grandes écoles et esprit de corps. Paris: Minuit, 1989. P. 531–559.*

⁴² *Maitland F. W. Constitutional History of England. Cambridge: Cambridge University Press, 1948. P. 202–203.*

⁴³ *Richet D. La France moderne. L'esprit des institutions. Paris: Flammarion, 1973. P. 79–80.*

⁴⁴ *Richet D. Elite et noblesse: la formation des grands serviteurs de l'État — fin XVI-début XVII siècle // Acta Poloniae Historica. 1977. Vol. 36. P. 47–63.*